

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://tsvetaevamarina.ru/> Приятного чтения!

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль

Береги честь смолоду.
Пословица

Глава I

Сержант гвардии

– Был бы гвардии он завтра ж капитан.

– Того не надобно; пусть в армии послужит.

– Изрядно сказано! пускай его потужит...

.....

Да кто его отец?

Княжнин

Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве.

Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти нежившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава богу, – ворчал он про себя, – кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel[1], не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и врагом бутылки, т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня по-французски, по-немецки и всем наукам, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, – и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, оболотившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принял за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменялась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, зная наизусть все его свчаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подальше, и таким образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. И так, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

– Да вот пошел семнадцатый годок, – отвечала матушка. – Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Герасимовна, и когда еще...

«Добро, – прервал батюшка, – пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни».

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

– Не забудь, Андрей Петрович, – сказала матушка, – поклониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.

– Что за вздор! – отвечал батюшка нахмурясь. – К какой стати стану я писать к князю Б.?

– Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши?

– Ну, а там что?

– Да ведь начальник Петрушин – князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк.

– Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? мотать да повесничать. Нет, пускай послужит он в армии, да потянет ляжку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его пашпорт? подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня гарнизонная скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастьем. Но спорить было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошел в бильярдную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под бильярд на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четве-ринках становились чаще, ига наконец маркер остался под бильярдом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр ** гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на бильярде. «Это, – говорил он, – необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко – чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на бильярде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом – вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покамест поедем к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось? – сказал он жалким голосом, – где ты это нагрузился? Ахти господи! отроду такого греха не бывало!» – «Молчи, хрыч! – отвечал я ему, запинаясь, – ты, верно, пьян, пошел спать... и уложи меня».

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Петр Андреич, – сказал он мне, качая головою, – рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволили брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: «Мадам, же ву при, водкю». Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудро было унять, когда, бывало, примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреич, какво подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста, пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый к услугам

Иван Зурин».

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был и денег, и белья, и дел моих рачитель, приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» – спросил изумленный Савельич. «Я их ему должен», – отвечал я со всевозможной холодностью. «Должен! – возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление, – да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают».

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» – закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич, – произнес он дрожащим голосом, – не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей!»

Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, кроме как в орехи...» – «Полно врать, – прервал я строго, – подавай сюда деньги, или я тебя взашей прогоню».

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С беспокойной совестью и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

Глава II

Вожатый

Сторона ль моя, сторонушка,

Сторона незнакомая!

Что не сам ли я на тебя зашел,

Что не добрый ли да меня конь завез:

Завезла меня, доброго молодца,

Прытость, бодрость молодецкая

И хмелинушка кабацкая.

Старинная песня

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только побрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! Полно, помиримся, виноват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся».

– Эх, батюшка Петр Андреич! – отвечал он с глубоким вздохом. – Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только!.. Как покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или, точнее, по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:

– Барин, не прикажешь ли воротиться?

– Это зачем?

– Время ненадежно: ветер слегка подымается; вишь, как он сметает порошу.

– Что ж за беда!

– А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)

– Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

– А вон – вон: это облачко.

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слышал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облежала небо. Пошел мелкий снег – и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: буран!»...

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом – и скоро стали. «Что же ты не едешь?» – спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? – отвечал он, слезая с облучка, – невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бранить. Савельич за него заступился. «И охота было не слушаться, – говорил он сердито, – воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря в утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! – закричал я, – смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А бог знает, барин, – сказал он, садясь на свое место, – воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек».

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком.

- Гей, добрый человек! – закричал ему ямщик. – Скажи, не знаешь ли, где дорога?
- Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, – отвечал дорожный, – да что толку?
- Послушай, мужичок, – сказал я ему, – знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?
- Страна мне знакомая, – отвечал дорожный, – слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да, вишь, какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам.

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай».

– А почему мне ехать вправо? – спросил ямщик с неудовольствием. – Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой. – Ямщик казался мне прав. «В самом деле, – сказал я, – почему думаешь ты, что жило недалече?» – «А потому, что ветер оттоль потянул, – отвечал дорожный, – и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувства и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным послушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише, – говорит она мне, – отец болен при смерти и желает с тобою проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей Петрович, Пет-руша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?» – «Все равно, Петруша, – отвечала мне матушка, – это твой посаженный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали».

– Куда приехали? – спросил я, протирая глаза.

– На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее да обогрейся.

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

– Где же вожатый? – спросил я у Савельича.

«Здесь, ваше благородие», – отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?» – «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечер у целовальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость, – прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе, – сказал он, – опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопля клевал; швырнула бабушка камушком – да мимо. Ну, а что ваши?»

– Да что наши! – отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. – Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.

«Молчи, дядя, – возразил мой бродяга, – будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиреного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по-тамашнему, умет, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решил убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помощь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку! – сказал он, – за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно, однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. «Хорошо, – сказал я хладнокровно, – если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».

– Помилуй, батюшка Петр Андреич! – сказал Савельич. – Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке.

– Это, старинушка, уж не твоя печаль, – сказал мой бродяга, – пропью ли я или нет. Его благородие мне жалуется шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

– Бога ты не боишься, разбойник! – отвечал ему Савельич сердитым голосом. – Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища.

– Прошу не умничать, – сказал я своему дядьке, – сейчас неси сюда тулуп.

– Господи владыко! – простонал мой Савельич. – Заячий тулуп почти новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой! – сказал он. – Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство»... Это что за серемонии? Фуи, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. «ваше превосходительство не забыло»... Гм... «и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также и... Каролинку»... Эхе, брудер! так он еще помнит стары наши проказ? «Теперь о деле... К вам моего повесу»... Гм... «держат в ежовых рукавицах»... Что такое ешovy рукавиц? Это, должно быть, русска поговорк... Что такое «дершат в ешovy рукавицах»? – повторил он, обращаясь ко мне.

– Это значит, – отвечал я ему с видом как можно более невинным, – обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.

– Гм, понимаю... «и не давать ему воли»... нет, видно, ешovy рукавицы значит не то... «При сем... его паспорт»... Где же он? А, вот... «отписать в Семеновский»... Хорошо, хорошо: все будет сделано... «Позволишь без чинов обнять себя и... старым товарищем и другом» – а! наконец догадался... и прочая и прочая... Ну, батюшка, – сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, – все будет сделано: ты будешь офицером переведен в *** полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научись дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня».

«Час от часу не легче! – подумал я про себя, – к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В *** полк и в глухую крепость на границу киргизкайсацких степей!..» Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

Глава III

Крепость

Мы в фортеции живем,

Хлеб едим и воду пьем;

А как лютые враги

Придут к нам на пироги,

Зададим гостям пирушку:

Зарядим картечью пушку.

Солдатская песня

Недоросль

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частью печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика. «Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме дереvушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой – скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво спущенными. «Где же крепость?» – спросил я с удивлением. «Да вот она», – отвечал ямщик, указывая на дереvушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частью покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка, – отвечал инвалид, – наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» – спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, – сказала она, – он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, – сказал он, – вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, – продолжал он, – зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», – продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки, – сказала ему капитанша, – ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...). А ты, мой батюшка, – продолжала она, обращаясь ко мне, – не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч! – сказала ему капитанша. – Отведи господину офицеру квартиру, да почище». – «Слушаю, Василиса Егоровна, – отвечал урядник. – Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» – «Врешь, Максимыч, – сказала капитанша, – у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи господина офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, все ли благополучно?»

– Все, слава богу, тихо, – отвечал казак, – только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

– Иван Игнатьич! – сказала капитанша кривому старичку. – Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Я отклонялся. Урядник привел меня в избу, стоящую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы, довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избышек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня, – сказал он мне по-французски, – что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостью описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фронт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь, – прибавил он, – нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали на стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! – сказала комендантша. – Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русскими волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенную дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? – сказала ему жена. – Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». – «А слышь ты, Василиса Егоровна, – отвечал Иван Кузмич, – я был занят службой: солдатушек учил». – «И, полно! – возразила капитанша. – Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли! – сказала она, – ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековой невестой». Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, – сказал я довольно некстати, – что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». – «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» – спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», – отвечал я. «Пустяки! – сказал комендант. – У нас давно ничего не слышать. Башкирцы – народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомону». – «И вам не страшно, – продолжал я, обращаясь к капитанше, – оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» – «Привычка, мой батюшка, – отвечала она. – Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

– Василиса Егоровна прехрабрая дама, – заметил важно Швабрин. – Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

– Да, слышь ты, – сказал Иван Кузмич, – баба-то не робкого десятка.

– А Марья Ивановна? – спросил я, – так же ли смела, как и вы?

– Смела ли Маша? – отвечала ее мать. – Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

Глава IV

Поединок

– Ин изволь, и стань же в позитуру.

Посмотришь, проколю как я твою фигуру!

Княжнин

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечною. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия: но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечером иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первую вестовщицею во всем околотке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван внезапным междуусоби-ем.

Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стихи:

Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!

Но глаза, что мя пленили,
Всеминутно предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти,
Сжался, Маша, надо мной,
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

– Как ты это находишь? – спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но, к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

– Почему так? – спросил я его, скрывая свою досаду.

– Потому, – отвечал он, – что такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплеты.

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозой. «Посмотрим, – сказал он, – сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»

– Не твое дело, – отвечал я нахмурясь, – кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

– Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник! – продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня, – но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками.

– Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

– С охотой. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег.

Кровь моя закипела.

– А почему ты об ней такого мнения? – спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

– А потому, – отвечал он с адской усмешкою, – что знаю по опыту ее нрав и обычай.

– Ты лжешь, мерзавец! – вскричал я в бешенстве, – ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменялся в лице.

– Это тебе так не пройдет, – сказал он, стиснув мне руку. – Вы мне дадите сатисфакцию.

– Изволь; когда хочешь! – отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Андреич! – сказал он, увидя меня, – добро пожаловать! Как это вас бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить, – сказал он мне, – что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

– Точно так.

– Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на ворота не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье – и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро в уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно, – сказал Иван Игнатьич, – делайте как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся, что за невидальщина, смею спросить? Слава богу, ходил я под шведа и под турку: всего насмотрелся».

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша, – сказал он. – Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодейство, противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры...»

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилие его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступиться.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но, признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунданты, – сказал он мне сухо, – без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, по-видимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так, – сказал он мне с довольным видом, – худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров».

– Что, что, Иван Игнатьич? – сказала комендантша, которая в углу гадала в карты, – я не вслушалась.

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

– Иван Игнатьич, – сказал он, – одобряет нашу мировую.

– А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

– Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем.

– За что так?

– За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна.

– Нашли за что ссориться! за песенку!.. да как же это случилось?

– Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,

Не ходи гулять в полночь...

Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось.

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство,

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; при-шед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать, – сказал он мне, – надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественное: «привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в господа бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»

Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам, – сказал он ей хладнокровно, – не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело». – «Ах! мой батюшка! – возразила комендантша, – да разве муж и жена не один дух и единая плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассадит их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у бога прощения да каялись перед людьми».

Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта по-видимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было, – сказал я ему сердито, – доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» – «Как бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил, – отвечал он, – Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что все так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может», – сказал я ему. «Конечно, – отвечал Швабрин, – вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» И мы расстались как ни в чем не бывали.

Возвратясь к коменданту, я, по обыкновению своему, подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорю с Швабриным. «Я так и обмерла, – сказала она, – когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно в они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестью и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иваныч».

– А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

– Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень мне противен; а странно: ни за что в я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх.

– А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
– Мне кажется, – сказала она, – я думаю, что нравлюсь.

– Почему же вам так кажется?

– Потому что он за меня сватался.

– Сватался! Он за вас сватался? Когда же?

– В прошлом году. Месяца два до вашего приезда.

– И вы не пошли?

– Как изволите видеть. Алексей Иваныч, конечно, человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие благополучия!

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показали мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дожидался недолго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? – сказал мне Швабрин, – за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке... В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.

Глава V

Любовь

Ах ты, девка, девка красная!

Не ходи, девка, молода замуж;

Ты спроси, девка, отца, матери,

Отца, матери, роду-племени;

Накопи, девка, ума-разума,

Ума-разума, приданова.

Песня народная

Буде лучше меня найдешь, позабудешь.

Если хуже меня найдешь, воспомянешь.

То же

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрипнула дверь. «Что? каков?» – произнес шепотом голос, от которого я затрепетал. «Все в одном положении, – отвечал Савельич со вздохом, – все без памяти вот уже пятые сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где я? кто здесь?» – сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» – сказала она. «Слава богу, – отвечал я

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
слабым голосом. – Это вы, Марья Ивановна? скажите мне...» Я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнись! опомнись! – повторял он. – Слава тебе, владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..» Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич, – сказала она. – Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал голову и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна, – сказал я ей, – будь моею женою, согласись на мое счастье». Она опомнилась. «Ради бога, успокойтесь, – сказала она, отняв у меня свою руку. – Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастье воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла все мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители, конечно, рады будут ее счастью. «Но подумай хорошенько, – прибавила она, – со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»

Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался, но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что он будет на нее смотреть как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне и решился, однако, писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марье Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви.

Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается да раскается». Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрину, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснялся; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии.

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию, в Белогор-скую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать и с первых строк увидел, что все дело пошло к черту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
благословении и согласии на брак с Марьей Ивановой дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добратся да за проказы твои проучить тебя путем как мальчишку, несмотря на твой офицерский чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостойн, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуэлей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоём поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость.

Отец твой А. Г.»

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала; но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: «Видно, тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба: ты и мать мою хочешь уморить». Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь, – сказал он, чуть не зарывав, – что это изволишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?» – «Что ты сделал? – отвечал я. – Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы?» – «Я? писал на тебя доносы? – отвечал Савельич со слезами. – Господи царю небесный! Так изволь-ка прочитать, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. «Вот до чего я дожил, – повторял он, – вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать, как будто тыканием да топанием уберешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терзался в догадках. Подозрения мои остановились на Швабри-не. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось? – сказала она, увидев меня. – Как вы бледны!» – «Все кончено!» – отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно, мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Будучи во всем воля господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...» – «Этому не бывать! – вскричал я, схватив ее за руку, – ты меня любишь; я готов на все. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы обвенчаемся... а там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит...» – «Нет, Петр Андреич, – отвечала Маша, – я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастья. Покоримся воле божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую – бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих...» Тут она заплакала и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть

Я сидел, погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот, сударь, – сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги, – посмотри, доносчик ли я на своего барина и стараюсь ли я помутить сына с отцом». Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович,
отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что–де стыдно мне не исполнять господских приказаний; а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испугать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна, и так с испугу слегла, и за ее здоровье бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цирюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава богу, здоров, и про него, кроме хорошего, нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то был молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш

Архип Савельев».

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменялось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но, видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузмичом виделся я только, когда того требовала служба. Со Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство. Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

Глава VI

Пугачевщина

Вы, молодые ребята, послушайте,

что мы, старые старики, будем сказывать.

Песня

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства беспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиной тому

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении и, наконец, усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Все было уже тихо или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали втайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее:

«Господину коменданту Белогорской крепости

Капитану Миронову.

По секрету.

Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно, и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

– Принять надлежащие меры! – сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. – Слышь ты, легко сказать. Злодей-то, видно, силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно.

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. «Как ты думаешь, чем это кончится?» – спросил я его. «Бог знает, – отвечал он, – посмотрим. Важного покамест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он нимало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастье, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru валежником». – «А для чего ж было тебе запирать Палашку? – спросила комендантша. – За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?» Иван Кузмич не был приготовлен к такому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но, зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготавливала совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления? – думала комендантша, – уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича, с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и сказала, качая головою: «Господи боже мой! Вишь, какие новости! Что из этого будет?»

– И, матушка! – отвечал Иван Игнатьич. – Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!

– А что за человек этот Пугачев? – спросила комендантша.

Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать дальше побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Посланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот уж тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

«Слышь ты, Василиса Егоровна, – сказал он ей покашливая. – Отец Герасим получил, говорят, из города...» – «Полно врать, Иван Кузмич, – перервала комендантша, – ты, знать, хочешь собрать совещание да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих не проведешь!» Иван Кузмич вытаращил глаза. «Ну, матушка, – сказал он, – коли ты уже все знаешь, так, пожалуй, оставайся; мы потолкуем и при

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru тебе». – «То-то, батько мой, – отвечала она, – не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами».

Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не сопротивляться, угрожая казнью в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

«Каков мошенник! – воскликнула комендантша. – Что смеет еще нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?»

– Кажется, не должно бы, – отвечал Иван Кузмич. – А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

– Видно, он в самом деле силен, – заметил Швабрин.

– А вот сейчас узнаем настоящую его силу, – сказал комендант. – Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

– Постой, Иван Кузмич, – сказала комендантша, вставая с места. – Дай уведу машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться.

Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, – мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого роста, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе! – сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году. – Да ты, видно, старый волк, побывал в наших капканах. Ты, знать, не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что же ты молчишь? – продолжал Иван Кузмич, – али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по-вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова.

– Якши, – сказал комендант, – ты у меня заговоришь. Ребята! съмите-ка с него дурацкий полосатый халат да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся, – тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. «Ну, – сказал комендант, – видно, нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем».

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

– Что это с тобою сделалось? – спросил изумленный комендант.

– Батюшки, беда! – отвечала Василиса Егоровна. – Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди, злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

– Послушайте, Иван Кузмич! – сказал я коменданту. – Долг наш – защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей:

– А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?

– И, пустое! – сказала комендантша. – Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

– Ну, матушка, – возразил Иван Кузмич, – оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей–то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся или дождемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость?

– Ну, тогда... – Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом необычайного волнения.

– Нет, Василиса Егоровна, – продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. – Маше здесь оставаться негоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром что ты старуха, а посмотри, что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом.

– Добро, – сказала комендантша, – так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

– И то дело, – сказал комендант. – Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?

– У Акулины Памфиловны, – отвечала комендантша. – Ей сделалось дурно, как услыхала о взятии Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали из-за стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застаю Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич! – сказала она мне со слезами. – Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, господь приведет нас друг с другом увидеться; если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее. «Прощай, ангел мой, – сказал я, – прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!» Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.

Глава VII

Приступ

Голова моя, головушка,

Голова послуживая!

Послужила моя головушка

Ровно тридцать лет и три года.

Ах, не выслужила головушка

Ни корысти себе, ни радости,

Как ни слова себе доброго

И ни рангу себе высокого;

Только выслужила головушка

Два высокие столбика,

Перекладинку кленовую,

Еще петельку шелковую.

Народная песня

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы? – сказал Иван Игнатьич, догоняя меня. – Иван Кузмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел». – «Уехала ли Марья Ивановна?» – спросил я с сердечным трепетом. – «Не успела, – отвечал Иван Игнатьич, – дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!»

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетасили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростию необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалось, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постойм сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди brave и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. «Ну, что? – сказала комендантша. – Каково идет баталья? Где же неприятель?» – «Неприятель недалече, – отвечал Иван Кузмич. – Бог даст, все будет ладно. Что, Маша, страшно тебе?» – «Нет, папенька, – отвечала Марья Ивановна, – дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили, и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскочили под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас! – закричал Иван Кузмич. – Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под уздцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники, видимо, приготовлялись к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна! – сказал комендант. – Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива ни мертва».

Василиса Егоровна, присмирившая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе и смерти бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорей». (Маша кинулась ему на шею и зарыдала.) «Поцелуемся ж и мы, – сказала, заплакав, комендантша. – Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила!» – «Прощай, прощай, матушка! – сказал комендант, обняв свою старуху. – Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел вслед Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко, – сказал комендант, – будет приступ...» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую середину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятались. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал... Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята, – сказал комендант, – теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!»

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите? – закричал Иван Кузмич. – Умирать так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот уж вам будет, государевым ослушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приблизились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. «Который комендант?» – спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича, вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай, – сказал ему Пугачев, – государю Петру Феодоровичу!» – «Ты нам не государь, – отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана. – Ты, дядюшка, вор и самозванец!» Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неопisanному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» – сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», – повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной! – говорил бедный дядька. – Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует», – говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!» – говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич! – шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. – Не упрямясь! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: «Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Все это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои! – кричала бедная старушка. – Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи! – закричала она в исступлении. – Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» – «Унять старую ведьму!» – сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.

Глава VIII

Незванный гость

Незванный гость хуже татарина.

Пословица

Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкаф был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

– Ах, Петр Андреич! – сказала она, сплеснув руками. – Какой денек! какие страсти!..

– А Марья Ивановна? – спросил я нетерпеливо, – что Марья Ивановна?

– Барышня жива, – отвечала Палаша. – Она спрятана у Акулины Памфиловны.

– У попадьи! – вскричал я с ужасом. – Боже мой! да там Пугачев!..

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

– Ради бога! где Марья Ивановна? – спросил я с неизъяснимым волнением.

– Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою, – отвечала попадья. – Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава богу, все прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: «Племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая неделя». – «А молода твоя племянница?» – «Молода, государь». – «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». – У меня сердце так и екнуло, да нечего было делать. – «Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и прийти к твоей милости». – «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами! – и ничего... бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастью, она, моя голубушка, не узнала его. Господи владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать. А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то. – В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. – Ступайте себе домой, Петр Андреич, – сказала она, – теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что будет, то будет; авось бог не оставит.

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава богу! – вскричал он, увидя меня. – Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? все у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду – ничего не оставили. Да что уж! Слава богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?»

– Нет, не узнал; а кто ж он такой?

– Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новешенький; а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!

Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

– Не изволишь ли покушать? – спросил Савельич, неизменный в своих привычках. – Дома ничего нет; пойду пошарю да что-нибудь тебе изготовлю.

Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Остаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах... Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что-де «великий государь требует тебя к себе». – «Где же он?» – спросил я, готовясь повиноваться.

– В комендантском, – отвечал казак. – После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник фомке Бикбаеву да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его.

Я не почел нужным оспаривать мнения казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановною.

Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожам и блистающими глазами. Между ими не было ни швабина, ни нашего урядника, новобранных изменников. «А, ваше благородие! – сказал Пугачев, увидя меня. – Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
дядюшкой. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспаривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы, – сказал Пугачев, – затайдем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! Начинай!» Сосед мой затаил тонким голосом заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати.
Что завтра мне, доброму молодцу, в допрос идти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Все правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий-то товарищ то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищ то тугой лук,
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалуйю
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.
Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, – все потрясло меня каким-то пиитическим ужасом.

Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

– Что, ваше благородие? – сказал он мне. – Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинудли тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват, – продолжал он, – но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получи свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

– Чему ты усмехаешься? – спросил он меня нахмурясь. – Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.

Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком – было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
слабостью человеческою. Я отвечал Пугачеву: «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смысленный: ты сам увидел бы, что я лукавствую».

– Кто же я таков, по твоему разумению?

– Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, – сказал он, – чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

– Нет, – отвечал я с твердостью. – Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. «А коли отпущу, – сказал он, – так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»

– Как могу тебе в этом обещаться? – отвечал я. – Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя – пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня – спасибо; казнишь – бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть, – сказал он, ударя меня по плечу. – Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо.

Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, горящего по моему отсутствию. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыко! – сказал он перекрестившись. – Чем свет оставим крепость и пойдем куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.

Глава IX

Разлука

Сладко было спознаваться

Мне, прекрасная, с тобой;

Грустно, грустно расставаться,

Грустно, будто бы с душой.

Херасков

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тело комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай, – сказал он мне. – Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детской любовью и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие! – Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина: – Вот вам, детушки, новый командир: слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавсь казаков, которые хотели было посадить его.

В это время из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» – спросил важно Пугачев. «Прочитай, так изволишь увидеть», – отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудро пишешь? – сказал он наконец. – Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»

Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай вслух», – сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее:

– «Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».

– Это что значит? – сказал, нахмурясь, Пугачев.

– Прикажи читать далее, – отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

– «Мундир из тонкого зеленого сукна на семь рублей.

Штаны белые суконные на пять рублей.

Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами на десять рублей.

Погребец с чайною посудю на два рубля с полтиною...»

– Что за вранье? – прервал Пугачев. – Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крикнул и стал объясняться.

– Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...

– Какими злодеями? – спросил грозно Пугачев.

– Виноват: обмолвился, – отвечал Савельич. – Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили да порастаскали. Не гнепись: конь и о четырех ногах, да спотыкается. Прикажи уж дочитать.

– Дочитывай, – сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

– «Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге, четыре рубля.

Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

– Это что еще! – вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? – вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Савельичу. – Глупый старик! Их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с бариним-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками... Заячий тулуп! Я те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

– Как изволишь, – отвечал Савельич, – а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был, видно, в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь, – отвечал Савельич, – смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».

Я спешил в дом священника увидаться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие утешали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка – невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте, – говорила мне попадья, провожая меня, – прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводи и дела издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводи другой: «Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще, – примолвил, запинаясь, урядник, – жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою; простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный!» – «Что у меня за пазухой-то побрякивает? – возразил урядник, нимало не смутясь. – Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина». – «Добро, – сказал я, прерывая спор. – Благодарю от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку». – «Очень благодарен, ваше благородие, – отвечал он, поворачивая свою лошадь, – вечно за вас буду бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Са-вельича. «Вот видишь ли, сударь, – сказал старик, – что я недаром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да все же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».

Глава X
Осада города
Заняв луга и горы,

С вершины, как орел, бросал на град он
взоры.

За станом повелел соорудить раскат

И, в нем перуны скрыв, в ночи привести
под град.

Херасков

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала.

Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов! – сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. – Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама и какая мастерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай! – заметил генерал. – Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкой?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим, – сказал он. – Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покамест поди отдохни».

Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в газетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа, – продолжал он, – надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: наступательно или оборонительно? Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно... Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Господин прапорщик! – продолжал он, обращаясь ко мне. – Извольте объяснить нам ваше мнение».

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагосклонностию. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «молокосос», произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Господин прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных; это законный порядок. Теперь станем продолжать собиранье голосов. Господин коллежский советник!

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

– Как же так, господин коллежский советник? – возразил изумленный генерал. – Других способов тактика не представляет: движение оборонительное или наступательное...

– Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

– Эх-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...

– И тогда, – прервал таможенный директор, – будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам.

– Мы еще об этом подумаем и потолкуем, – отвечал генерал. – Однако надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку.

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек, за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

– Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен, ибо мнение сие основано на всех правилах здоровой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает.

Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

– Но, государи мои, – продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму, – я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемиростивейшей моею государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками – отражать.

Чиновники, в свою очередь, насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решился следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приблизился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетающим на их дворы; даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищей и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и добродетельных. Тощая городская конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностью и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал:

– Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас бог милует?

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался.

– Здравствуй, Максимыч, – сказал я ему. – Давно ли из Белогорской?

– Недавно, батюшка Петр Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо.

– Где ж оно? – вскричал я, весь так и вспыхнув.

– Со мною, – отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. – Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить. – Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застравав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозит, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выйду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня, бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота

Марья Миронова».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия припоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода.

– Ваше превосходительство, – сказал я ему, – прибегаю к вам как к отцу родному; ради бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идет о счастье всей моей жизни.

– Что такое, батюшка? – спросил изумленный старик. – Что я могу для тебя сделать? Говори.

– Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

– Как это? Очистить Белогорскую крепость? – сказал он наконец.

– Ручаюсь вам за успех, – отвечал я с жаром. – Только отпустите меня.

– Нет, молодой человек, – сказал он, качая головой. – На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать.

– Дочь капитана Миронова, – сказал я ему, – пишет ко мне письмо: она просит помощи; Швабрин принуждает ее выйти за него замуж.

– Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm[2], и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в двадцать четыре часа, и мы расстреляем его на парапете крепости! Но покамест надобно взять терпение...

– Взять терпение! – вскричал я вне себя. – А он между тем женится на Марье Ивановне!..

– О! – возразил генерал. – Это еще не беда: лучше ей быть покамест женою Швабрина: он теперь может оказать ей протекцию, а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица.

– Скорее соглашусь умереть, – сказал я в бешенстве, – нежели уступить ее Швабрину!

– Ба, ба, ба, ба! – сказал старик. – Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоприятна; я не могу взять ее на свою ответственность.

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем она состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

Глава XI

Мятежная слобода

В ту пору лев был сыт, хоть сроду он

свиреп.

«Зачем пожаловать изволил в мой

вертеп?» –

Спросил он ласково.

А. Сумароков

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не ровен час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня все-го-навсе денег? «Будет с тебя, – отвечал он с довольным видом. – Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Савельич, – сказал я ему, – отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость».

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
– Батюшка Петр Андреич! – сказал добрый дядька дрожащим голосом. – Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны.

Но намерение мое было твердо принято.

– Поздно рассуждать, – отвечал я старику. – Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...

– Что ты это, сударь? – прервал меня Савельич. – Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтобы я стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану.

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди... Петр Андреич... батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи владыко, пропадет барское дитя!»

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами: это был передовой караул пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутой, пришпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка, – прибавил он, – волен приказать: сейчас ли вас повесить али дожидаться свету божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец, – сказал один из мужиков, – сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дождался долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай: наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru

сальными свечами, а стены оклеены были золотой бумагой; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенец на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, – все было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие! – сказал он мне с живостью. – Как поживаешь? Зачем тебя бог принес?» Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» – спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них, – сказал мне Пугачев, – от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, тщедушный и сгорбленный старичок с седой бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого роста, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй – Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

– Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? – закричал он. – Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

– Швабрин виноватый, – отвечал я. – Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

– Я прочу Швабрину, – сказал грозно Пугачев. – Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу.

– Прикажи слово молвить, – сказал Хлопуша хриплым голосом. – Ты поторопился назначить Швабрину в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору.

– Нечего их ни жалеть, ни жаловать! – сказал старичок в голубой ленте. – Швабрину казнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров.

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие? – сказал он мне подмигивая. – Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

– Добро, – сказал Пугачев. – Теперь скажи, в каком состоянии ваш город.

– Слава богу, – отвечал я, – все благополучно.

– Благополучно? – повторил Пугачев. – А народ мрет с голоду!

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

– Ты видишь, – подхватил старичок, – что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью, Хлопуша стал противоречить своему товарищу.

– Полно, Наумыч, – сказал он ему. – Тебе бы все душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?

– Да ты что за угодник? – возразил Белобородов. – У тебя-то откуда жалость взялась?

– Конечно, – отвечал Хлопуша, – и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костлявый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье, да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором.

Старик отворотился и проворчал слова: «Рваные ноздри!»...

– Что ты там шепчешь, старый хрыч? – закричал Хлопуша. – Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб я тебе бородашки не вырвал!

– Господа енаралы! – провозгласил важно Пугачев. – Полно вам ссориться. Не беда, если в и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладной: беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь.

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге».

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен, – сказал он, мигая и прищуриваясь. – Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»

– Она невеста моя, – отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

– Твоя невеста! – закричал Пугачев. – Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем! – Потом, обращаясь к Белобородову: – Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем.

Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям,

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противуречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» – сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилося. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела...

«Стой! стой!» – раздался голос, слишком мне знакомый, – и я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреич! – кричал дядька. – Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен...» – «А, старый хрыч! – сказал ему Пугачев. – Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок».

– Спасибо, государь, спасибо, отец родной! – говорил Савельич усаживаясь. – Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня, старика, призрил и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о заячем тулупе и упоминать уж не стану.

Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастью, самозванец или не расслышал, или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянную. Я воображал себе минуту нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что станет с Марьей Ивановной? Холод пробежал по моему телу, и волосы становились дыбом...

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

– О чем, ваше благородие, изволил задуматься?

– Как не задуматься, – отвечал я ему. – Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя.

– Что ж? – спросил Пугачев. – Страшно тебе?

Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

– И ты прав, ей-богу прав! – сказал самозванец. – Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился, – прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать, – помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братия.

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспаривать и не отвечал ни слова.

– Что говорят обо мне в Оренбурге? – спросил Пугачев, помолчав немного.

– Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие.

– Да! – сказал он с веселым видом. – Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?

Хвастливость разбойника показалась мне забавна.

– Сам как ты думаешь? – сказал я ему, – управился ли бы ты с Фридериком?

– С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву.

– А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса:

– Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою.

– То-то! – сказал я Пугачеву. – Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев горько усмехнулся.

– Нет, – отвечал он, – поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою.

– А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

– Слушай, – сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. – Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсе только тридцать три года? – Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! – Какова калмыцкая сказка?

– Затейлива, – отвечал я ему. – Но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погружаясь каждый в свои размышления. Татарин затаил унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с колокольней – и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.

Глава XII

Сирота

Как у нашей у яблоньки

Ни верхушки нет, ни отросточек;

Как у нашей у княгинюшки

Ни отца нету, ни матери.

Снарядить-то ее некому,

Благословить-то ее некому.

Свадебная песня

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился; но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце мое заняло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостью. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно:

– Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее.

Швабрин побледнел как мертвый.

– Государь, – сказал он дрожащим голосом... – Государь, она не под караулом... она больна... она в светлице лежит.

– Веди ж меня к ней, – сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

Швабрин остановился на лестнице.

– Государь! – сказал он. – Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей.

Я затрепетал.

– Так ты женат! – сказал я Швабрину, готовясь его растерзать.

– Тише! – прервал меня Пугачев. – Это мое дело. А ты, – продолжал он, обращаясь к Швабрину, – не умничай и не ломайся: жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною.

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом:

– Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит без умолку.

– Отворяй! – сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало – не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрину и сказал с горькой усмешкою:

– Хорош у тебя лазарет! – Потом, подошед к Марье Ивановне: – Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?

– Мой муж! – повторила она. – Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решила умереть, и умру, если меня не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрину.

– И ты смел меня обманывать! – сказал он ему. – Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?

Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился.

– Милую тебя на сей раз, – сказал он Швабри-ну, – но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта.

Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково:

– Выходи, красная девица; дарю тебе волю. Я государь.

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней; но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

– Что, ваше благородие? – сказал, смеясь, Пугачев. – Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженным отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем – и ворота запрем!

Чего я опасался, то и случилось. Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя.

– Государь! – закричал он в исступлении. – Я виноват, я вам солгал; но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости.

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза.

– Это что еще? – спросил он меня с недоумением.

– Швабрин сказал тебе правду, – отвечал я с твер-достью.

– Ты мне этого не сказал, – заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

– Сам ты рассуди, – отвечал я ему, – можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

– И то правда, – сказал, смеясь, Пугачев. – Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их.

– Слушай, – продолжал я, видя его доброе расположение. – Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнью моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротой, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть по-твоему! – сказал он. – Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!»

Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовлений к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были закрыты. Я постучался. «Кто там?» – спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, Петр Андреич. Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне: я сейчас туда же буду».

Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреич, – говорила

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru попадьа. – Привел бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за то». – «Полно, старуха, – прервал отец Герасим. – Не все то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались».

Попадьа стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляла плясать по своей дудке); как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я, в свою очередь, рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадьа крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная! – говорила Акулина Памфиловна. – Промчи бог тучу мимо. Ай да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!» В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Шваб-рин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали... Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевавшем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагоприятное положение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна! – сказал я наконец. – Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить». Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не проти-вуречил. Мы поцеловались горячо, искренно – и таким образом все было между нами решено.

Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный! – говорила добрая попадьа. – Счастливым путь, и дай бог вам обоим счастья!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.

Глава XIII

Арест

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему

Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.

– Извольте, я готов; но я в такой надежде,

что дело объяснить дозволите мне прежде.

Княжнин

Соединенный так нечаянно с милой девушкой, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостью то на меня, то на дорогу и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного временщика.

Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приблизились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? – ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяйшюю». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум! – сказал мне усатый вахмистр. – Вот уж тебе будет баня, и с твоею хозяйшюю!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Господи владыко! чем это все кончится?» Кибитка шагом поехала за нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяйшюю к себе привести.

– Что это значит? – закричал я в бешенстве. – Да разве он с ума сошел?

– Не могу знать, ваше благородие, – отвечал вахмистр. – Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире!

– Возможно ли? – вскричал я. – Иван Иваныч! ты ли?

– Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?

– Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

– Какую тебе квартиру? Оставайся у меня.

– Не могу: я не один.

– Ну, подавай сюда и товарища.

– Я не с товарищем; я... с дамою.

– С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат! (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

– Ну, – продолжал Зурин, – так и быть. Будет тебе квартира. А жаль... Мы бы попиروвали по-старинному... Гей! малой! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько ее в шею.

– Что ты это? – сказал я Зурину. – Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставлю ее.

– Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?

– После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Все это, брат, хорошо; одно нехорошо: зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать: поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и все будет ладно».

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решил последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностью. «Друг ты мой, Архип Савельич! – сказал я ему. – Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решил, как скоро обстоятельства дозвоят, жениться на ней».

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неопisanного.

– Жениться! – повторил он. – Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?

– Согласятся, верно согласятся, – отвечал я, – когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреич! – отвечал он. – Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого».

Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-помалу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич! – сказала она тихим голосом. – Придется ли нам увидаться или нет, бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединились и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидели. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу[3].

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марию Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал, как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе несдобровать! Женишься – ни за что пропадешь!»

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: «Емеля, Емеля! – думал я с досадою, – зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать». Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марию Ивановну... Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» – спросил я с беспокойством. «Маленькая неприятность, – отвечал он, подавая мне бумагу. – Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего! – сказал Зурин. – Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть, на несколько еще месяцев, устрасала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге.

Глава XIV

Суд

Мирская молва –

Морская волна.

Пословица

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не вслушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.

Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, наместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посереде сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою.

Такое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, изливаемой из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер, – сказал он мне нахмурясь, – но видали мы и не таких!»

Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог.

– Каким же образом, – возразил мой допросчик, – дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег?

Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана; как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

– «На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринева находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу...» Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?»

Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными извещениями злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку – эта ужасная мысль так меня поразила, что я замаялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть вчерашнего злодея. Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел – Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать, – как бы то ни было, имя дочери белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрину, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобой усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слышал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего целью была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Са-вельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностию и осторожностию.

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б**. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа, он объявлял ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастью, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горсть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как! – повторял он, выходя из себя. – Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Воынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастья. Она скрывала от всех свои слезы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург? – сказала она. – Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка! – сказал он ей со вздохом. – Мы твоему счастью помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкою, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит нареченной моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав на почтовом дворе, что Двор находился в то время в Царском Селе, решилась тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером, – словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, со своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание.

- Вы, верно, не здешние? – сказала она.
- Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.
- Вы приехали с вашими родными?
- Никак нет-с. Я приехала одна.
- Одна! Но вы так еще молоды.
- У меня нет ни отца, ни матери.
- Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?
- Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.
- Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?
- Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.
- Позвольте спросить, кто вы таковы?
- Я дочь капитана Миронова.
- Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?
- Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня, – сказала она голосом еще более ласковым, – если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь».

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось, – и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

- Вы просите за Гринева? – сказала дама с холодным видом. – Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй.
- Ах, неправда! – вскрикнула Марья Ивановна.
- Как неправда! – возразила дама, вся вспыхнув.
- Неправда, ей-богу неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня. – Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились?» – спросила она потом; и, услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече.

Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти, господи! – закричала она. – Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном?» камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так утрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру».

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю, что вы не богаты, – сказала она, – но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не любопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

* * *

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпитаф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

Издатель

19 окт. 1836

Приложение

Пропущенная глава[4]

Мы приближались к берегам Волги; полк наш вступил в деревню ** и остановился в ней ночевать. Староста объявил мне, что на той стороне все деревни взбунтовались, шайки пугачевские бродят везде. Это известие меня сильно встревожило. Мы должны были переправиться на другой день утром. Нетерпение овладело мной. Деревня отца моего находилась в тридцати верстах по ту сторону реки. Я спросил, не сыщется ли перевозчика. Все крестьяне были рыболовы; лодок было много. Я пришел к Гриневу и объявил ему о своем намерении. «Берегись, – сказал он мне. – Одному ехать опасно. Дождись утра. Мы переправимся первые и приведем в гости к твоим родителям 50 человек гусаров на всякий случай».

Я настоял на своем. Лодка была готова. Я сел в нее с двумя гребцами. Они отчалили и ударили в весла.

Небо было ясно. Луна сияла. Погода была тихая – Волга неслась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, быстро скользила по темным волнам. Я погрузился в мечты воображения. Прошло около получаса. Мы уже достигли середины реки... вдруг гребцы начали шептаться между собою. «Что такое?» – спросил я, очнувшись. «Не знаем, бог весть», – отвечали гребцы, смотря в одну сторону. Глаза мои приняли то же направление, и я увидел в сумраке что-то плившее вниз по Волге. Незнакомый предмет приближался. Я велел гребцам остановиться и дожидаться его. Луна зашла за облако. Плывущий призрак сделался еще неяснее. Он был от меня уже близко, и я все еще не мог различить. «Что бы это было, – говорили гребцы. – Парус не парус, мачты не мачты...» – Вдруг луна вышла из-за облака и озарила зрелище ужасное. К нам навстречу плыла виселица, утвержденная на плоту, три тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овладело мною. Я захотел взглянуть на лица висельников.

По моему приказанию гребцы зацепили плот багром, лодка моя толкнулась о плывущую виселицу. Я выпрыгнул и очутился между ужасными столбами. Яркая луна озаряла обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет 20-ти. Но, взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву. Над ними прибита была черная доска, на которой белыми крупными буквами было написано: «Воры и бунтовщики». Гребцы смотрели равнодушно и ожидали меня, удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. Плот поплыл вниз по реке. Виселица долго чернела во мраке. Наконец она исчезла, и лодка моя причалила к высокому и крутому берегу...

Я щедро расплатился с гребцами. Один из них повел меня к выборному деревни, находившейся у перевоза. Я вошел с ним вместе в избу. Выборный, услыша, что я требую лошадей, принял было меня довольно грубо, но мой вожатый сказал ему тихо несколько слов, и его суровость тотчас обратилась в торопливую услужливость. В одну минуту тройка была готова, я сел в тележку и велел себя везти в нашу деревню.

Я скакал по большой дороге, мимо спящих деревень. Я боялся одного: быть остановлену на дороге. Если ночная встреча моя на Волге доказывала присутствие бунтовщиков, то она вместе была доказательством и сильного противодействия правительства. На всякий случай я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева. Но никто мне не встретился, и к утру я завидел реку и еловую рощу, за которой находилась наша деревня. Ямщик ударил по лошадям, и через четверть часа я въехал в **.

Барский дом находился на другом конце села. Лошади мчались во весь дух. Вдруг посередине улицы ямщик начал их удерживать. «Что такое?» – спросил я с нетерпением. «Застава, барин», – отвечал ямщик, с трудом остановив разъяренных

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru своих коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиной. Мужик подошел ко мне и снял шляпу, спрашивая пашпорту. «Что это значит? – спросил я его, – зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь?» – «Да мы, батюшка, бунтуем», – отвечал он, почесываясь.

– А где ваши господа? – спросил я с сердечным замиранием...

– Господа-то наши где? – повторил мужик. – Господа наши в хлебном анбаре.

– Как в анбаре?

– Да Андрюха, земский, посадил, вишь, их в колодки и хочет везти к батюшке-государю.

– Боже мой! Отворачивай, дурак, рогатку. Что же ты зеваешь?

Караульный медлил. Я выскочил из телеги, треснул его (виноват) в ухо и сам отодвинул рогатку. Мужик мой глядел на меня с глупым недоумением. Я сел опять в телегу и велел скакать к барскому дому. Хлебный анбар находился на дворе. У запертых дверей стояли два мужика также с дубинами. Телега остановилась прямо перед ними. Я выскочил и бросился прямо на них. «Отворяйте двери!» – сказал я им. Вероятно, вид мой был страшен. По крайней мере оба убежали, бросив дубины. Я попытался сбить замок, а двери выломать, но двери были дубовые, а огромный замок несокрушим. В эту минуту статный молодой мужик вышел из людской избы и с видом надменным спросил меня, как я смею буянить. «Где Андрюшка земский, – закричал я ему. – Кликнуть его ко мне».

– Я сам Андрей Афанасьевич, а не Андрюшка, – отвечал он мне, гордо подбочась. – Чего надобно?

Вместо ответа я схватил его за ворот и, притащив к дверям анбара, велел их отпирать. Земский было заупрямился, но отеческое наказание подействовало и на него. Он вынул ключ и отпер анбар. Я кинулся через порог и в темном углу, слабо освещенном узким отверстием, прорубленным в потолке, увидел мать и отца. Руки их были связаны, на ноги набиты были колодки. Я бросился их обнимать и не мог выговорить ни слова. Оба смотрели на меня с изумлением, – три года военной жизни так изменили меня, что они не могли меня узнать. Матушка ахнула и залилась слезами.

Вдруг услышал я милый знакомый голос. «Петр Андреич! Это вы!» Я остолбенел... оглянулся и вижу в другом углу Марью Ивановну, также связанную.

Отец глядел на меня молча, не смея верить самому себе. Радость блистала на лице его. Я спешил саблею разрезать узлы их веревок.

– Здравствуй, здравствуй, Петруша, – говорил отец мне, прижимая меня к сердцу, – слава богу, дождались тебя...

– Петруша, друг мой, – говорила матушка. – Как тебя господь привел! Здоров ли ты?

Я спешил их вывести из заключения, – но, подошев к двери, я нашел ее снова запертой. «Андрюшка, – закричал я, – отопри!» – «Как не так, – отвечал из-за двери земский. – Сиди-ка сам здесь. Вот ужо научим тебя буянить да за ворот таскать государевых чиновников!»

Я стал осматривать анбар, ища, не было ли какого-нибудь способа выбраться.

– Не трудись, – сказал мне батюшка, – не таковской я хозяин, чтоб можно было в анбары мои входить и выходить воровскими лазейками.

Матушка, на минуту обрадованная моим появлением, впала в отчаяние, видя, что пришлось и мне разделить погибель всей семьи. Но я был спокойнее с тех пор, как находился с ними и с Марьей Ивановной. Со мною была сабля и два пистолета, я мог еще выдержать осаду. Гринев должен был подоспеть к вечеру и нас освободить. Я сообщил все это моим родителям и успел успокоить матушку. Они предались вполне радости свидания.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru – Ну, Петр, – сказал мне отец, – довольно ты проказил, и я на тебя порядком был сердит. Но нечего поминать про старое. Надеюсь, что теперь ты исправился и перебесился. Знаю, что ты служил, как надлежит честному офицеру. Спасибо. Утешил меня, старика. Коли тебе обязан я буду избавлением, то жизнь мне вдвое будет приятнее.

Я со слезами целовал его руку и глядел на Марью Ивановну, которая была так обрадована моим присутствием, что казалась совершенно счастлива и спокойна.

Около полудни услышали мы необычайный шум и крики. «Что это значит, – сказал отец, – уж не твой ли полковник подоспел?» – «Невозможно, – отвечал я. – Он не будет прежде вечера». Шум умножился. Били в набат. По двору скакали конные люди; в эту минуту в узкое отверстие, прорубленное в стене, просунулась седая голова Савельича, и мой бедный дядька произнес жалобным голосом: «Андрей Петрович, Авдотья Васильевна, батюшка ты мой, Петр Андреич, матушка Марья Ивановна, беда! злодеи вошли в село. И знаешь ли, Петр Андреич, кто их привел? Швабрин, Алексей Иваныч, нелегкое его побери!» Услыша ненавистное имя, Марья Ивановна всплеснула руками и осталась неподвижною.

– Послушай, – сказал я Савельичу, – пошли кого-нибудь верхом к * перевозу, навстречу гусарскому полку; и вели дать знать полковнику об нашей опасности.

– Да кого же послать, сударь! Все мальчишки бунтуют, а лошади все захвачены! Ахти! Вот уж на дворе – до анбара добираются.

В это время за дверь раздались несколько голосов. Я молча дал знак матушке и Марье Ивановне удалиться в угол, обнажил саблю и прислонился к стене у самой двери. Батюшка взял пистолеты и на обоих взвел курки и стал подле меня. Загремел замок, дверь отворилась, и голова земского показалась. Я ударил по ней саблею, и он упал, заградив вход. В ту же минуту батюшка выстрелил в дверь из пистолета. Толпа, осаждавшая нас, отбежала с проклятиями. Я перетащил через порог раненого и запер дверь внутреннею петлею. Двор был полон вооруженных людей. Между ими узнал я Швабрину.

– Не бойтесь, – сказал я женщинам. – Есть надежда. А вы, батюшка, уже более не стреляйте. Побережем последний заряд.

Матушка молча молилась богу; Марья Ивановна стояла подле нее, с ангельским спокойствием ожидая решения судьбы нашей. За дверьми раздавались угрозы, брань и проклятия. Я стоял на своем месте, готовясь изрубить первого смельчака. Вдруг злодеи замолчали. Я услышал голос Швабрину, зовущего меня по имени.

– Я здесь, чего ты хочешь?

– Сдайся, Буланин, противиться напрасно. Пожалей своих стариков. Упрямством себя не спасешь. Я до вас доберусь!

– Попробуй, изменник!

– Не стану ни сам соваться по-пустому, ни своих людей тратить. А велю поджечь анбар, и тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон-Кишот Белогорский. Теперь время обедать. Покамест сиди да думай на досуге. До свидания, Марья Ивановна, не извиняюсь перед вами: вам, вероятно, не скучно в потемках с вашим рыцарем.

Швабрин удалился и оставил караул у анбара. Мы молчали. Каждый из нас думал про себя, не смея сообщить другому своих мыслей. Я воображал себе все, что в состоянии был учинить озлобленный Швабрин. О себе я почти не заботился. Признаться ли? И участь родителей моих не столько ужасала меня, как судьба Марьи Ивановны. Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми, батюшка, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Бунт их был заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодования. Тут пощада была вероятна. Но Марья Ивановна? Какую участь готовил ей развратный и бессовестный человек? Я не смел остановиться на этой ужасной мысли и готовился, прости господи, скорее умертвить ее, нежели вторично увидеть в руках жестокого недруга.

Прошло еще около часа. В деревне раздавались песни пьяных. Караульные наши им завидовали и, досадуя на нас, ругались и страшали нас истязаниями и смертью. Мы

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
ожидали последствия угрозам Шваб-рина. Наконец сделалось большое движение на дворе, и мы опять услышали голос Швабрина:

– Что, надумались ли вы? Отдаются ли добровольно в мои руки?

Никто ему не отвечал. Подождав немного, Швабрин велел принести соломы. Через несколько минут вспыхнул огонь и осветил темный анбар и дым начал пробиваться из-под щелей порога. Тогда Марья Ивановна подошла ко мне и тихо, взяв меня за руку, сказала:

– Полно, Петр Андреич! Не губите за меня и себя и родителей. Выпустите меня. Швабрин меня послушает.

– Ни за что, – закричал я с сердцем. – Знаете ли вы, что вас ожидает?

– Бесчестия я не переживу, – отвечала она спокойно. – Но, может быть, я спасу моего избавителя и семью, которая так великодушно призрела мое бедное сиротство. Прощайте, Андрей Петрович. Прощайте, Авдотья Васильевна. Вы были для меня более чем благодетели. Благословите меня. Простите же и вы, Петр Андреич. Будьте уверены, что... что... – тут она заплакала... и закрыла лицо руками... Я был как сумасшедший. Матушка плакала.

– Полно врать, Марья Ивановна, – сказал мой отец. – Кто тебя пустит одну к разбойникам! Сиди здесь и молчи. Умирать, так умирать уж вместе. Слушай, что там еще говорят?

– Сдаются ли? – кричал Швабрин. – Видите? через пять минут вас изжарят.

– Не сдадимся, злодей! – отвечал ему батюшка твердым голосом.

Лицо его, покрытое морщинами, оживлено было удивительною бодростью, глаза грозно сверкали из-под седых бровей. И, обратясь ко мне, сказал:

– Теперь пора!

Он отпер двери. Огонь ворвался и взвился по бревнам, законопаченным сухим мохом. Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул за пылающий порог, закричав: «Все за мною». Я схватил за руку матушку и Марью Ивановну и быстро вывел их на воздух. У порога лежал Швабрин, простреленный дряхлою рукою отца моего; толпа разбойников, бежавшая от неожиданной нашей вылазки, тотчас ободрилась и начала нас окружать. Я успел нанести еще несколько ударов, но кирпич, удачно брошенный, угодил мне прямо в грудь. Я упал и на минуту лишился чувств. Пришед в себя, увидел я Швабрина, сидевшего на окровавленной траве, и перед ним все наше семейство. Меня поддерживали под руки. Толпа крестьян, казаков и башкирцев окружала нас. Швабрин был ужасно бледен.

Одной рукой прижимал он раненый бок. Лицо его изображало мучение и злобу. Он медленно поднял голову, взглянул на меня и произнес слабым и невнятным голосом:

– Вешать его... и всех... кроме ее...

Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам. Но вдруг они нас оставили и разбежались; в ворота въехал Гринев и за ним целый эскадрон с саблями наголо.

* * *

Бунтовщики утекали во все стороны; гусары их преследовали, рубили и хватили в плен. Гринев соскочил с лошади, поклонился батюшке и матушке и крепко пожал мне руку. «Кстати же я подоспел, – сказал он нам. – А! вот и твоя невеста». Марья Ивановна покраснела по уши. Батюшка к нему подошел и благодарил его с видом спокойным, хотя и тронутым. Матушка обнимала его, называя ангелом избавителем. «Милости просим к нам», – сказал ему батюшка и повел его к нам в дом.

Проходя мимо Швабрина, Гринев остановился. «Это кто?» – спросил он, глядя на раненого. «Это сам предводитель, начальник шайки, – отвечал мой отец с некоторой гордостью, обличающей старого воина, – бог помог дряхлой руке моей наказать молодого злодея и отомстить ему за кровь моего сына».

– Это Швабрин, – сказал я Гриневу.

– Швабрин! Очень рад. Гусары! Возьмите его! Да сказать нашему лекарю, чтоб он перевязал ему рану и берег его как зеницу ока. Швабрина надобно непременно представить в секретную Казанскую комиссию. Он один из главных преступников, и показания его должны быть важны.

Швабрин открыл томный взгляд. На лице его ничего не изображалось, кроме физической муки. Гусары отнесли его на плаще.

Мы вошли в комнаты. С трепетом смотрел я вокруг себя, припоминая свои младенческие годы. Ничто в доме не изменилось, все было на прежнем месте. Швабрин не дозволил его разграбить, сохраняя в самом своем унижении невольное отвращение от бесчестного корыстолюбия. Слуги явились в переднюю. Они не участвовали в бунте и от чистого сердца радовались нашему избавлению. Савельич торжествовал. Надобно знать, что во время тревоги, произведенной нападением разбойников, он побежал в конюшню, где стояла Швабрина лошадь, оседлал ее, вывел тихонько и благодаря суматохе незаметным образом поскакал к перевозу. Он встретил полк, отдохавший уже по сю сторону Волги. Гринева, узнав от него об нашей опасности, велел садиться, скомандовал марш, марш в галоп – и, слава богу, прискакал вовремя.

Гринева настоял на том, чтобы голова земского была на несколько часов выставлена на шесте у кабака.

Гусары возвратились с погони, захватя в плен несколько человек. Их заперли в тот самый анбар, в котором выдержали мы достопамятную осаду.

Мы разошлись каждый по своим комнатам. Старикам нужен был отдых. Не спавши целую ночь, я бросился на постель и крепко заснул. Гринева пошел делать свои распоряжения.

Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. Марья Ивановна разливала чай, я сел подле нее и занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, благосклонно смотрели на нежность наших отношений. Доселе этот вечер живет в моем воспоминании. Я был счастлив, счастлив совершенно, а много ли таковых минут в бедной жизни человеческой?

На другой день доложили батюшке, что крестьяне явились на барский двор с повинною. Батюшка вышел к ним на крыльцо. При его появлении мужики стали на колени.

– Ну что, дураки, – сказал он им, – зачем вы вздумали бунтовать?

– Виноваты, государь ты наш, – отвечали они в голос.

– То-то, виноваты. Напроказят, да и сами не рады. Прощаю вас для радости, что бог привел мне свидеться с сыном Петром Андреичем. Ну, добро: повинную голову меч не сечет. Виноваты! Конечно, виноваты. Бог дал ведро, пора бы сено убрать; а вы, дурачье, целые три дня что делали? Староста! Нарядить поголовно на сенокос; да смотри, рыжая bestия, чтоб у меня к Ильину дню все сено было в копнах. Убирайтесь.

Мужики поклонились и пошли на барщину как ни в чем не бывало.

Рана Швабрина оказалась не смертельна. Его с конвоем отправили в Казань. Я видел из окна, как его уложили в телегу. Взоры наши встретились, он потупил голову, а я поспешно отошел от окна. Я боялся показывать вид, что торжествую над несчастием и унижением недруга.

Гринева должен был отправиться далее. Я решился за ним последовать, несмотря на мое желание пробыть еще несколько дней посреди моего семейства. Накануне похода я пришел к моим родителям и по тогдашнему обыкновению поклонился им в ноги, прося их благословения на брак с Марьей Ивановной. Старики меня подняли и в радостных слезах изъявили свое согласие. Я привел к ним Марью Ивановну бледную и трепещущую. Нас благословили... Что чувствовал я, того не стану описывать. Кто бывал в моем положении, тот и без того меня поймет, – кто не бывал, о том только

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru могу пожалеть и советовать, пока еще время не ушло, влюбиться и получить от родителей благословение.

На другой день полк собрался, Гринев распротился с нашим семейством. Все мы были уверены, что военные действия скоро будут прекращены; через месяц я надеялся быть супругом. Марья Ивановна, прощаясь со мною, поцеловала меня при всех. Я сел верхом. Савельич опять за мною последовал – и полк ушел.

Долго смотрел я издали на сельский дом, опять мною покидаемый. Мрачное предчувствие тревожило меня. Кто-то мне шептал, что не все несчастья для меня миновались. Сердце чуяло новую бурю.

Не стану описывать нашего похода и окончания Пугачевской войны. Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.

Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных... Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка.

Пугачев бежал, преследуемый Ив. Ив. Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Гринев получил от своего генерала известие о поимке самозванца, а вместе и повеление остановиться. Наконец мне можно было ехать домой. Я был в восторге; но странное чувство омрачало мою радость.

ДУБРОВСКИЙ Том первый Глава I

Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; Кирила Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань; дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он два раза в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. В одном из флигелей его дома жили шестнадцать горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окны во флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирила Петровича. Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирила Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно; несмотря на то, они были ему преданы: они тщеславились богатством и славою своего господина и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство.

Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел семидесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместье, они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходились отчасти и в характерах и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге, дочь Кирила Петровича росла в глазах родителя, и Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоём Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол». Андрей Гаврилович качал головой и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирила Петрович: мой Володька не жених Марии Кириловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки».

Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнению хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирила Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменял.

Раз в начале осени Кирила Петрович собирался в отъездное поле. Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовыми к пяти часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирила Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак, под присмотром штаб-лекаря Тимошки, и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осматривал его по крайней мере уже в двадцатый раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями; останавливался пред некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирила Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых; он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. «Что же ты хмуришься, брат, – спросил его Кирила Петрович, – или псарня моя тебе не нравится?» – «Нет, – отвечал он сурово, – псарня чудная, вряд людям вашим житье такое ж, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье, – сказал он, – благодаря бога и барина, не жалуемся, а что правда, то правда, иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было в и сытнее и теплее». Кирила Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестись и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошке Кирилу Петровичу новорожденных щенят; он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил.

Возвратясь с гостями со псарного двора, Кирила Петрович сел ужинать и тогда только, не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирила Петрович, по обыкновению своему разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал, Кирила Петрович встал из-за стола, отпустил гостей и отправился спать.

На другой день первый вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником; Кирила Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее:

«Государь мой премилостивый,

Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шуточки от Ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. За сим остаюсь покорным ко услугам

Андрей Дубровский».

По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным, но оно рассердило Кирила Петровича не странным слогом и расположением, но только своею сущностью: «Как, – загремел Троекуров, вскочив с постели босой, – высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его... Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!»

Кирила Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своею пышностью, но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца и того протравили. Обед в поле под палаткою также не удался или по крайней мере был не по вкусу Кирила Петровича, который прибил повара, разбрал гостей и на возвратном пути со всею своею охотою нарочно поехал полями Дубровского.

Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское – Кирила Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение.

Дубровский объезжал однажды малое свое владение; приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно вооруженных у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит, прежде сего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, – и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту.

Слух о сем происшествии в тот же день дошел до Кирила Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку (так называлась деревня его соседа), разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину. Но мысли его вскоре приняли другое направление.

Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку; маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику; Троекуров узнал заседателя Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний.

– Здорово, как, бишь, тебя зовут, – сказал ему Троекуров, – зачем пожаловал?

– Я ехал в город, ваше превосходительство, – отвечал Шабашкин, – и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства.

– Очень кстати заехал, как, бишь, тебя зовут; мне до тебя нужда. Выпей водки да выслушай.

Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя. Он отказался от водки и стал слушать Кирила Петровича со всевозможным вниманием.

– У меня сосед есть, – сказал Троекуров, – мелкопоместный грубиян; я хочу взять у него имение, – как ты про то думаешь?

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
– Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или...

– Врешь, братец, какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой, однако ж. Это имение принадлежало некогда нам, было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться?

– Мудрено, ваше высокопревосходительство; вероятно, сия продажа совершена законным порядком.

– Подумай, братец, поищи хорошенько.

– Если бы, например, ваше превосходительство могли каким ни есть образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то конечно...

– Понимаю, да вот беда – у него все бумаги сгорели во время пожара.

– Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели! чего ж вам лучше? – в таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие.

– Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.

Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон, с того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и, благодаря его проворству, ровно через две недели Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащие объяснения насчет его владения сельцом Кистеневкою.

Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что Троекурову до него дела никакого нет и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество.

Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во-первых, что Дубровский мало знает толку в делах, во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение.

Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но впоследствии времени оказавшуюся недостаточной.

Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился, не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги, и хоть он, бывало, всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени, но мысль соделаться жертвой ябеды не приходила ему в голову. С своей стороны, Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного дела, – Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, страшая и подкупая судей и толкуя вкривь и впрямь всевозможные указы. Как бы то ни было, 18... года, февраля 9 дня, Дубровский получил через городскую полицию приглашение явиться к ** земскому судье для выслушания решения одного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город; на дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника.

Глава II

Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него, и на другой день утром явился в присутствии уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирила Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо. Члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресла из уважения к его чину, летам и дородности; он сел при открытых дверях – Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке – настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда.

Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидеть один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право.

18... года октября 27 дня ** уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кирилу Петрову сыну Троекурову, состоящим ** губернии в сельце Кистеневке, мужеска пола ** душами, да земли с лугами и угодьями ** десятин. Из коего дела видно: означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 18... года июня 9 дня взшел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец, коллежский асессор и кавалер Петр Ефимов сын Троекуров в 17... году августа 14 дня, служивший в то время в ** наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова сына Спицына имение, состоящее ** округи в помянутом сельце Кистеневке (которое селение тогда по ** ревизии называлось Кистеневскими выселками), всего значащихся по 4-й ревизии мужеска пола ** душ со всем их крестьянским имуществом, усадьбою, с пашенною и непашенною землею, лесами, санными покосы, рыбными ловли по речке, называемой Кистеневке, и со всеми принадлежащими к оному имению угодьями и господским деревянным домом, и словом все без остатка, что ему после отца его, из дворян урядника Егора Терентьева сына Спицына, по наследству досталось и во владении его было, не оставляя из людей ни единыя души, а из земли ни единого четверика, ценою на 2500 р., на что и купчая в тот же день в ** палате суда и расправы совершена, и отец его тогда же августа в 26-й день ** земским судом введен был во владение и учинен за него отказ. – А наконец 17... года сентября 6-го дня отец его волею божиею помер, а между тем он, проситель генерал-аншеф Троекуров, с 17... года почти с малолетства находился в военной службе и по большей части был в походах за границами, почему он и не мог иметь сведения как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении. Ныне же по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имения отца его, состоящие ** и ** губерниях **, ** и ** уездах, в разных селениях, всего до 3000 душ, находит, что из числа таковых имений вышеписанными ** душами (коих по нынешней ** ревизии значится в том сельце всего ** душ) с землею и со всеми угодьями владеет без всяких укреплений вышеписанный гвардии поручик Андрей Дубровский, почему, представляя при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобрав помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его, Троекурова, распоряжение. А за несправедливое оного присвоение, с коего он пользовался получаемыми доходами, по учинении об оных надлежащего дознания, положить с него, Дубровского, следующее по законам взыскание и оным его, Троекурова, удовлетворить.

По учинении ж ** земским судом по сему прошению исследований открылось: что помянутый нынешний владелец спорного имения гвардии поручик Дубровский дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владеемое им ныне имение, состоящее в означенном сельце Кистеневке, ** душ с землею и угодьями, досталось ему по наследству после смерти отца его, артиллерии подпоручика Гаврила Евграфова сына Дубровского, а ему дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского асессора Троекурова, по доверенности, данной от него в 17... году августа 30 дня, засвидетельствованной в ** уездном суде, титулярному советнику Григорью Васильеву сыну Соболеву, по которой должна быть от него на имение сие отцу его купчая, потому что во оной именно сказано, что он, Троекуров, все доставшееся ему по купчей от канцеляриста Спицына имение, ** душ с землею, продал отцу его, Дубровского, и следующие по договору деньги, 3200 рублей, все сполна с отца его без возврата получил и просил оного доверенного Соболева выдать отцу его указную крепость. А между тем отцу его в той же доверенности по случаю заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением и распоряжаться впредь до совершения оной крепости, как настоящему владельцу, и ему, продавцу Троекурову, впредь и никому в то имение уже не вступаться. Но когда именно и в каком присутственном месте таковая купчая от поверенного Соболева дана его отцу, – ему, Андрею Дубровскому, неизвестно, ибо он в то время был в совершенном малолетстве, и после смерти его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгорела ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 17... году в доме их пожара, о чем известно было и жителям того селения. А что оным имением со дня продажи Троекуровым или выдачи Соболеву доверенности, то есть с 17... года, а по смерти отца его с 17... года и поныне, они, Дубровские, бесспорно владели, в том свидетельствуется на окольных жителей, которые, всего 52 человека, на опрос под присягою показали, что

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru действительно, как они могут запомнить, означенным спорным именем начали владеть помянутые гг. Дубровские назад сему лет с 70 без всякого от кого-либо спора, но по какому именно акту или крепости, им неизвестно. – Упомянутый же по сему делу прежний поупчик сего имения, бывший провинциальный секретарь Петр Троекуров, владел ли сим именем, они не запомнят. Дом же гг. Дубровских назад сему лет 30 от случившегося в их селении в ночное время пожара сгорел, причем сторонние люди допускали, что доходу означенное спорное имение может приносить, полагая с того времени в сложности ежегодно не менее как до 2000 р.

Напротив же сего генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров 3-го генваря сего года взошел в сей суд с прошением, что хотя помянутый гвардии поручик Андрей Дубровский и представил при учиненном следствии к делу сему выданную покойным его отцом Гаврилом Дубровским титулярному советнику Соболеву доверенность на запроданное ему имение, но по оной не только подлинной купчей, но даже и на совершение когда-либо оной никаких ясных доказательств по силе генерального регламента 19 главы и указа 1752 года ноября 29 дня не представил. Следовательно, самая доверенность ныне, за смертью самого дателя оной, отца его, по указу 1818 года мая . . . дня, совершенно уничтожается. – А сверх сего – велено спорные имения отдавать во владения – крепостные по крепостям, а некрепостные по розыску.

На каковое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует, на основании означенных узаконений, из неправильного владения помянутого Дубровского отобрать, отдать ему по праву наследства. А как означенные помещики, имея во владении не принадлежащего им имения и без всякого укрепления, и пользовались с оного неправильно и им не принадлежащими доходами, то по исчислению, сколько таковых будет причитаться по силе . . . взыскать с помещика Дубровского и его, Троекурова, оными удовлетворить. – По рассмотрении какового дела и учиненной из оного и из законов выписки в ** уездном суде определено:

Как из дела сего видно, что генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров на означенное спорное имение, находящееся ныне во владении у гвардии поручика Андрея Гаврилова сына Дубровского, состоящее в сельце Кистеневке, по нынешней . . . ревизии всего мужеска пола ** душ, с землею и угодьями, представил подлинную купчую на продажу оного покойному отцу его, провинциальному секретарю, который потом был коллежским асессором, в 17 . . . году из дворян канцеляристом Фадеем Спицыным, и что сверх сего сей поупчик, Троекуров, как из учиненной на той купчей надписи видно, был в том же году ** земским судом введен во владение, которое имение уже и за него отказано, и хотя напротив сего со стороны гвардии поручика Андрея Дубровского и представлена доверенность, данная тем умершим поупчиком Троекуровым титулярному советнику Соболеву для совершения купчей на имя отца его, Дубровского, но по таковым сделкам не только утверждать крепостные недвижимые имения, но даже и временно владеть по указу . . . воспрещено, к тому ж и самая доверенность смерти дателя оной совершенно уничтожается. – Но чтоб сверх сего действительно была по оной доверенности совершена где и когда на означенное спорное имение купчая, со стороны Дубровского никаких ясных доказательств к делу с начала производства, то есть с 18 . . . года и по сие время, не представлено. А потому сей суд и полагает: означенное имение, ** душ, с землею и угодьями, в каком ныне положении тое окажется, утвердить по представленной на оное купчей за генерал-аншефа Троекурова; о удалении от распоряжения оным гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него, г. Троекурова, и об отказе за него, как дошедшего ему по наследству, предписать ** земскому суду. А хотя сверх сего генерал-аншеф Троекуров и просит о взыскании с гвардии поручика Дубровского за неправое владение наследственным его имением воспользовавшихся с оного доходов. – Но как оное имение, по показанию старожилых людей, было у гг. Дубровских несколько лет в беспорном владении, и из дела сего не видно, чтоб со стороны г. Троекурова были какие-либо до сего времени прошения о таковом неправильном владении Дубровскими оного имения, к тому по уложению велено, ежели кто чужую землю засеет или усадьбу загородит, и на того о неправильном завладении станут бити челом, и про то съестся допрямом, тогда правому отдавать тую землю, и с посеянным хлебом, и городьбою, и строением, а посему генерал-аншефу Троекурову в изъявленном на гвардии поручика Дубровского иске отказать, ибо принадлежащее ему имение возвращается в его владение, не изъемя из оного ничего. А что при вводе за него окажется может все без остатка, предо-ставя между тем генерал-аншефу Троекурову, буде он имеет о таковой своей претензии какие-либо ясные и законные доказательства, может просить где следует особо. Какое решение наперед объявить как истцу, равно и ответчику, на законном

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
основании, апелляционным порядком, коих и вызвать в сей суд для выслушания сего
решения и подписки удовольствия или неудовольствия чрез полицию.

Какое решение подписали все присутствующие того суда.

Секретарь умолкнул, заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу, и торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под решением суда совершенное свое удовольствие.

Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову.

Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если паче чаяния чувствует по совести, что дело его есть правое, и намерен в положенное законами время просить по апелляции куда следует. Дубровский молчал... Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такою силою, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. «Как! не почитать церковь божию! прочь, хамово племя!» Потом, обратясь к Кирилу Петровичу: «Слыхано дело, ваше превосходительство, – продолжал он, – псари вводят собак в божию церковь! собаки бегают по церкви. Я вас уже проучу...» Сторожа сбежались на шум и насилию им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество.

Судии, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский между тем лежал в постеле; уездный лекарь, по счастью не совершенный невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи. К вечеру ему стало легче, больной пришел в память. На другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.

Глава III

Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского все еще было плохо; правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним, как за ребенком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей и, кроме ее, не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту.

Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести.

Владимир Дубровский воспитывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти; играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости.

Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее:

«Государь ты наш, Владимир Андреевич, – я, твоя старая нянька, решила тебе доложить о здоровье папенькином! Он очень плох, иногда заговаривается, и весь день сидит как дитя глупое – а в животе и смерти бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на Песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кирилу Петровичу Троекурову – потому что мы – дескать, ихние, а мы искони Ваши, – и отроду того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь

Орина Егоровна Бузырева.

Посылаю мое материнское благословение Грише, хорошо ли он тебе служит? У нас дожди идут вот уже друга неделя и пастух Родя помер около миколина дня».

Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно bestолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на восьмом году своего возраста – со всем тем он романически был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями.

Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах.

Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске – закурил трубку и погрузился в глубокие размышления.

Тот же день стал он хлопотать об отпуске и через три дня был уж на большой дороге.

Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий, он боялся уже не застать отца в живых, он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже четвертые сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне и смотревший за его маленькой лошадкой. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до земли, сказал ему, что старый его барин еще жив, и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повез его проселочными дорогами – и между ими завязался разговор.

– Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым?

– А бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич... Барин, слышь, не поладил с Кирилом Петровичем, а тот и подал в суд – хотя почасту он сам себе судия. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирила Петровича, плетью обуха не перешибешь.

– Так, видно, этот Кирила Петрович у вас делает что хочет?

– И вестимо, барин: заседателя, слышь, он и в грош не ставит, исправник у него на посылках. Господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут.

– Правда ли, что отымают он у нас имение?

– Ох, барин, слышали так и мы. На днях покровский пономарь сказал на крестинах у нашего старосты: полно вам гулять; вот ужо приберет вас к рукам Кирила Петрович. Микита-кузнец и сказал ему: и, полно, Савельич, не печаль кума, не мути гостей – Кирила Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам по себе, а все мы божи да государевы; да ведь на чужой рот пуговицы не нашешь.

– Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову?

– Во владение Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави: у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
мясо-то отдерет. Нет, дай бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выдавай ты нас, а мы уж за тебя станем. – При сих словах Антон размахнул кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью.

Тронутый преданностию старого кучера, Дубровский замолчал и предался снова размышлениям. Прошло более часа, вдруг Гриша пробудил его восклицанием: «Вот Покровское!» Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами; на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зеленая кровля и бельведер огромного каменного дома, на другом пятиглавая церковь и старинная колокольня; около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезьями. Дубровский узнал сии места; он вспомнил, что на сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его.

Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадям и, повинувшись честолюбию, общему и деревенским кучерам, как и извозчикам, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выхав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею; сердце в нем забилося; перед собою видел он Кистеневку и бедный дом своего отца.

Через десять минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неопианным. Двенадцать лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошенный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изоб и окружила молодого барина с шумными изъявлениями радости. Насилу мог он продраться сквозь их усердную толпу и взбежал на ветхое крыльцо; в сенях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника. «Здорово, здорово, няня, – повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху, – что батюшка, где он? каков он?»

В эту минуту в залу вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке.

– Здравствуй, Володька! – сказал он слабым голосом, и Владимир с жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его.

– Зачем ты встал с постели, – говорила ему Егоровна, – на ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди.

Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне и просил оставить его наедине с отцом. Домашние повиновались, и тогда все обратились к Грише и повели в людскую, где и угостили его по-деревенскому, со всевозможным радушием, измучив его вопросами и приветствиями.

Глава IV

Где стол был яств, там гроб стоит.

Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные объяснения – у Андрея Гавриловича не было поверенного. Разбирая его бумаги, нашел он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное; из того не мог он получить ясное понятие о тяжбе и решился ожидать последствий, надеясь на правоту самого дела.

Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впавшего в совершенное детство.

Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями и просьбою назначить, когда угодно будет его высокопревосходительству вступить во

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
владение новоприобретенным имением – самому или кому изволил он дать на то доверенность. Кирила Петрович смутился. От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости, – и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтоб его выбрать, но не нашед достаточного к тому предлога, сказал ему сердито: «Пошел вон, не до тебя».

Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирила Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперед, насвистывая: «Гром победы раздавайся», что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей.

Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее (это было уже в конце сентября) и, сам правя, выехал со двора.

Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противоположные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние наконец восторжествовали. Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирила Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа – и въехал прямо на двор.

В это время больной сидел в спальне у окна. Он узнал Кирила Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его: багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся... и вдруг упал. Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания – паралич его ударил. «Скорей, скорей в город за лекарем!» – кричал Владимир. «Кирила Петрович спрашивает вас», – сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд.

– Скажи Кирилу Петровичу, чтоб он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора... пошел! – Слуга радостно побежал исполнить приказание своего барина; Егоровна всплеснула руками. «Батюшка ты наш, – сказала она пискливым голосом, – погубишь ты свою головушку! Кирила Петрович съест нас». – «Молчи, няня, – сказал с сердцем Владимир, – сейчас пошли Антона в город за лекарем». Егоровна вышла.

В передней никого не было, все люди сбежались на двор смотреть на Кирила Петровича. Она вышла на крыльцо – и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирила Петрович выслушал его сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня с шумом толковала о сем происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал: «Не надобно лекаря, батюшка скончался».

Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир; правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь – не было уж и признака жизни в сем теле, еще не охладелом, но уже обезображенном кончиною. Егоровна взвыла, слуги окружили труп, оставленный на их попечение, – вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину.

Глава V

Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых. Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кисте-невки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли роцею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с деревьев.

При выходе из роци увидели кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осененное старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери; там подле могилы ее накануне вырыта была свежая яма.

Церковь полна была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у клироса; он не плакал и не молился – но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Владимир первый пошел прощаться с телом, за ним и все дворовые – принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли; мужики изредка утирали слезы кулаком. Владимир и те же трое слуг понесли его на кладбище в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу, все присутствующие бросили в нее по горсти песка, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу.

Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет церковный на похоронный обед, объявив, что молодой барин не намерен на оном присутствовать, и таким образом отец Антон, попадья Федотовна и дьячок пешком отправились на барский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, по-видимому, ожидало его наследника. (Приезд Троекурова и прием, ему оказанный, были уже известны всему околотку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия.)

– Что будет – то будет, – сказала попадья, – а жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать.

– А кому же как не ему и быть у нас господином, – прервала Егоровна. – Напрасно Кирила Петрович и горячится. Не на робкого напал: мой соколик и сам за себя постоит, да и, бог даст, благодетели его не оставят. Больно спесив Кирила Петрович! а небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему: «Вон, старый пес! долой со двора!»

– Ахти, Егоровна, – сказал дьячок, – да как у Григорья-то язык повернулся; я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирила Петровича. Как увидишь его, страх и трепет и краплет пот, а спина-то сама так и гнется, так и гнется...

– Суета сует, – сказал священник, – и Кирилу Петровичу отпоют вечную память, все как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче да гостей созовут побольше, а богу не все ли равно!

– Ах, батька! и мы хотели зазвать весь околоток, да Владимир Андреевич не захотел. Небось у нас всего довольно, есть чем угостить, да что прикажешь делать. По крайней мере, коли нет людей, так уж хоть вас употчую, дорогие гости наши.

Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пирог ускорили шаги собеседников, и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт и водка подана.

Между тем Владимир углублялся в чаще дерев, движением и усталостью стараясь заглушать душевную скорбь. Он шел не разбирая дороги; сучья поминутно задевали и царапали его, нога его поминутно вязла в болоте, – он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом; ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его... Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастья. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки – в таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представляющего ему верное подобие жизни – подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться; он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома.

Навстречу Дубровскому попался поп со всем причетом. Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошел стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо его.

– Удались от зла и сотвори благо, – говорил поп попадье, – нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось. – Попадья что-то отвечала, но Владимир не мог ее расслышать.

Приближаясь, увидел он множество народа – крестьяне и дворовые люди толпились на

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сюртуках, казалось, о чем-то толковали.

– Что это значит? – спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу. – Это кто такие, и что им надобно?

– Ах, батюшка Владимир Андреевич, – отвечал старик задыхаясь. – Суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости!..

Владимир потупил голову, люди его окружили несчастного своего господина. «Отец ты наш, – кричали они, целуя ему руки, – не хотим другого барина, кроме тебя, прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрем, а не выдадим». Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно, – сказал он им, – а я с приказными переговорю». – «Переговори, батюшка, – закричали ему из толпы, – да усовести окаянных».

Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин, с картузом на голове, стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крикнул и произнес охриплым голосом: «Итак, я вам повторяю то, что уже сказал: по решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайте его во всем, что ни прикажет, а вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник». При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования. «Позвольте узнать, что это значит?» – спросил он с притворным холоднокровием у веселого исправника. «А это то значит, – отвечал замысловатый чиновник, – что мы приехали вводить во владение сего Кирила Петровича Троекурова и просить иных прочих убираться подобру-поздорову». – «Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти...» – «А ты кто такой, – сказал Шабашкин с дерзким взором. – Бывший помещик Андрей Гаврилов сын Дубровский волею божиею помре, мы вас не знаем, да и знать не хотим».

– Владимир Андреевич наш молодой барин, – сказал голос из толпы.

– Кто там смел рот разинуть, – сказал грозно исправник, – какой барин, какой Владимир Андреевич? барин ваш Кирила Петрович Троекуров – слышите ли, олухи?

– Как не так, – сказал тот же голос.

– Да это бунт! – кричал исправник. – Гей, староста, сюда!

Староста выступил вперед.

– Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, я его!

Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил, но все молчали; вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать. «Да что на него смотреть, – закричали дворовые, – ребята! долой их!» – и вся толпа двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собою дверь.

«Ребята, вязать», – закричал тот же голос, – и толпа стала напирать... «Стойте, – крикнул Дубровский. – Дураки! что вы это? вы губите и себя и меня. Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать».

Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошелся – двор опустел. Члены сидели в сенях. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал. «Мы решили, – продолжал заседатель, – с вашего позволения остаться здесь ночевать; а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость: прикажите постлать нам хоть сена в гостиной; чем свет, мы отправимся восвояси».

– Делайте что хотите, – отвечал им сухо Дубровский, – я здесь уже не хозяин. – С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь.

Глава VI

«Итак, все кончено, – сказал он сам себе, – еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченною на перилы в белом утреннем платье с алой розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства, – подумал Владимир, – он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей, а в ее спальней, в комнате... где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем. Нет! нет! пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец все утихло.

Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большею частью состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью: письма моей жены. С сильным движением чувства Владимир принялся за них: они писаны были во время Турецкого похода и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала на разлуку и призывала его домой, в объятия доброй подруги; в одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл все на свете, погрузясь душою в мир семейственного счастья, и не заметил, как прошло время, стенные часы пробили одиннадцать. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю – двери были заперты. Не нашед ключа, Владимир возвратился в залу, – ключ лежал на столе, Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол – топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа-кузнеца. «Зачем ты здесь?» – спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы, – отвечал Архип пошепту, – господь помилуй и спаси! хорошо, что вы шли со свечою!» Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» – спросил он кузнеца.

– Я хотел... я пришел... было проведать, все ли дома, – тихо отвечал Архип запинаясь.

– А зачем с тобою топор?

– Топор-то зачем? Да как же без топора нонече и ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники – того и гляди...

– Ты пьян, брось топор, поди выпись.

– Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, бог свидетель, ни единой капли во рту не было... да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело, – подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора... Эк они храпят, окаянные; всех бы разом, так и концы в воду.

Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип, – сказал он, немного помолчав, – не дело ты затеял. Не приказные виноваты. Засвети-ка фонарь ты, ступай за мною».

Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли. «Кто сторожа?» – спросил Дубровский. «Мы, батюшка, – отвечал тонкий голос, – Василиса да Лукерья». – «Подите по дворам, – сказал им Дубровский, – вас не нужно». – «Шабаш», – промолвил Архип. «Спасибо, кормилец», – отвечали бабы и тотчас отправились домой.

Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему; они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» – спросил он их. «До сна ли нам, – отвечал Антон. – До чего мы дожили, кто бы подумал...»

– Тише! – прервал Дубровский, – где Егоровна?

– В барском доме в своей светелке, – отвечал Гриша.

– Поди приведи ее сюда да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось, кроме приказных, а ты, Антон, запряги телегу.

Гриша ушел и через минуту явился с своею матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; кроме приказных, никто в доме не смыкал глаза.

– Все ли здесь? – спросил Дубровский, – не осталось ли никого в доме?

– Никого, кроме подьячих, – отвечал Гриша.

– Давайте сюда сена или соломы, – сказал Дубровский.

Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.

– Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню!

Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину.

– Постой, – сказал он Архипу, – кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорей отопри их.

Архип побежал в сени – двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвля вполголоса: «Как не так, отопри!» – и возвратился к Дубровскому.

Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось и осветило весь двор.

– Ахти, – жалобно закричала Егоровна, – Владимир Андреевич, что ты делаешь?

– Молчи, – сказал Дубровский. – Ну, дети, прощайте, иду куда бог поведет; будьте счастливы с новым вашим господином.

– Отец наш, кормилец, – отвечали люди, – умрем, не оставим тебя, идем с тобою.

Лошади были поданы; Дубровский сел с Гришею в телегу и назначил им местом свидания Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора.

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стекла трещали, сыпались, пылающие бревна стали падать, раздался жалобный вопль и крики: «Горим, помогите, помогите». – «Как не так», – сказал Архип, с злобной улыбкой взвизывая на пожар. «Архипушка, – говорила ему Егоровна, – спаси их, окаянных, бог тебя наградит».

– Как не так, – отвечал кузнец.

В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли.

Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребяташки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненной метелью, избы загорелись.

– Теперь все ладно, – сказал Архип, – каково горит, а? чай, из Покровского славно смотреть.

В сию минуту новое явление привлекло его внимание; кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда прыгнуть, – со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние. «Чему смеетесь, бесенята, – сказал им сердито кузнец. – Бога вы не боитесь: бо-жия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь», – и, по-ставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз. «Ну, ребята, прощайте, – сказал

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
он смущенной дворне, – мне здесь делать нечего. Счастливо, не поминайте меня
лихом».

Кузнец ушел; пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи, и около них бродили погорелые жители Кистеневки.

Глава VII

На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяны на похоронах, зажгли дом из неосторожности, другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселии, многие уверяли, что он сам сгорел с земским судом и со всеми дворовыми. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником сего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий и писарь, так же как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип, пропали неизвестно куда. Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля; обгорелые кости их были открыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровского и Архипа-кузнеца вывели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец Архип, по всеобщему показанию, был жив и, вероятно, главный, если не единственный, виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирила Петрович послал губернатору подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось.

Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. В ** появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые противу них правительством, оказались недостаточными. Грабительства, одно другого замечательнее, следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в селы, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славится умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса; имя Дубровского было во всех устах, все были уверены, что он, а никто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному: поместья Троекурова были пощажены; разбойники не ограбили у него ни единого сарая, не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменности Троекуров приписывал сие исключение страху, который умел он внушить всей губернии, также и отменно хорошей полиции, им заведенной в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собою над высокомерием Троекурова и каждый день ожидали, чтоб незваные гости посетили Покровское, где было им чем поживиться, но наконец принуждены были с ним согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважение... Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернатора, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо.

Между тем наступило 1-е октября – день храмового праздника в селе Троекурова. Но прежде чем приступим к описанию сего торжества и дальнейших происшествий, мы должны познакомить читателя с лицами для него новыми, или о коих мы слегка только упомянули в начале нашей повести.

Глава VIII

Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирила Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было семнадцать лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать наверно, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выростала в уединении. Жены и дочери соседей редко езжали к Кирилу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирила Петровича. Огромная библиотека, составленная большею частью из сочинений французских писателей XVIII века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме «Совершенной поварихи», не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша, естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание, начатое

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирила Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность и которую принужден он был наконец выслать тихонько в другое поместье, когда следствия его дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияния, которое, видимо, имела над Кирилом Петровичем, в чем отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых. Сам Кирила Петрович, казалось, любил ее более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет девяти, напоминающий полуденные черты m-lle Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном, несмотря на то что множество босых ребятишек, как две капли воды похожих на Кирила Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирила Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саша француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых.

Сей учитель понравился Кирилу Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. Он представил Кирилу Петровичу свои аттестаты и письмо от одного из родственников Троекурова, у которого четыре года жил он гувернером. Кирила Петрович все это пересмотрел и был недоволен одною молодостью своего француза – не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместным с терпением и опытною, столь нужными в несчастном звании учителя, но у него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу (Кирила Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчиком).

– Подойди сюда, Маша; скажи ты этому мусье, что так и быть – принимаю его; только с тем, чтоб он у меня за моими девушками не осмелился волочиться, не то я его, собачьего сына... переведи это ему, Маша.

Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение.

Француз ей поклонился и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности.

Маша слово в слово перевела его ответ.

– Хорошо, хорошо, – сказал Кирила Петрович, – не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматике да географии, переведи это ему.

Марья Кириловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца, и Кирила Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната.

Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиною. Она не заметила и впечатления, ею произведенного на m-r Дефоржа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие.

На дворе у Кирила Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирила Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь, в ожидании настоящей травли. Изредка выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями; медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрогивался, колот себе лапы, осердясь толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, покамест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю божию. Но лучшею шуткою почиталась у Кирила Петровича следующая.

Проголодавшегося медведя запрут, бывало, в пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынным. Бедный гость, с оборванной полою и до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых три часа стоять прижавшись к стене и видеть, как разъяренный зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина! Несколько дней спустя после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате: для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собою темными коридорами; вдруг боковая дверь отворилась, двое слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомившись, учитель увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него... француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приблизился, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Все сбежалось, двери отворились, Кирила Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки. Кирила Петрович хотел непременно объяснения всему делу: кто предварил Дефоржа о шутке, для него предуготовленной, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет. Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела французу вопросы отца.

– Я не слыхивал о медведе, – отвечал Дефорж, – но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званию, не могу требовать удовлетворения.

Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кирилу Петровичу. Кирила Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру; потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! не струсил, ей-богу, не струсил». С той минуты он Дефоржа полюбил и не думал уже его пробовать.

Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марию Кириловну. Воображение ее было поражено: она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Между ими основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности, Дефорж вызвался давать ей уроки. После того читателю уже не трудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.

Том второй Глава IX

Накануне праздника гости начали съезжаться, иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В девять часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкви, построенной Кирилом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня начиналась, ждали Кири-ла Петровича. Он приехал в коляске шестерню и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Мариею Кириловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее; первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на крылосе, Кирила Петрович сам подтягивал, молился, не смотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул и о зиж-дителехрама сего.

Обедня кончилась. Кирила Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирила Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и насилу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах, мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины и прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «Кушание поставлено», – и Кирила Петрович первый пошел садиться за стол, за ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство, барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце

Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным разговором гостей, Кирила Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная шестью лошадьми. «Это кто?» – спросил хозяин. «Антон Пафнутьич», – отвечали несколько голосов. Двери отворились, и Антон Пафнутьич Спицын, толстый мужчина лет пятидесяти, с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться... «Прибор сюда, – закричал Кирила Петрович, – милости просим, Антон Пафнутьич, садись да скажи нам, что это значит: не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже, ты и богомолен и покушать любишь». – «Виноват, – отвечал Антон Пафнутьич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана, – виноват, батюшка Кирила Петрович, я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и десяти верст, вдруг шина у переднего колеса пополам – что прикажешь? К счастью, недалеко было от деревни; пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили, прошли ровно три часа, делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, а пустился в объезд...»

– Эге! – прервал Кирила Петрович, – да ты, знать, не из храброго десятка; чего ты боишься?

– Как чего боюсь, батюшка Кирила Петрович, а Дубровского-то; того и гляди, попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерет.

– За что же, братец, такое отличие?

– Как за что, батюшка Кирила Петрович? а за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник (царство ему небесное) обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкино. Доселе бог миловал. Всего-навсе разграбили у меня один анбар, да того и гляди до усадьбы доберутся.

– А в усадьбе-то будет им раздолье, – заметил Кирила Петрович, – я чай, красная шкатулочка полным-полна...

– Куда, батюшка Кирила Петрович. Была полна, а нынче совсем опустела!

– Полно врать, Антон Пафнутьич. Знаем мы вас; куда тебе деньги тратить, дома живешь свинья свиной, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь, да и только.

– Вы все изволите шутить, батюшка Кирила Петрович, – пробормотал с улыбкою Антон Пафнутьич, – а мы, ей-богу, разорились, – и Антон Пафнутьич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирила Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.

– А что, поймаете хоть вы Дубровского, господин исправник?

Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес наконец:

– Постараемся, ваше превосходительство.

– Гм, постараемся. Давно, давно стараются, а проку все-таки нет. Да, правда, зачем и ловить его. Разбой Дубровского благодать для исправников: разъезды, следствия, подводы, а деньги в карман. Как такого благодетеля известить? Не правда ли, господин исправник?

– Сущая правда, ваше превосходительство, – отвечал совершенно смутившийся исправник.

Гости захохотали.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru – Люблю молодца за искренность, – сказал Кирила Петрович, – а жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича – кабы не сожгли его, так в околотке было бы тише. А что слышно про Дубровского? где его видели в последний раз?

– У меня, Кирила Петрович, – пропищал толстый дамский голос, – в прошлый вторник обедал он у меня...

Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.

– Надобно знать, что тому три недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела; однако сами изволите знать: офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь, как могу, своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю: город близко, всего семь верст, авось бог пронесет. Смотрю: вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш – я так и ахнула. «Что такое? что с тобою сделалось?» Он мне: «Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили; самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился и отпустил, зато всего обобрал, отнял и лошадь и телегу». Я обмерла; царь мой небесный, что будет с моим Ванюшей? Делать нечего: написала я сыну письмо, рассказала все и послала ему свое благословение без гроша денег.

Прошла неделя, другая – вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться: милости просим; входит ко мне человек лет тридцати пяти, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева, рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича; он-де ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его чем бог послал, разговорились о том о сем, наконец и о Дубровском. Я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно, – сказал он, – я слышал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет; нет ли тут плутни, прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком, он явился; только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват – грех попутал – солгал». – «Коли так, – отвечал генерал, – так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же, – продолжал генерал, – рассказывай: где ты встретился с Дубровским?» – «У двух сосен, батюшка, у двух сосен». – «Что же сказал он тебе?» – «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем?» – «Ну, а после?» – «А после потребовал он письмо и деньги». – «Ну». – «Я отдал ему письмо и деньги». – «А он?.. Ну – а он?» – «Батюшка, виноват». – «Ну, что ж он сделал?..» – «Он возвратил мне деньги и письмо да сказал: ступай себе с богом – отдай это на почту». – «Ну, а ты?» – «Батюшка, виноват». – «Я с тобою, голубчик, управлюсь, – сказал грозно генерал, – а вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища». Я догадывалась, кто был его превосходительство, нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли; генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.

Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического, особенно Марья Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклиф.

– И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский, – спросил Кирила Петрович. – Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.

– Как, батюшка, не Дубровский, да кто же, как не он, выедет на дорогу и станет останавливать прохожих да их осматривать.

– Не знаю, а уж, верно, не Дубровский. Я помню его ребенком; не знаю, почернели ли у него волосы, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик, но знаю наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши и что, следственно, ему

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
не тридцать пять, а около двадцати трех.

– Точно так, ваше превосходительство, – провозгласил исправник, – у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду двадцать третий год.

– А! – сказал Кирила Петрович, – кстати: прочти-ка, а мы послушаем; не худо нам знать его приметы, авось в глаза попадетсЯ, так не вывернется.

Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностию и стал читать нараспев:

– «Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей.

От роду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые: таковых не оказалось».

– И только, – сказал Кирила Петрович.

– Только, – отвечал исправник, складывая бумагу.

– Поздравляю, господин исправник. Ай да бумага! по этим приметам не мудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто же не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос да не карие глаза! Бьюсь об заклад, три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные.

Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уж несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цимлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского, лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.

– Нет, – продолжал Кирила Петрович, – уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич! Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил, да и сам Дубровский не вывернулся в и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил: таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне вступитьсЯ в это дело да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отряжу человек двадцать, так они и очистят воровскую рощу; народ не трусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятятсЯ.

– Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирила Петрович, – сказал Антон Пафнутьич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.

– Миша приказал долго жить, – отвечал Кирила Петрович. – Умер славною смертью, от руки неприятеля. Вон его победитель, – Кирила Петрович указывал на Дефоржа, – выменяй образ моего француза. Он отомстил за твою... с позволения сказать... Помнишь?

– Как не помнить, – сказал Антон Пафнутьич почесываясь, – очень помню. Так Миша умер. Жаль Миши, ей-богу жаль! какой был забавник! какой умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?

Кирила Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только ни окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.

Обед, продолжавшийся около трех часов, кончился; хозяин положил салфетку на стол – все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофей, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой.

Около семи часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загрела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любясь веселостью молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам, все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался, он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кириловной, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать.

Отсутствие Кирила Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девицы смеялись и перешептывались со своими соседями; дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали, – словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний.

Один только человек не участвовал в общей радости: Антон Пафнutyч сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться.

Антон Пафнutyч, призывая господ в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал: красная шкатулка точно была пуста, деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную суму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностью успокаивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтоб не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры, он искал глазами надежного товарища и выбрал наконец Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнutyч не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнutyч стал вертеться около молодого француза, побрякивая и откашливаясь, и наконец обратился к нему с изъяснением.

– Гм, гм, нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что извольте видеть...

– *Que desire monsieur?*[5] – спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.

– Эк беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Же ве, муа, ше ву куше[6], понимаешь ли?

– *Monsieur, tres volontiers*, – отвечал Дефорж, – *veuillez donner des ordres en consequence*[7].

Антон Пафнutyч, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться.

Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату, ему назначенную. А Антон Пафнutyч пошел с учителем во флигель. Ночь была темная. Дефорж освещал дорогу фонарем, Антон Пафнutyч шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную суму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем.

Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться; между тем Антон Пафнutyч похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головою при сем неутешительном смотре. Двери запирались одною задвижкой, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения – француз его не понял, и Антон Пафнutyч принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.

– Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше[8], – закричал Антон Пафнutyч, спрягая с грехом пополам русский глагол тушу на французский лад. – Я не могу дормир[9] в потемках. – Дефорж не понял его восклицаний и пожелал ему доброй ночи.

– Проклятый басурман, – проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. – Нужно ему было свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня. – Мусье, мусье, – продолжал он, – же ве авек ву парле[10]. – Но француз не отвечал и вскоре захрапел.

«Храпит бестия француз, – подумал Антон Пафнутьич, – а мне так сон в ум нейдет. Того и гляди, воры войдут в открытые двери или влезут в окно, а его, бестию, и пушками не добудишься».

– Мусье! а мусье! дьявол тебя побери.

Антон Пафнутьич замолчал – усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его боязливость, он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно.

Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутьич открыл глаза и при лунном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа: француз в одной руке держал карманный пистолет, другою отстегивал заветную суму. Антон Пафнутьич обмер.

– Кесь ке се, мусье, кесь ке се[11]? – произнес он трепещущим голосом.

– Тише, молчать, – отвечал учитель чистым русским языком, – молчать, или вы пропали. Я Дубровский.

Глава XI

Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы еще рассказать.

На станции ** в доме смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкою.

– Вот бог послал свистуна, – говорила она вполголоса, – эк посвистывает, чтоб он лопнул, окаянный басурман.

– А что? – сказал смотритель, – что за беда, пускай себе свищет.

– Что за беда? – возразила сердитая супруга. – А разве не знаешь приметы?

– Какой приметы? что свист деньгу выживает. И! Пахомовна, у нас что свисти, что нет: а денег все нет как нет.

– Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту.

– Подождет, Пахомовна, на конюшне всего три тройки, четвертая отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие; не хочу своею шеей отвечать за француза. Чу, так и есть! вон скачут. Э-ге-ге, да как шибко; уж не генерал ли?

Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю, – вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.

– Лошадей, – сказал офицер повелительным голосом.

– Сейчас, – отвечал смотритель. – Пожалуйста подорожную.

– Нет у меня подорожной. Я еду в сторону... Разве ты меня не узнаешь?

Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши: кто такой проезжий.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
– Бог его ведает, – отвечала смотрительша, – какой-то француз. Вот уж пять часов как дожидается лошадей да свищет. Надоел проклятый.

Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.

– Куда изволите вы ехать? – спросил он его.

– В ближний город, – отвечал француз, – оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учителя. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер.

– А к кому из здешних помещиков определились вы? – спросил офицер.

– К господину Троекурову, – отвечал француз.

– К Троекурову? кто такой этот Троекуров?

– Ma foi, mon officier...[12] я слышал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокой в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями (avec les outchitels) он не церемонится и уже двух засек до смерти.

– Помилуйте! и вы решились определиться к такому чудовищу.

– Что же делать, господин офицер. Он предлагает мне хорошее жалование, три тысячи рублей в год и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание, из остальных денег в пять лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости, – и тогда bonsoir[13], еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты.

– Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова? – спросил он.

– Никто, – отвечал учитель, – меня он выписал из Москвы чрез одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондитеры, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее.

Офицер задумался.

– Послушайте, – прервал офицер, – что если бы вместо этой будущности предложили вам десять тысяч чистыми деньгами с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж.

Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.

– Лошади готовы, – сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое.

– Сейчас, – отвечал офицер, – выдьте вон на минуту. – Смотритель и слуга вышли. – Я не шучу, – продолжал он по-французски, – десять тысяч могу я вам дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги. – При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.

Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать.

– Мое отсутствие... мои бумаги, – повторял он с изумлением. – Вот мои бумаги... Но вы шутите: зачем вам мои бумаги?

– Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?

Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.

– Ваш паспорт... хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении, прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад. Прощайте...

Француз стоял как вкопанный.

Офицер воротился.

– Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами, честное ваше слово.

– Честное мое слово, – отвечал француз. – Но мои бумаги, что мне делать без них.

– В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте, дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровье.

Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал.

Смотритель смотрел в окошко и, когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием: «Пахомов-на, знаешь ли ты что? ведь это был Дубровский».

Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно: Дубровский был уже далеко. Она принялась бранить мужа:

– Бога ты не боишься, Сидорыч, зачем ты не сказал мне того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтобы он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!

Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги, все казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут, у него в кармане, и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия.

Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом, и ночью дотащился он до города.

Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился восвояси без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами.

Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения (мы их узнаем после), но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы, – зато с большим прилежанием следил за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно. Все любили молодого учителя, Кирила Петрович – за его смелое проворство на охоте, Марья Кириловна – за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша – за снисходительность к его шалостям, домашние – за доброту и за щедрость, по-видимому несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оногo.

Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного праздника, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Во все это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло стать и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствие начальника.

Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия, Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнутьича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники.

В девять часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кириловна, а Кирила Петрович, в байковом сертуке и в туфлях, выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутьич; он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил и что Кирила Петрович осведомился о его здоровье. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова; Антон Пафнутьич спешил откланяться и, несмотря на увещания хозяина, вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирила Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровское опустело, и все вошло в обыкновенный порядок.

Глава XII

Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирила Петрович ежедневно выезжал на охоту; чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кириловну – особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась, с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он, с своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности и тем успокаивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостью предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или незапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце.

Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кириловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепьяно, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, перервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкой записку. Марья Кириловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кириловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее:

«Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить».

Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном: каким образом примет она признание учителя, с аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы, с веселыми шутками или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смеркалось, подали свечи, Кирила Петрович сел играть в бостон с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого, и Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад.

Ночь была темна, небо покрыто тучами – в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кириловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки; тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже перед нею.

– Благодарю вас, – сказал он ей тихим и печальным голосом, – что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы на то не согласились.

Марья Кириловна отвечала заготовленной фразой:

– Надеюсь, что вы не заставите меня раскаться в моей снисходительности.

Он молчал и, казалось, собирался с духом.

– Обстоятельства требуют... я должен вас оставить, – сказал он наконец, – вы скоро, может быть, услышите... Но перед разлукой я должен с вами сам объясниться...

Марья Кириловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.

– Я не то, что вы предполагаете, – продолжал он, потупя голову, – я не француз Дефорж, я Дубровский.

Марья Кириловна вскрикнула.

– Не бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться – ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству – в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни... Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня... сей же час... Но прежде я должен был вам открыться, чтоб вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда...

Тут раздался легкий свист – и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился.

– Простите, – сказал Дубровский, – меня зовут, минута может погубить меня. – Он отошел. Марья Кириловна стояла неподвижно, Дубровский воротился и снова взял ее руку.

– Если когда-нибудь, – сказал он ей нежным и трогательным голосом, – если когда-нибудь несчастье вас постигнет и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего – для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?

Марья Кириловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.

– Вы меня губите! – закричал Дубровский. – Я не оставляю вас, пока не дадите мне ответа – обещаетесь ли вы или нет?

– Обещаюсь, – прошептала бедная красавица. Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кириловна возвращалась из сада. Ей показалось, что все люди разбежались, дом был в движении, на дворе было много народа, у крыльца стояла тройка, издали услышала она голос Кирила Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие ее не было замечено. В зале встретил ее Кирила Петрович, гости окружали исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым.

– Где ты была, Маша, – спросил Кирила Петрович, – не встретила ли ты м-г Дефоржа? – Маша насилу могла отвечать отрицательно.

– Вообрази, – продолжал Кирила Петрович, – исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский.

– Все приметы, ваше превосходительство, – сказал почтительно исправник.

– Эх, братец, – прервал Кирила Петрович, – убирайся, знаешь куда, со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, покамест сам не разберу дела. Как можно верить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и лгуну: ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?

– Француз застрашал его, ваше превосходительство, – отвечал исправник, – и взял с него клятву молчать...

– Вранье, – решил Кирила Петрович, – сейчас я все выведу на чистую воду. – Где же учитель? – спросил он у вошедшего слуги.

– Нигде не найдут-с, – отвечал слуга.

– Так сыскать его, – закричал Троекуров, начинающий сомневаться. – Покажи мне твои хваленые приметы, – сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу. – Гм, гм, двадцать три года... Оно так, да это еще ничего не доказывает. Что же учитель?

– Не найдут-с, – был опять ответ. Кирила Петрович начинал беспокоиться, Марья Кириловна была ни жива ни мертва.

– Ты бледна, Маша, – заметил ей отец, – тебя перепугали.

– Нет, папенька, – отвечала Маша, – у меня голова болит.

– Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся. – Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату, там она бросилась на постелю и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели ее, насилу-насилу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами, ее уложили, и она впала в усыпление.

Между тем француза не находили. Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывая «Гром победы раздавайся». Гости шептались между собою, исправник казался в дураках, француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, был предупрежден. Но кем и как? это оставалось тайною.

Било одиннадцать, и никто не думал о сне. Наконец Кирила Петрович сказал сердито исправнику:

– Ну что? ведь не до свету же тебе здесь оставаться, дом мой не харчевня, не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка восвояси да вперед будь расторопнее. Да и вам пора домой, – продолжал он, обратясь к гостям. – Велите закладывать, а я хочу спать.

Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями!

Глава XIII

Прошло несколько времени без всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирила Петровича.

В 30-ти верстах от него находилось богатое поместье князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях, всем имением его управлял отставной майор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которой отроду еще не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком.

Князю было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старше. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то, наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал. Кирила Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет; он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере и спешил выйти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стриженными липами, четверугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился; он любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался; слуга пришел доложить, что кушание поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки, и уже раскаиваясь в своем посещении.

Но в зале встретила их Марья Кириловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Троекуров посадил гостя подле ее. Князь был оживлен ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru рассказами. После обеда Кирила Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя над своею подагрой, он предпочел прогулку в линейке, с тем чтоб не разлучаться с милою своею соседкою. Линейку заложили. Старики и красавица сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кириловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека, как вдруг Верейский, обратясь к Кирилу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение и ему ли оно принадлежит?.. Кирила Петрович нахмурился; воспоминания, возбуждаемые в нем погорелой усадьбою, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому.

- Дубровскому, – повторил Верейский, – как, этому славному разбойнику?
- Отцу его, – отвечал Троекуров, – да и отец-то был порядочный разбойник.
- Куда же девался наш Ринальдо? жив ли он, схвачен ли он?
- И жив и на воле, и покамест у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман; кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове?
- Да, прошлого году он, кажется, что-то сжег или разграбил... Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?

– Чего любопытно! – сказал Троекуров, – она знакома с ним: он целые три недели учил ее музыке, да слава богу не взял ничего за уроки. – Тут Кирила Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Марья Кириловна сидела как на иголках, Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменял разговор. Возвратясь, он велел подавать свою карету и, несмотря на усиленные просьбы Кирила Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирила Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кириловной – и гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды и 3000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным.

Два дня спустя после сего посещения Кирила Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому. Подъезжая к Арбатову, он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом расстилался густо-зеленый луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Просторный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца и подал руку молодой красавице. Они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт на три прибора. Князь подвел гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбацьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галереи картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марье Кириловне их различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки. Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кириловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливость винам своего Амфитриона и искусству его повара, а Марья Кириловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз отроду. После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофей в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздались духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов, посещали некоторые из них, на одном находили мраморную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Кириловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомолвками князя; время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой; самовар их ожидал. Князь просил Марью Кириловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые рассказы любезного говоруна; вдруг раздался выстрел, и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кириловне шаль и позвал ее и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали и снова вспыхивали. Марья Кириловна веселилась как дитя. Князь Верейский радовался ее восхищению, а Троекуров был

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
чрезвычайно им доволен, ибо принимал tous les frais[14] князя как знаки уважения и желания ему угодить.

Ужин в своем достоинстве ничего не уступал обеду. Гости отправились в комнаты, для них отведенные, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться.

Глава XIV

Марья Кириловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах, перед открытым окошком. Она не путалась шелками, подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника, несмотря на то ее мысли не следовали за работой, они были далеко.

Вдруг в окошко тихонько протянулась рука, кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кириловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кирилу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет.

Кирила Петрович был не один. Князь Верецкий сидел у него. При появлении Марьи Кириловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным.

– Подойди сюда, Маша, – сказал Кирила Петрович, – скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает.

Маша остолбенела, смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил: согласна ли она сделать его счастье. Маша молчала.

– Согласна, конечно, согласна, – сказал Кирила Петрович, – но знаешь, князь: девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы.

Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловал ее руку, вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился.

– Пошла, пошла, пошла, – сказал Кирила Петрович, – осуши свои слезы и воротись к нам веселешенька. Они все плачут при помолвке, – продолжал он, обратясь к Верецкому, – это у них уж так заведено... Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом.

Марья Кириловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя; он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным... брак пугал ее как плаха, как могила... «Нет, нет, – повторяла она в отчаянии, – лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им и заключало только следующие слова:

«Вечером в 10 час. на прежнем месте».

Глава XV

Луна сияла, июльская ночь была тиха, изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду.

Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею.

– Я все знаю, – сказал он ей тихим и печальным голосом. – Вспомните ваше обещание.

– Вы предлагаете мне свое покровительство, – отвечала Маша, – но не сердитесь: оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помощь?

– Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.

– Ради бога, не трогайте его, не смейте его тронуть, если вы меня любите – я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса...

– Я не трону его, воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца?

– Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит.

– Не надейтесь по-пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета; что, если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вас самих; если насильно повезут вас под венец, чтоб навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа?..

– Тогда, тогда делать нечего, явитесь за мною – я буду вашей женою.

Дубровский затрепетал, бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову.

– Соберитесь с всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к его ногам, представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика, решитесь на жестокое объяснение: скажите, что если он останется неумолим, то... то вы найдете ужасную защиту... скажите, что богатство не доставит вам ни одной минуты счастья; роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение; не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень надежды, ради бога, не отставайте. Если ж не будет уже другого средства...

Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задышался – Маша плакала...

– Бедная, бедная моя участь, – сказал он, горько вздохнув. – За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу и сказать: ангел, умрем! бедный, я должен остерегаться от блаженства, я должен отдалять его всеми силами... Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную незаслуженную награду. О, как должен я ненавидеть того... но чувствую, теперь в сердце моем нет места ненависти.

Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали.

Время летело. «Пора», – сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо.

– Если решитесь прибегнуть ко мне, – сказал он, – то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба, я буду знать, что делать.

Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями.

Глава XVI

Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства – Кирила Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием.

Но время шло. Маша наконец решилась действовать и написала письмо князю Верейскому; она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому, тот прочел его наедине и нимало не был тронут откровенностью своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю.

Кирила Петрович взбесился; насилу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомен о ее письме. Кирила Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей,

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность, что мысль ее лишиться слишком для него тяжела и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. За сим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирила Петровича.

Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кириловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца.

– Папенька, – закричала она жалобным голосом, – папенька, не губите меня, я не люблю князя, я не хочу быть его женою...

– Это что значит, – сказал грозно Кирила Петрович, – до сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отречься. Не изволь дурачиться; этим со мною ты ничего не выиграешь.

– Не губите меня, – повторяла бедная Маша, – за что гоните меня от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому, разве я вам надоела, я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно, еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива, папенька: не принуждайте меня, я не хочу идти замуж...

Кирила Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и, оттолкнув ее, сказал сурово:

– Все это вздор, слышишь ли. Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастья. Слезы тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба.

– Послезавтра! – вскрикнула Маша. – Боже мой! Нет, нет, невозможно, этому не быть. Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете, вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели.

– Что? что? – сказал Троекуров, – угрозы! мне угрозы, дерзкая девчонка! Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не воображаешь. Ты смеешь меня стращать защитником. Посмотрим, кто будет этот защитник.

– Владимир Дубровский, – отвечала Маша в отчаянии.

Кирила Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением.

– Добро, – сказал он ей после некоторого молчания, – жди себе кого хочешь в избавители, а покамест седи в этой комнате, ты из нее не выйдешь до самой свадьбы. – С этим словом Кирила Петрович вышел и запер за собою двери.

Долго плакала бедная девушка, воображая все, что ожидало ее, но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее: избавиться от ненавистного брака; участь супруги разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду близ беседки; она решилась пойти ожидать его там, как только станет смеркаться. Смерклось. Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирила Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная, она села под окошко и до глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили ее.

Глава XVII

Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопросы ее отвечала, что Кирила Петрович вечером ездил в Арбатове и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтоб никто с нею не говорил, что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кириловну и снова заперла двери.

Ее слова ожесточили молодую затворницу – голова ее кипела, кровь волновалась, она решила дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба; в это время камушек ударился в окно ее, стекло зазвенело – и Марья Кириловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно.

– Здравствуй, Саша, – сказала она, – зачем ты меня зовешь?

– Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас все сделаю.

– Спасибо, милый мой Сашенька, слушай: ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?

– Знаю, сестрица.

– Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей и положи в дупло вот это кольцо, да смотри же, чтоб никто тебя не видал.

С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко.

Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать – и в три минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марье Кириловне, как вдруг рыжий и косой, оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками.

– Что ты здесь делаешь? – сказал он грозно.

– Тебе како дело? – отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться.

– Оставь это кольцо, рыжий заяц, – кричал Саша, – или я проучу тебя по-свойски.

Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во все горло: «Воры, воры – сюда, сюда...»

Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по-видимому, двумя годами старше Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу наземь и схватил его за горло.

Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие и щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на пол-аршина от земли...

– Ах ты, рыжая бестия, – говорил садовник, – да как ты смеешь бить маленького барина...

Саша успел вскочить и оправиться.

– Ты меня схватил под силки, – сказал он, – а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо и убирайся.

– Как не так, – отвечал рыжий и, вдруг перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Степановой. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног, садовник снова его схватил и связал кушаком.

– Отдай кольцо! – кричал Саша.

– Погоди, барин, – сказал Степан, – мы сведем его на расправу к приказчику.

Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кирилом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню.

– Это что? – спросил он Степана.

Степан в коротких словах описал все происшествие. Кирила Петрович выслушал его со вниманием.

– Ты, повеса, – сказал он, обратясь к Саше, – за что ты с ним связался?

– Он украл из дупла кольцо, папенька, прикажите отдать кольцо.

– Какое кольцо, из какого дупла?

– Да мне Марья Кириловна... да то кольцо...

Саша смутился, спутался. Кирила Петрович нахмурился и сказал, качая головой:

– Тут замешалась Марья Кириловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгой, что ты и своих не узнаешь.

– Ей-богу, папенька, я, папенька... Мне Марья Кириловна ничего не приказывала, папенька.

– Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую, свежую березовую розгу...

– Пойдите, папенька, я все вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кириловна открыла окошко, и я подбежал, и сестрица не нарочно уронила кольцо, и я спрятал его в дупло, и... и... этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть.

– Не нарочно уронила, а ты хотел спрятать... Степан, ступай за розгами.

– Папенька, погодите, я все расскажу. Сестрица Марья Кириловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло, я и сбегал и положил кольцо, а этот скверный мальчик...

Кирила Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно: «Чей ты?»

– Я дворовый человек господ Дубровских, – отвечал рыжий мальчик.

Лицо Кирила Петровича омрачилось.

– Ты, кажется, меня господином не признаешь, добро, – отвечал он. – А что ты делал в моем саду?

– Малину крал, – отвечал мальчик с большим равнодушием.

– Ага, слуга в барина, каков поп, таков и приход, а малина разве растет у меня на дубах?

Мальчик ничего не отвечал.

– Папенька, прикажите ему отдать кольцо, – сказал Саша.

– Молчи, Александр, – отвечал Кирила Петрович, – не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комнату. Ты, косой, ты мне кажешься малый не промах. Отдай кольцо и ступай домой.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

– Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку, дам еще пятак на орехи. Не то я с тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну!

Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.

– Добро, – сказал Кирила Петрович, – запереть его куда-нибудь да смотреть, чтоб он не убежал, или со всего дома шкуру спущу.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафию.

– Сейчас ехать в город за исправником, – сказал Кирила Петрович, проводив мальчика глазами, – да как можно скорее.

«Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношения с проклятым Дубровским. Но ужели и в самом деле она звала его на помощь? – думал Кирила Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая «Гром победы». – Может быть, я наконец нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы воспользуемся этим случаем. Чу! колокольчик, слава богу, это исправник».

– Гей, привести сюда мальчишку пойманного.

Между тем тележка въехала на двор, и знакомый уже нам исправник вошел в комнату весь запыленный.

– Славная весть, – сказал ему Кирила Петрович, – я поймал Дубровского.

– Слава богу, ваше превосходительство, – сказал исправник с видом обрадованным, – где же он?

– То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. Вот его и привели.

Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика, довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кирилу Петровичу и ждал объяснения. Кирила Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая, однако ж, о Марье Кириловне.

Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на все, что делалось около него.

– Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине, – сказал наконец исправник.

Кирила Петрович повел его в другую комнату и запер за собою дверь.

Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи.

– Барин хотел, – сказал ему исправник, – посадить тебя в городской острог, выстегать плетьюми и сослать потом на поселение, но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение. Развязать его.

Мальчика развязали.

– Благодарите же барина, – сказал исправник.

Мальчик подошел к Кирилу Петровичу и поцеловал у него руку.

– Ступай себе домой, – сказал ему Кирила Петрович, – да вперед не крадь малины по дуплам.

Мальчик вышел, весело прыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избышки, первой с края, и постучал в окошко; окошко поднялось, и старуха показалась.

– Бабушка, хлеба, – сказал мальчик, – я с утра ничего не ел, умираю с голоду.

– Ах, это ты, Митя, да где ж ты пропадал, бесенок, – отвечала старуха.

– После расскажу, бабушка, ради бога хлеба.

– Да войди ж в избу.

– Некогда, бабушка, мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба, ради Христа,

– Экой непосед, – проворчала старуха, – на, вот тебе ломотик, – и сунула в окошко ломоть черного хлеба. Мальчик жадно его прикусил и, жуя, мигом отправился далее.

Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедши до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать; легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ, кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.

Глава XVIII

Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню; весь дом был в движении, слуги бегали, девки суетились, в сарае кучера закладывали карету, на дворе толпился народ. В уборной барышни, перед зеркалом, дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кириловну, голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов, она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало.

– Скоро ли? – раздался у дверей голос Кирила Петровича.

– Сию минуту, – отвечала дама. – Марья Кириловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли?

Марья Кириловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились.

– Невеста готова, – сказала дама Кирилу Петровичу, – прикажите садиться в карету.

– С богом, – отвечал Кирила Петрович и, взяв со стола образ, – подойди ко мне, Маша, – сказал он ей тронутым голосом, – благословляю тебя... – Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала.

– Папенька... папенька... – говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирила Петрович спешил ее благословить, ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженная мать и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь; за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кириловна ничего не видала, ничего не слышала, думала об одном, с самого утра она ждала Дубровского, надежда ни на минуту ее не покидала, но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала; священник, не дождавись ее ответа, произнес невозвратимые слова.

Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прителет освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обежал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатове; туда уже отправился Кирила Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женой князь нимало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами, слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом проехали они около десяти верст, лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздался крик погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны, выходите». – «Что это значит, – закричал князь, – кто ты такой?..» – «Это Дубровский», – сказала княгиня. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить, дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
– Не трогать его! – закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили.

– Вы свободны, – продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине.

– Нет, – отвечала она. – Поздно – я обвенчана, я жена князя Верейского.

– Что вы говорите, – закричал с отчаяния Дубровский, – нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться...

– Я согласилась, я дала клятву, – возразила она с твердостью, – князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты... Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас.

Но Дубровский уже ее не слышал, боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставляя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атамана.

Глава XIX

Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коими находилось несколько шалашей и землянок.

На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги; он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкою с искусством, обличающим опытного портного, и поминутно посматривал во все стороны.

Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало в сей толпе; разбойники отобедали, один после другого вставал и молился богу, некоторые разошлись по шалашам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть по русскому обыкновению.

Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколот к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел во все горло меланхолическую старую песню:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне, молодцу, думу думати.

В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показалась у порога. «Полно тебе, Степка, – сказала она сердито, – барин почивает, а ты знай горланишь; нет у вас ни совести, ни жалости». – «Виноват, Егоровна, – отвечал Степка, – ладно, больше не буду, пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает». Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу.

В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкою, раненый Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабля висела в головах. Землянка устлана и обвешана была богатыми коврами, в углу находился женский серебряный туалет и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он или только задумался.

Вдруг Дубровский вздрогнул: в укреплении сделалась тревога, и Степка просунул к нему голову в окошко. «Батюшка, Владимир Андреевич, – закричал он, – наши знак подают, нас ищут». Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе; при его появлении настало глубокое молчание. «Все ли здесь?» – спросил Дубровский. «Все, кроме дозорных», – отвечали ему. «По местам!» – закричал Дубровский. И разбойники заняли каждый определенное место. В сие время трое дозорных прибежали к воротам. Дубровский пошел к ним навстречу. «Что такое?» – спросил он их. «Солдаты в лесу, – отвечали они, – нас окружают». Дубровский велел запереть ворота и сам пошел освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов и стали приближаться; разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
показались из лесу и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам. «Готовиться к бою», – сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох, снова все утихло. Тогда услышали шум приближающейся команды, оружия блеснули между деревьями, человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль, выстрел был удачен: одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед, солдаты за ним последовали и сбежали в ров; разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты, оставя во рву человек двадцать раненых товарищей. Рукопашный бой завязался, солдаты уже были на валу, разбойники начали уступать, но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет ко груди и выстрелил, офицер грянулся навзничь, несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес, прочие, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сей минутою недоумения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие побежали, разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости, приказав подобрать раненых, удвоив караулы и никому не велел отлучаться.

Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после[15] он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни. «Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло». После сей речи он оставил их, взяв с собою одного **. Никто не знал, куда он девался. Сначала сомневались в истине сих показаний: приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении. Но последствия их оправдали; грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.

М. И. Цветаева
Пушкин и Пугачев

Московский Кремль. Художник К. Рабус (середина XIX века). С гравюры П. Пикарта (около 1707 года).

И
Есть магические слова, магические вне смысла, одним уже звучанием своим – физически-магические, – слова, которые до того, как сказали, – уже значат, слова – самознаки и самосмыслы, не нуждающиеся в разуме, а только в слухе, слова звериного, детского, сновиденного языка.

Возможно, что они в жизни у каждого – свои.

Таким словом в моей жизни было и осталось – Вожатый.

Если бы меня, семилетнюю, среди седьмого сна, спросили: – Как называется та вещь, где Савельич, и поручик Гринев, и царица Екатерина Вторая? – я бы сразу ответила: – Вожатый. И сейчас вся «Капитанская дочка» для меня есть – то и называется – так. Странно, что я в детстве, да и в жизни, такая несообразительная, недогадливая, которую так легко можно было обмануть, здесь сразу догадалась, как только среди мутного кручения метели что-то зачернелось – сразу насторожилась, зная, зная, зная, что не «пень иль волк», а то самое.

И когда незнакомый предмет стал к нам подвигаться и через две минуты стал человеком – я уже знала, что это не «добрый человек», как назвал его ямщик, а лихой человек, страх-человек, тот человек.

Незнакомый предмет был – весьма знакомый предмет.

Вожатого я ждала всю жизнь, всю свою огромную семилетнюю жизнь.

Это было то, что ждет нас на каждом повороте дороги и коридора, из-за каждого куста леса и каждого угла улицы – чудо, в которое ребенок и поэт попадают как домой, то единственное «домой», нам данное и за которое мы отдаем – все родные дома!

И когда знаемый из всех русских и нерусских сказок и самой *Marchen unseres Lebens und Wesens*[16] незнакомый предмет вдобавок еще оказался Вожа-атым, дело было сделано: душа была взята: отдана.

О, я сразу в Вожатого влюбилась, с той минуты сна, когда самозванный отец, то есть чернородый мужик, оказавшийся на постели вместо гриневского отца, поглядел на меня веселыми глазами. И когда мужик, выхватив топор, стал махать им вправо и влево, я знала, что я, то есть Гринев, уцелеем, и если боялась, то именно как во сне, услаждаясь безнаказанностью страха, возможностью весь страх, безнаказанно, до самого дна, пройти. (Так во сне нарочно замедляешь шаг, дразня убийцу, зная, что в последнюю секунду – полетишь.) И когда страшный мужик ласково стал меня кликать, говоря: – Не бойсь! Подойди под мое благословение! – я уже под этим благословением – стояла, изо всех своих немалых детских сил под него Гринева – толкала: – Да иди же, иди, иди! Люби! Люби! – и готова была горько плакать, что Гринев не понимает (Гринев вообще не из понимающих) – что мужик его любит, всех рубит, а его любит, как если бы волк вдруг стал сам давать тебе лапу, а ты бы этой лапы – не принял.

А Вожатого – поговорки! Круглая как горох самотканая окольная речь наливного яблочка по серебряному блюдечку – только покрупнее! Поговорки, в которых я ничего не понимала и понять не пыталась, кроме того, что он говорит – о другом: самом важном. Это была первая в моей жизни иносказательная речь (и последняя, мне сужденная!) – о том самом – другими словами, этими словами – о другом, та речь, о которой я, двадцать лет спустя:

Поэт – издали заводит речь.
Поэза – далеко заводит речь...
– как далеко завела – Вожатого.

Нужно сказать, что даже при втором, третьем, сотом чтении, когда я уже наизусть знала все, что будет – и как все будет, я неизменно непрерывно разрывалась от страха, что вдруг Гринев – Вожатому – вместо чая водки не даст, заячьего тулупа не даст, послушает дурака Савельича, а не себя, не меня. И, боже, какое облегчение, когда тулуп наконец уже который раз треснул на Вожатовых плечах!

(Есть книги настолько живые, что все боишься, что, пока не читал, она уже изменилась, как река – сменилась, пока жил – тоже жила, как река – шла и ушла. Никто дважды не вступал в ту же реку. А вступал ли кто дважды в ту же книгу?)

...Потом, как известно, Вожатый пропадает – так подземная река уходит под землю. А с ним пропал и мой интерес. Читала я честно, ни строки не пропуская, но глазами читала, на мысленный глаз прикидывая, сколько мне еще осталось печатных верст пройти – вез Вожатого (как – в том же детстве, на больших прогулках – вез воды) – в совершенно для меня ненужном обществе коменданта, Василисы Егоровны, Швабрина, и не только не нужном, а презренном – Марьи Ивановны, той самой дуры Маши, которая падает в обморок, когда палят из пушки, и о которой только и слышишь, что она «чрезвычайно бледна».

Странно, что даже дуэль меня не мирила с отсутствием Вожатого, что даже любовное объяснение Гринева с Машей ни на секунду не затмевало во мне черной бороды и черных глаз. В их любви я не участвовала, вся моя любовь была – к тому, и весь их роман сводился к моему негодованию: – Как может Гринев любить Марию Ивановну, а Мария Ивановна – Гринева, когда есть – Пугачев?

И суровое письмо отца Гринева, запрещающее сыну жениться, не только меня не огорчало, но радовало: вот теперь уедет от нее и опять по дороге встретит – Вожатого и уж никогда с ним не расстанется и (хотя я знала продолжение и конец) умрет с ним на лобном месте. А Маша выйдет за Швабрина – и так ей и надо.

В моей «Капитанской дочке» не было капитанской дочки, до того не было, что и сейчас я произношу это название механически, как бы в одно слово, без всякого капитана и без всякой дочки. Говорю: «Капитанская дочка», а думаю: «Пугачев».

Вся «Капитанская дочка» для меня сводилась и сводится к очным встречам Гринева с Пугачевым: в метель с Вожатым (потом пропадающим) – во сне с мужиком – с Самозванцем на крыльце комендантского дома – но тут – остановка:

«Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку».

Подсказывала ли я и тут (как в том страшном сне) Гриневу поцеловать Пугачеву руку?

К чести своей скажу – нет. Ибо Пугачев, я это понимала, в ту минуту был – власть, нет, больше – насилие, нет, больше – жизнь и смерть, и так поцеловать руку я при всей своей любви не смогла бы. Из-за всей своей любви. Именно любовь к нему приказывала мне в его силе и славе и зверстве руки не целовать – оставить поцелуй для другой площади. Кроме того: раз все вокруг шепчут: целуй руку! целуй руку! – ясно, что я руку целовать не должна. Я такому круговому шепоту отродясь цену знала. Так что и Иван Кузьмич, и Иван Игнатьевич, и все мы, не присягнувшие и некоторые повисшие, оказались – правы.

Но – негодовала ли я на Пугачева, ненавидела ли я его за их казни? Нет. Нет, потому что он должен был их казнить – потому что был волк и вор. Нет, потому что он их казнил, а Гринева, не поцеловавшего руки, помиловал, а помиловал – за заячий тулуп. То есть – долг платежом красен. Благодарность. Благодарность злодея. (Что Пугачев – злодей, я не сомневалась ни секунды и знала уже, когда он был еще только незнакомый черный предмет.) Об этом, а не ином, сказано в Евангелии: в небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, нежели о десяти несогрешивших праведниках. Одно из самых соблазнительных, самых роковых для добра слов из Христовых уст.

Но есть еще одно. Пришедши к Пугачеву непосредственно из сказок Гримма, Полевого, Перро, я, как всякий ребенок, к зверствам – привыкла. Разве дети ненавидят Людоеда за то, что хотел отсечь мальчишкам головы? Нет, они его только боятся. Разве дети ненавидят Верлиоку? Змея-Горыныча? Бабу-Ягу, с ее живым тыном из мертвых голов? Все это – чистая стихия страха, без которой сказка не сказка и услада не услада. Для ребенка, в сказке, должно быть зло. Таким необходимым сказочным злом и являются в детстве (и в недетстве) злодейства Пугачева.

Ненавидит ребенок только измену, предательство, нарушенное обещание, разбитый договор. Ибо ребенок, как никто, верен слову и верит в слово. Обещал, а не сделал, целовал, а предал. За что же мне было ненавидеть моего Вожатого? Пугачев никому не обещал быть хорошим, наоборот – не обещав, обратное обещав, хорошим – оказался. Это была моя первая встреча со злом, и оно оказалось – добром. После этого оно у меня всегда было на подозрении добра.

«Вожатый» во мне рифмовал с «жар». Пугачев – с «черт» и еще с чумаками, про которых я одновременно читала в сказках Полевого. Чумаки оказались бесами, их червонцы – горящими угольями, прожегшими свитку и, кажется, сжегшими и хату. Но зато у другого мужика, хорошего, в чугуне вместо кострового жару оказались червонцы. Все это – костровый жар, червонцы, кумач, чумак – сливалось в одно грозное слово: Пугач, в одно томное видение: Вожатый.

Но прежде, чем перейти к последующим встречам Гринева с Пугачевым: – я в Пугачеве на крыльце комендантского дома с первого чтения Вожатого – узнала. Как мог не узнать его Гринева? И если действительно не узнал, как мне было не отнестись к нему с высокомерием? Как можно было – после того сна – те черные веселые глаза – забыть?

«Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожками и блистающими глазами. Между ними не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранных изменников».

Значит – были только свои, и в круг своих позвал Пугачев Гринева, своим его почувствовал. Желание пополнить в свои ряды? Расчет? Нет. Перебежчиков у него и так много было, и были среди них и поценнее ничем не замечательного дворянского сына Гринева. Значит – что? Влечение сердца. Черный, полюбивший беленького. Волк

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru – нет ли такой сказки? – полюбивший ягненка. Этот полюбил ягненка – несъеденного, может быть, и за то, что его не съел, как мы, злодеи и не-злодеи, часто привязываемся за наше собственное добро к человеку. Благодарность за заячий тулуп уже была исчерпана – дарованием жизни. Это приглашение за стол уже было чистое влечение сердца, любовь во всей ее чистоте. Пугачев Гринева в свои ряды звал, потому что тот ему по сердцу пришелся, чтобы ввек не расставаться, чтобы («фельдмаршалом тебя поставлю») еще раз одарить: сначала – жизнь, потом – власть. И нетерпеливая нетерпимая прямота его вопросов Гриневу и мрачное ожидание гриневского ответа («Пугачев мрачно молчал») вызваны не сомнением в содержании этого ответа, а именно его несомненностью: безнадежностью. Пугачев знал, что Гринева, под страхом смерти не поцеловавший ему руки, ему служить – не может. Знал еще, что, если бы мог, он, Пугачев, его, Гринева, так бы не любил. Что именно за эту невозможность его так и любит. Здесь во всей полноте звучит бессмертное анненское слово: «Но люблю я одно – невозможно». (Мало у Пугачева было добрых молодцев, парней – ничуть не хуже Гринева. Нет, ему нужен был именно этот – чужой. Мечтанный. Невозможный. Неможный.) Вся эта сцена – только последняя проверка – для последней очистки души – от надежды.

Будем внимательны к самому концу этого бессмертного диалога:

« – Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую в фельдмаршалы и в Потемкины (князя). Как ты думаешь?»

– Нет, – отвечал я с твердостью. – Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра – так отпусти меня в Оренбург».

Значит – Гринева поверил. В полное бескорыстие Пугачева, в чистоту его сердечного влечения. «Пугачев задумался.

– А коли отпущу, – сказал он, – так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»

Этот вопрос – его последняя ставка, последний сдаваемый им фронт (сдал – все).

« – Как могу тебе в этом обещаться? – отвечал я. – Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя – пойду, делать нечего...»

Что в этом ответе? Долг. Неволя, а не воля.

Эта сцена – поединок великодуший, соревнование в величии.

Очная ставка, внутри Пугачева, самовласть с собственным влечением сердца.

Очная ставка, внутри Гринева, влечения человеческого с долгом воинским.

Очная ставка Долга – и Бунта, Присяги – и Разбоя, и – гениальный контраст: в Пугачеве, разбойнике, одолевает человек, в Гринева, ребенке, одолевает воин.

Пугачев съел обиду, пересилив все, Гринева понял, и не только на волю, но изнутри своей волчьей любви – отпустил:

– Ступай себе на все четыре стороны и делай, что хочешь.

(Читай: что должен.)

Но – все уже отдав, последним оборотом любви:

– Завтра приходи со мной проститься.

Так любящие:

– В последний раз!

Все бессмертные диалоги Достоевского я отдам за простодушный незнаменитый гимназический хрестоматический диалог Пугачева с Гриневым, весь (как весь Пугачев и весь Пушкин) идущий под эпиграфом:

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю...
В «Пире во время Чумы» Пушкин нам это – сказал, в «Капитанской дочке» Пушкин нам
это – сделал.

* * *

Гринева Пугачеву нужен ни для чего: для души. Так цыгане любят белых детей. Так русский царь любил арапа Ибрагима. Так Николай I не полюбил Пушкина.

Есть в этом диалоге жутко автобиографический элемент:

Пугачев – Гринева:

– А коли отпущу, так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?

– Как могу тебе в этом обещаться?

Николай I – Пушкину:

– Где бы ты был 14-го декабря, если бы был в городе?

– На Сенатской площади, Ваше величество!

Та же интонация страстной и опасной правды: хождения бездны на краю. В ответах Гринева мы непрерывно слышим эту интонацию, если не всегда в кабинете монарха звучавшую, то всегда звучавшую – внутри Пушкина и уж во всяком случае – на полях его тетрадей.

Только Гринева было тяжелее сказать и сделать: от Пугачева – отказаться. Гринева Пугачеву был благодарен – и было за что. Пугачевым Гринева с первой встречи очарован – и было чем. Ответ Гринева – долг: отказ от любимого.

Пушкин Николаю ничем не был обязан, и Пушкин в Николае ничем не был очарован: не было – чем. Ответ Пушкина Николаю – чистейший восторг: отместка нелюбимому.

И, продолжая параллель:

Самозванец – врага – за правду – отпустил.

Самодержец – поэта – за правду – приковал.

* * *

Пугачев Гринева с первой минуты благодетель. Ибо если Пугачев в благодарность за заячий тулуп дарует ему жизнь и отпускает на волю, то сам-то гриневский тулуп – благодарность Пугачеву за то, что на дорогу вывел. Пугачев первый сделал Гринева добро.

Вся встреча Гринева с Пугачевым между этими двумя жестами: сначала на дорогу вывел, а потом и на все четыре стороны отпустил.

– Вожатый!

* * *

Но помимо благодарности Гринева – Пугачеву, помимо пугачевской благодарности и благородства, Пугачев к Гринева одержим отцовской любовью: любовью к невозможному для него сыну: верному долгу и роду – «беленькому». (Недаром, недаром тот первый вещий сон Гринева о подменном отце, сон, разом дающий и пугачевскую мечту об отцовстве всея России и пугачевскую мечту о Гринева – сыне.)

Любовь Пугачева к Гринева – отблеск далекой любви Саула к Давиду, тоже при наличии кровного сына, любовь к сыну по избранию, сыну – души моей... Ибо после дарования жизни уже дары: простые, несчетные дары любви. Пугачев на дары Гринева ненасытен: и фельдмаршалом тебя поставлю, и в Потемкины (князь) произведу, и

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru посаженным отцом сяду, и овчинный тулуп со своего плеча – взамен того заячьего, и коня, и потерянную тем урядником полтину в дорогу дарит, и в дорожную кибитку с собой сажает, и даже дядьке Савельичу позволяет сесть на облучок (за что, скажем в скобках, тот желает ему сто лет здравствовать и обещает век за него бога молить...), и Марию Ивановну из темницы выручает, простив Гриневу его невинный любовный обман... Но здесь – остановка.

Когда уличенный во лжи Гринева признается, что Мария Ивановна не племянница попа, а дочь убитого Пугачевым коменданта: « – Ты мне этого не сказал, – заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось». Почему (омрачилось)? Да не потому, конечно, что Мария Ивановна дочь того, а не племянница другого, а потому, что Гринева ему солгал, себя, в его глазах, ложью уронил, и – главное, может быть, – ему, Пугачеву, не доверился. Но и это сходит – как сходило все и что не сошло бы! – и Пугачев просится к Гриневу в посаженные отцы. И – возобновляем перечень даров – рука дающего да не оскудеет: просится к Гриневу в посаженные отцы, и выдает ему пропуск во все заставы и крепости, ему подвластные, и, простившись с ним на людях, еще раз высовывается к нему из кибитки: – Прощай, ваше благородие! – и последний дар любви на последней странице повести:

«Из семейных преданий известно, что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу».

Больше ему подарить Гриневу было – нечего.

* * *

Что это все? Как все это называется? Любовь. Но, слава богу, на этот раз любовь была не к недостойному. Ибо и дворянский сын Гринева Пугачева – любил. Любил – сначала дворянской благодарностью, чувством, не менее сильным в дворянине, чем дворянская честь. Любил сначала благодаря, а потом уже вопреки: всей обратностью своего рождения, воспитания, среды, судьбы, дороги, планиды, сути. С первой минуты сна, когда страшный мужик, нарубив полную избу тел, ласково стал его кликать: – Не бойсь, подойди под мое благословение, – сквозь все злодейства и самочинства, сквозь все и несмотря на все – любил.

Между Пугачевым и Гриневым – любовный заговор. Пугачев, на людях, постоянно Гриневу подмигивает: ты, мол, знаешь. И я, мол, знаю. Мы оба знаем. Что? В мире вещественном – бедное слово: тулуп, в мире существенном – другое бедное слово: любовь.

Вот его, Гринева, собственные, Пугачеву, слова на прощание:

« – Слушай, – продолжал я, видя его доброе расположение. – Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнью моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал... Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...»

Это – еще, пока, благодарность.

Но вот другое, Гринева, высказывание:

«Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти ему голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце».

Благодарность? Нет. Так благодарность – не жет.

И – третье:

«Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: – Емеля! Емеля! – думал я с досадою, – зачем не наткнулся ты на

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
штык или не подвернулся под картечь? Лучшего ничего не мог бы ты придумать».

И слова Гринева о капитанской дочке Маше: «Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить» – куда более относятся к Пугачеву, отца этой капитанской дочки на его, Гринева, глазах вздернувшему на виселицу.

Но не только те чудные обстоятельства, не только благодарность, не только влечение к своему обратному – все это еще не дает и не создает любви.

Есть одно слово, которое Пушкин за всю повесть ни разу не назвал и которое одно объясняет – все.

Чара.

Пушкин Пугачевым зачарован. Ибо, конечно, Пушкин, а не Гринева, за тем застольным пиром был охвачен «пиитическим ужасом».

Да и пиитом-то Пушкин Гринева, вопреки всякой вероятности, сделал, чтобы теснее отождествить себя с ним. Не забудем: Гринева-то и в Оренбург попал за то и потому, что до семнадцатого годочку только и делал, что голубей гонял. Не забудем еще, что в доме его отца кроме «Придворного календаря» никаких книг не было. Пушкин, правда, упоминает, что Гринева стал брать у Швабрина французские книги, но от чтения французских книг до писания собственных русских стихов – далеко. Малый, которого мы видим в начале повести, n'a pas la tête à ça[17].

С явлением на сцену Пугачева на наших глазах совершается превращение Гринева в Пушкина: вытеснение образа дворянского недоросля образом самого Пушкина. Митрофан на наших глазах превращается в Пушкина. Но помимо разницы сущности, не забудем возраст Гринева: разве может так судить и действовать шестнадцатилетний, впервые ступивший из дому и еще вчера лизавший пенки рядовой дворянский недоросль? Так (как шестнадцатилетний Гринева в этой повести) навряд ли бы мог судить и действовать шестнадцатилетний Пушкин. Ибо есть вещь, которая и гению не дается отродясь (и, может быть, гению – меньше всего), – опыт. Шестнадцатилетний Гринева судит и действует, как тридцатилетний Пушкин. Дав вначале тип, Пушкин в молниеносной постепенности дает нам личность, исключение, себя. Можно без всякого преувеличения сказать: Пушкин начал с Митрофана и кончил – собою. Он так занят Пугачевым и собой, что даже забывает *post factum* постарить Гринева, и получается, что Гринева на два года моложе своей Маши, которой – восемнадцать лет! Между Гриневым – дома и Гриневым – на военном совете – три месяца времени, а на самом деле по крайней мере десять лет роста. Объяснить этот рост появлением в жизни Гринева этой самой Маши – наивность, любовь мужей обращает в детей, но никак уж не детей в мужей. Пушкинскому Гриневу еще до полного физического роста четыре года расти и вырастать из своих мундиров! Пушкин забыл, что Гринева – ребенок. Пушкин вообще забыл Гринева, помня только одно: Пугачева и свою к нему любовь.

Есть этому преображению Гринева в Пушкина любопытное подтверждение. В первом французском переводе «Капитанской дочки» к фразе старика Гринева: «Не казнь страшна; пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею совести» – переводчиком Луи Виардо сделана пометка: «Un aïeul de Pouchkine fut condamné à mort par Pierre le Grand»[18].

Не я здесь создает автобиографичность, а сущность этого я. Не думал Пушкин, начиная повесть с условного, заемного я, что скоро это я станет действительно я, им, плотью его и кровью.

И, поняв, что Гринева – Пушкин: как Пушкину было не зачароваться Пугачевым, ему, сказавшему и возгласившему:

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы!

Есть явление, все эти явления дающее разом. Оно называется – мятеж, в котором насчитаем еще и метель, и ледоход, и землетрясение, и пожар, и столько еще, не

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
перечисленного Пушкиным! и заключенное им в двоекратном:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

Этого счастья Пушкину не было дано. Декабрьский бунт – бледнеет перед заревом Пугачева. Сенатская площадь – порядок и во имя порядка, тогда как Пушкин говорит о гибели ради гибели и ее блаженстве.

Встреча Гринева с Пугачевым – в метель, за столом, под виселицей, на лобном месте – мечтанная встреча самого Пушкина с Самозванцем.

Только – вопрос: устоял ли бы Пушкин, тем дворянским сыном будучи, как устоял дворянский сын Гринев, Пушкиным будучи, перед чарой Пугачева? Не сорвалось ли бы с его уст: – Да, государь. Твой, государь. – Ибо за дворянским сыном Гриневым – сплошной стеной – дворянские отцы Гриневы, за Пушкиным – та бездна, которой всякий поэт – на краю.

Пушкину на долю досталось три монарха: на младенчество – безумный Павел, на юность – двоеверный Александр, Пушкину на зрелый возраст достался царь-капрал. Пушкин всем отвращением от Николая I был отброшен к Пугачеву. «Капитанская дочка» – Николаю мечь и даже отместка: самой природы поэта. Из всей истории писать именно историю пугачевского бунта. Николай I не оценил иронии... судьбы.

Вернемся – к чаре.

Эту чару я, шестилетний ребенок, наравне с шестнадцатилетним Гриневым, наравне с тридцатишестилетним Пушкиным, – здесь уместно сказать: любви все возрасты покорны, – сразу почувствовала, под нее целиком подпала, впала в нее, как в столбняк.

От Пугачева на Пушкина – следовательно, и на Гринева – следовательно, и на меня – шла могучая чара, слово, перекликающееся с бессмертным словом его бессмертной поэмы: «Могучей страстью очарован...»

Полюбить того, кто на твоих глазах убил отца, а затем и мать твоей любимой, оставляя ее круглой сиротой и этим предоставляя первому встречному, такого любить – никакая благодарность не заставит. А чара – и не то заставит, заставит и полюбить того, кто на твоих глазах зарубил самую любимую девушку. Чара, как древле богинин облак любимца от глаз врагов, скроет от тебя все злодейства врага, все его вражество, оставляя только одно: твою к нему любовь.

В «Капитанской дочке» Пушкин под чару Пугачева подпал и до последней строки из-под нее не вышел.

Чара дана уже в первой встрече, до первой встречи, когда мы еще не знаем, что на дороге чернеется: «пень иль волк». Чара дана и пронесена сквозь встречи: с Вожатым, с Самозванцем на крыльце, с Самозванцем пирующим, – с Пугачевым, сказывающим сказку, – с Пугачевым карающим – с Пугачевым прощающим – с Пугачевым – в последний раз – кивающим – с первого взгляда до последнего, с плахи, кивка, – Гринев из-под чары не вышел, Пушкин из-под чары не вышел.

И, главное, (она дана) в его магической внешности, в которую сразу влюбился Пушкин.

Чара – в его черных глазах и черной бороде, чара в его усмешке, чара – в его опасной ласковости, чара – в его напускнутой важности...

– и умилительная деталь:

Пушкин Пугачева часто дает... немножко смешным: например, Пугачев, не умеющий разобрать писаной руки.

«Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудро пишешь? – сказал он наконец. – Наши светлые очи не могут тут ничего

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
разобрать. Где мой обер-секретарь?» – смешным, но не смехотворным (так Диккенс в начале повести своего мистера Пиквика) – умилительным, детски-смешным ребенком, читающим письмо вверх ногами. У Пушкина Пугачев получается какой-то зверский ребенок, в себе – неповинный, во зле – неповинный. Сравнить пушкинское отношение к низкому злодею Швабрину: ни одной человеческой слабости, ни одного смягчающего обстоятельства. Весь злодей из одного – черного – куска, вроде Жавера Виктора Гюго (кроме последнего жеста последнего). Швабрин – злодей по пушкинскому замыслу, пушкинское настоящее обратное, его истый враг, то есть его низкий враг. Пугачев же злодей по пушкинской любви, враг по пушкинской любви, его, вопреки всему и всем, совсем не враг, его невраг, его друг и чуть ли не страсть.

Здесь ясна вся разница для поэта между врагом внешним и врагом внутренним. Швабрин – олицетворенная низость, – его внутренний враг, Пугачев – его враг исторический, фактический, его внешний враг, его вовсе не враг, его друг, которого по долгу службы нужно убить, но нельзя не любить.

Как аттический солдат,
В своего врага влюбленный...
Сказано о солдате, но этого далекого солдата (Ахилла) создал – поэт.

Но есть еще одно, кроме чары, физической чары над Пушкиным – Пугачева: страсть всякого поэта к мятежу, к мятежу, олицетворенному одним. К мятежу одной головы с двумя глазами. К одноглавому, двуглазому мятежу. К одному против всех – и без всех. К преступившему.

Нет страсти к преступившему – не поэт. (Что эта страсть к преступившему при революционном строе оборачивается у поэта контр-революцией – естественно, раз сами мятежники оборачиваются – властью.)

В Пугачеве, как нигде, прорвалась у Пушкина эта страсть, и смешно было Николаю I ждать от такого историографа – добра.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...
Это неизъяснимое наслажденье смертное, бессмертное, африканское, боярское, человеческое, божественное, бедное, уже обреченное сердце Пушкина обрело за год до того, как перестало биться в мечтанной встрече Гринева с Пугачевым. На самозванце Емельяне Пушкин отвел душу от самодержца Николая, не сумевшего его ни обнять, ни отпустить.

Страстный верноподданный, каким бы мог быть Пушкин, живой пищи не нашел, и пришлось ему, по сказке того же Пугачева, клевать мертвечину («Нет, я не льстец, когда царю...»), но – по той же сказке Пугачева – орлом будучи – мертвечина ему не пришлась, и пришлось ему – отказавшись от рецепта ворона – год спустя «Капитанской дочки» и пугачевской сказки – напоить российский снег своей кровью.

Соубийцу мы знаем.

* * *

Пушкину я обязана своей страстью к мятежникам – как бы они ни назывались и ни одевались. Ко всякому предприятию – лишь бы было обречено.

Но и другим я обязана Пушкину – может быть, против его желания.

После «Капитанской дочки» я уже никогда не смогла полюбить Екатерину II. Больше скажу: я ее невлюбила.

Контраст между чернотой Пугачева и ее белизной, его живостью и ее важностью, его веселой добротой и ее – снисходительной, его мужичеством и ее дамст-вом не мог не отвратить от нее детского сердца, еди-но-любивого и уже приверженного «злодею».

Ни доброта ее, ни простота, ни полнота – ничто, ничто не помогло мне (в ту секунду Машей будучи), даже противно было сидеть с ней рядом на скамейке.

На огневом фоне Пугачева – пожаров, грабежей, метелей, кибиток, пиров – эта, в

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
чепце и душегрейке, на скамейке, между всяких мостиков и листиков, представлялась мне огромной белой рыбой, белорыбицей. И даже несоленой. (Основная черта Екатерины – удивительная пресность. Ни одного большого, ни одного своего слова после нее не осталось, кроме удачной надписи на памятнике фальконета, то есть – подписи. Только фразы. Французских писем и посредственных комедий Екатерина II – человек – образец среднего человека.)

Сравним Пугачева и Екатерину въяве:

« – Выходи, красная девица, дарю тебе волю. Я государь». (Пугачев, выводящий Марью Ивановну из темницы.)

« – Извините меня, – сказала она голосом еще более ласковым, – если я вмешиваюсь в ваши дела, но я бываю при дворе...»

Насколько царственнее в своем жесте мужик, именующий себя государем, чем государыня, выдающая себя за приживалку.

И какая иная ласковость! Пугачев в темницу входит – как солнце. Ласковость же Екатерины уже тогда казалась мне сладостью, слащавостью, медовостью, и этот еще более ласковый голос был просто льстив: фальшив. Я в ней узнала и возненавидела даму-патронессу.

И как только она в книге начиналась, мне становилось сосуще-скучно, меня от ее белизны, полноты и доброты физически мутило, как от холодных котлет или теплого судака под белым соусом, которого знаю, что съем, но – как? Книга для меня распадалась на две пары, на два брака: Пугачев и Гринев, Екатерина и Марья Ивановна. И лучше бы так женились!

Любит ли Пушкин в «Капитанской дочке» Екатерину? Не знаю. Он к ней почтителен. Он знал, что все это: белизна, доброта, полнота – вещи почтенные. Вот и почтил.

Но любви-чары в образе Екатерины – нет. Вся любовь Пушкина ушла на Пугачева (Машу любит Гринев, а не Пушкин) – на Екатерину осталась только казенная почтительность.

Екатерина нужна, чтобы все «хорошо кончилось».

Но для меня и тогда и теперь вещь, вся, кончается – кивком Пугачева с плахи. Дальше уже – дела гриневские.

Дело Гринева – жить дальше с Машей и оставлять в Симбирской губернии счастливое потомство.

Мое дело – вечно смотреть на чернеющий в метели предмет.

* * *

Есть у Блока магическое слово: тайный жар. Слово, при первом чтении ожегшее меня узнаванием: себя до семи лет, всего до семи лет (дальше – не в счет, ибо жарче не стало). Слово – ключ к моей душе – и всей лирике:

Ты проклянешь в мученьях невозможных
Всю жизнь за то, что некого любить.
Но есть ответ в моих стихах тревожных:
Их тайный жар тебе поможет жить.
Поможет жить. Нет! и есть – жить. Тайный жар и есть – жить.

И вот теперь, жизнь спустя, могу сказать: все, в чем был этот тайный жар, я любила, и ничего, в чем не было этого тайного жара, я не полюбила. (Тайный жар был и у капитана Скотта, последним, именно тайным жаром гревшего свои полярные дневники.)

Весь Пугачев – этот тайный жар. Этого тайного жара в контрфигуре Пугачева – Екатерине – не было. Была – теплота.

Я сказала: контрфигура. Любопытно, что все, решительно все фигуры «Капитанской дочки» – каждая в своем направлении – контрфигуры Пугачева: добрый разбойник

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Пугачев – низкий злодей Швабрин; Пугачев, восставший на царицу, – комендант, за эту царицу умирающий; дикий волк Пугачев – преданный пес Савельич; огневой Пугачев и белорыбий немецкий генерал, – вплоть до физического контраста физически-очаровывающего нас Пугачева и его страшной оравы (рваные ноздри Хлопуши). Пугачев и Екатерина, наконец. И еще любопытнее, что пугачевская контрфигура покрывает, подавляет, затмевает – все. Всех обращает в фигурантов[19].

Рассмотрим всех персонажей «Капитанской дочки». Отец и мать – как им быть полагается (батюшка, матушка...), слуга Савельич – как ему быть полагается, игрок Зурин, мелкий завистник и доносчик Швабрин, заводной немецкий генерал, – комендант Миронов, тип почти комический, если бы не пришлось ему на наших глазах с честью умереть... Маша – пустое место всякой первой любви, Екатерина – пустое место всякой авторской нелюбви...

Ни одной крупной фигуры Пушкин Пугачеву не противопоставил (а мог бы: поручика Державина, чуть не погибшего от пугачевского дротика; Суворова, целую ночь стерегущего пленного Пугачева). В лучшем случае, другие – хорошие люди. Но когда – кого в литературе спасала «хорошесть» и кто когда противостоял чаре силы и силе чары? (Себе в опровержение: однажды спасла и вознесла: отца Савелия, в «Соборьях». Себе же – в подтверждение: но это больше чем литература и больше чем хорошесть, и есть сила большая чары – святость.)

В «Капитанской дочке» единственное действующее лицо – Пугачев. Вся вещь оживает при звоне его колокольчика. Мы все глядим во все глаза и слушаем во все уши: ну, что-то будет? И что бы ни было: есть Пугачев – мы есьмы.

Пушкинский Пугачев, помимо дани поэта – чаре, poeta – врагу, еще дань эпохе: Романтизму. У Гете – Гетц, у Шиллера – Карл Моор, у Пушкина – Пугачев. Да, да, эта самая классическая, кристальная, и, как вы ее еще называете, проза – чистейший романтизм, кристалл романтизма. Только т е своих героев искали и находили либо в дебрях прошлого, этим бесконечно себе задачу облегчая и отдаленностью времен лишая их последнего правдоподобия, либо (Лермонтов, Байрон) – в недрах лирического хаоса, – либо в себе, либо в нигде, Пушкин же своего героя взял и вне себя и из предшествующего ему поколения (Пугачев по возрасту Пушкину – отец), этим бесконечно себе задачу затрудняя. Но зато: и Карл Моор, и Гетц, и Лара, и Мцыри, и собственный пушкинский Алеко – идеи, в лучшем случае – видения, Пугачев – живой человек. Живой мужик. И этот живой мужик – самый неодолимый из всех романтических героев. Сравнимый только с другим реалистическим героем, праотцом всех романтических: Дон-Кихотом.

Покой повествования и словесная сдержанность целый век продержали взрослого читателя в обмане: потому и семилетним детям давали, что думали – классическое. А классическое оказалось – магическое, и дети поняли, только дети одни и поняли, ибо нет ребенка, в Вожатого не влюбленного.

В «классиков» не влюбляются.

* * *

Ко всей «Капитанской дочке» ретроспективный эпиграф:

...Странные есть мужики –
Вот он, с дорожной котомкой,
Путь оглашает лесной
Песнью протяжной, негромкой,
И озорной, озорной...

...В славную нашу столицу
Входит – господь упаси! –
Обворожает царицу
Необозримой Руси...

Пугачев царицы необозримой Руси не обворожил, а на нее в другую и славнейшую нашу столицу – пошел, в столицу не вошел, – и столицы разные – и царицы разные – но мужик все тот же. И чара та же... И так же поддался сто лет спустя этой чаре – поэт.

* * *

Все встречи Гринева с Пугачевым – ряд живых картин, нам в живое мясо и души вожденных. Ряд живых картин, освещенных не маггием, а молнией! Не маггием, а магией. О, до чего эта классическая книга – магическая. До чего – гипнотическая (ибо весь Пугачев нам, вопреки нашему разуму и совести, Пушкиным – внушен: не хотим – а видим, не хотим – а любим) – до чего сонная, сновиденная. Все встречи Гринева с Пугачевым – из все той же области его сна о губящем и любящем мужике. Сон – продленный и осуществленный. Оттого, может быть, мы так Пугачеву и предаемся, что это – сон, которому нельзя противиться, сон, то есть мы в полной неволе и на полной свободе сна. Комендант, Василиса Егоровна, Швабрин, Екатерина – все это белый день, и мы, читая, пребываем в здравом рассудке и твердой памяти. Но только на сцену Пугачев – кончено: черная ночь.

Ни героическому коменданту, ни его любящей Василисе Егоровне, ни гриневскому роману, никому и ничему в нас Пугачева не одолеть. Пушкин на нас Пугачева... навел, как наводят сон, горячку, чару...

На этом слове разбор Пугачева «Капитанской дочки» – кончим.

II

Ибо есть другой Пугачев – Пугачев «Истории пугачевского бунта». Пугачев «Капитанской дочки» и Пугачев «Истории пугачевского бунта».

Казалось бы одно – раз одной рукой писаны. Нет, не одной. Пугачева «Капитанской дочки» писал поэт, Пугачева «Истории пугачевского бунта» – прозаик. Поэтому и не получился один Пугачев.

Как Пугачевым «Капитанской дочки» нельзя не зачароваться – так от Пугачева пугачевского бунта нельзя не отвратиться.

Первый – сплошная благодарность и благородство, на фоне собственных зверств постоянная и непрменная победа добра. Весь Пугачев «Капитанской дочки» взят и дан в исключительном для Пугачева случае – добра, в исключительном – любви. Всех-де казнию, а тебя м илу ю. Причем это ты, по свойству человеческой природы и гениальности авторского внушения, непременно сам читатель. (Всех казнил, а меня помиловал, обобрал, а меня пожаловал, и т.д.) Пугачев нам – в лице Гринева – все простил. Поэтому мы ему – все прощаем.

Что у нас остается от «Капитанской дочки»? Его – пощада. Казни, грабежи, пожары? Точно Пугачев и черным-то дан только для того, чтобы лучше, чище дать его – белым.

Предположим – да так оно со всеми нами и было – что читатель «Капитанскую дочку» прочел – первой. Что он ждет от «Истории пугачевского бунта»? Такого же Пугачева, еще такого же Пугачева, то есть его доброты, широты, пощады, буйств – и своей любви.

А вот что он с первых страниц повествования и пугачевщины – получает.

«...Между тем за крепостью уже ставили виселицу, перед ней сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему привели Харлова (коменданта крепости. – М. Ц.), обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибенный [20] копьём, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить».

(Велел казнить и Миронова, но у того глаз не висел на щеке. Тошнотворность деталей.)

День спустя Пугачев взял очередную крепость Татищеву с комендантом Елагиным.

«С Елагина, человека тучного, содрали кожу: злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны».

(В «Капитанской дочке» ни с кого кожу не сдирали и ничьим салом своих ран не мазали. Ибо Пушкин знал, что от такого мазанья – на его героя – стошнило бы.)
Дальше, в строку:

«Жену его изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харлова, приведена была к победителю, распоряжавшемуся казнию ее родителей. Пугачев поражен был ее

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru красотой и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив для нее ее семилетнего брата».

Пощада – малая, и поступок – чисто злодейский, да и злодейство – житейское: завождеlev – помиловал, на свою потребу помиловал. И мгновенный рипост: наш Пугачев так бы не поступил, наш Пугачев, влюбившись, отпустил бы на все четыре стороны – руки не коснувшись.

...Именно не полюбив, а завождеlev, ибо вдову майора Веловского, которую не завождеlev, тут же велел удавить.

Но есть этому эпизоду с Харловой (по отцу Елагиной) продолжение – и окончание.

Несколько страниц – не знаю, недель или месяцев – спустя, происходит следующее:

«Молодая Харлова имела несчастье привязать к себе Самозванца. Он держал ее в своем лагере под Оренбургом. Она одна имела право во всякое время входить в его кибитку; по ее просьбе прислал он в Озерную приказ – похоронить тела им повешенных при взятии крепости. Она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны. Раненые, они сползлись друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в кусты, долго оставались в том же положении».

Все чары в сторону. Мазать свои раны чужим салом, расстреливать семилетнего ребенка, который, истекая кровью, ползет к сестре, – художественное произведение такого не терпит, оно такое извергает. Пушкин, художеством своим, был обречен на другого Пугачева.

Таков Пугачев в любви. Об этой Харловой Пушкин, пиша «Капитанскую дочку», помнил, ибо (письмо Марьи Ивановны Гринева): «Он (Швабрин) обходится со мною очень жестоко и грозитя, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой...»

Что то же, Пушкин в «Капитанской дочке» не уточняет, давая предполагать читателю только начало харловской судьбы. Оживлять те кусты ему здесь слишком невыгодно.

И непосредственно, строка в строку, до эпизода с Харловой:

«Пугачев в начале своего бунта взял к себе в писаря сержанта Кармицкого, простив его под самой виселицей. Кармицкий сделался вскоре его любимцем. Яицкие казаки при взятии Татищевой удавили его и бросили с камнем на шею в воду. Пугачев о нем осведомился. Он пошел, отвечали ему, к своей матушке вниз по Яику. Пугачев, молча, махнул рукой».

Таков Пугачев в дружбе: в человеческой любви.

Судьба этого Кармицкого – потенциальная судьба самого Гринева: вот что с Гриневым бы произошло, если бы он встретился с Пугачевым не на страницах «Капитанской дочки», а на страницах «Истории пугачевского бунта» [21].

Пугачев здесь встает моральным трусом – Lâche – из-за страха товарищей предающим – им в руки! – любимую женщину, невинного ребенка и любимого друга.

– Позвольте, что-то знакомое: товарищам – любимую... – А!

А вокруг уж слышен ропот:
– Нас на бабу променял!
Всю ночь с бабой провозжался,
Сам наутро бабой стал.

...Мощным взмахом подымает
Он красавицу-княжну...
Стенька Разин! тот, о котором и которого поет с нашего голоса вся Европа, тот, которым мы, как водою и бедою, залили всю Европу, да и не одну Европу, а и Африку, и Америку – ибо нет на земном шаре места, где бы его сейчас не пели или завтра бы не смогли запеть.

Но: Пугачев и Разин – какая разница!

Над Разиным товарищи – смеются, Разина бабой – дразнят, задевая его мужскую атаманову гордость. Пугачеву товарищи – грозят, задевая в нем простой страх за жизнь. И какие разные жесты! (Вся разница между поступком и проступком.)

Мощным взмахом подымает

Он красавицу-княжну...

Разин сам бросает любимую в Волгу, в дар реке – как самое любимое, подняв, значит – обняв; Пугачев свою любимую дает убить своей сволочи, чужими руками убивает: отводит руки. И дает замучить не только ее, но и ее невинного брата, к которому, не сомневаюсь, уже привык, которого уже немножко – усыновил.

В разинском случае – беда, в пугачевском – низость. В разинском случае – слабость воина перед мнением, выливающаяся в удаль, в пугачевском – низкое цепляние за жизнь.

К Разину у нас – за его Персияночку – жалость, к Пугачеву – за Харлову – содрогание и презрение. Нам в эту минуту жаль, что его четвертовали уже мертвым.

И – народ лучший судия – о Разине с его Персия-ночкой – поют, о Пугачеве с его Харловой – молчат.

Годность или негодность вещи для песни – может быть, единственное непогрешимое мерило ее уровня.

* * *

Но есть у Пугачева, кажется, еще подлейший поступок. Он велит тайно удавить одного из своих верных сообщников, Димитрия Лысова, с которым он несколько дней до того в пьяном виде повздорил и который ударил его копьем. «Их помирили товарищи, и Пугачев пил еще с Лысовым за несколько часов до его смерти».

С Харловой спал – и дал ее расстрелять, с Лысовым пил – и велел его удавить. Пугачев здесь встает худшим из своих разбойников, хуже разбойника. И только так можно ответить на его гневный возглас, когда предавший его казак хотел скрутить ему назад руки: «Разве я разбойник?»

Иногда его явление из низости злодейства возвышается до диaboлического:

«Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что это за человек. Услыша, что Ловиц наблюдает течение светил небесных, он велел его повесить – поближе к звездам».

И – последнее. «Перед судом он оказал неожиданную слабость духа. Принуждены были постепенно приготовить его к услышанию смертного приговора». – «...Crainte qu'il ne mourût de peur sur le champ» [22], – поясняет Екатерина в письме к Вольтеру. Но так как это письмо Екатерины – единственный пушкинский источник, а Екатерина в низости казнимого ею мятежника явно была заинтересована – оставим это сведение под сомнением: может – струсил, может – нет. Но что достоверно можно сказать – это что не поражал своей предсмертной храбростью. На храбреца трусости не наврешь. Даже Екатерина – в письме к Вольтеру.

Но есть еще одна деталь этой казни – тяжелая. Пугачев, будучи раскольником, никогда не ходил в церковь, а в минуту казни – по свидетельству всего народа – глядя на соборы, часто крестился.

Не вынес духовного одиночества, отдал свою старую веру.

После любимой и друга отдал и веру.

* * *

Будем справедливы: я все-таки выбирала (особенно и выбирать не пришлось) обратные, контрастные места с Пугачевым «Капитанской дочки». Пугачеву «Истории пугачевского бунта» Пушкин оставил – многое. Оставил его иносказательную сказочную речь, оставил неожиданные повороты нрава: например, наведенную на жителей пушку оборачивает и разряжает ее – в степь. Физическую смелость оставил:

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
«Пугачев ехал впереди своего войска. «Берегись, государь, – сказал ему старый казак, – неравно из пушки убьют». – «Старый ты человек, – отвечал самозванец. – Разве пушки льются на царей?»»

Любовь к нему простого народа – оставил:

«Солдаты кормили его из своих рук и говорили детям, которые теснились около его клетки: помните, дети, что вы видели Пугачева. Старые люди еще рассказывают о его смелых ответах на вопросы проезжающих господ. Во всю дорогу он был весел и спокоен».

И огненный взор, и грозный голос оставил, от которых женщины, разглядывавшие его в клетке, падали без памяти.

И, как ни странно, и человечность оставил: академик Рычков, отец убитого Пугачевым симбирского коменданта, говоря о своем сыне, не мог удержаться от слез. Пугачев, глядя на него, сам заплакал.

Но все то же цепляние за жизнь оставил. Ибо в ответе Пугачева на вопрос Рыčkова, как он мог отважиться на такие великие злодеяния: «Виноват перед богом и государыней и буду стараться заслужить все мои вины» – бессмысленная, заведомо безнадежная надежда на помилование, все то же пугачевское цепляние за жизнь.

Пугачев из «Истории пугачевского бунта» встает зверем, а не героем. Но даже и не природным зверем встает, ибо почти все его зверства – страх за жизнь, – а попустителем зверств, слабым до преступности человеком. (Ведь даже убийство Лысова – не месть за поднятую на него руку, а страх вторичного и уже смертного удара.)

И, чтобы окончательно кончить о нем: покончить с ним в наших сердцах – одна безобразная сцена, вдвойне безобразная, со всей полнотой подлости в лице обоих персонажей:

Граф Панин, к которому привели пленного Пугачева, за дерзкий – прибауточный – провидческий ответ Пугачева: «я вороненок, а ворон-то еще летает» – ударяет Пугачева по лицу в кровь и вырывает у него клоч бороды. (NB! Русское «лежачего не бьют».)

Что же делает Пугачев? Встает на колени и просит о помиловании.

* * *

Теперь – очная ставка дат: «Капитанская дочка» – 1836 год, «История пугачевского бунта» – 1834 год.

И наш первый изумленный вопрос: как Пушкин своего Пугачева написал – зная?

Было бы наоборот, то есть будь «Капитанская дочка» написана первой, было бы естественно: Пушкин сначала своего Пугачева вообразил, а потом – узнал. (Как всякий поэт в любви.) Но здесь он сначала узнал, а потом вообразил.

Тот же корень, но другое слово: преобразил.

Пушкинский Пугачев есть рипост поэта на исторического Пугачева, рипост лирика на архив: – Да, знаю, знаю, все как было и как все было, знаю, что Пугачев был низок и малодушен, все знаю, но этого своего знания – знать не хочу, этому несвоему, чужому знанию противопоставляю знание – свое. Я – лучше знаю. Я – лучшее знаю:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

Обман? «По сему, что поэт есть творитель, еще не наследует, что он лживец, ибо поэтическое вымышление бывает по разуму так – как вещь могла и долженствовала быть» (Тредьяковский).

Низкими истинами Пушкин был завален. Он все отmel, все забыл, прочистил от них голову, как сквозняком, ничего не оставил, кроме черных глаз и зарева.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
«Историю пугачевского бунта» он писал для других, «Капитанскую дочку» – для себя.

* * *

Пушкинский Пугачев есть поэтическая вольность, как сам поэт есть поэтическая вольность, на поэте отыгрывающаяся от навязчивых образов и навязанных образцов.

* * *

Но что же Пушкина заставило, только что Пугачева отписавши, к Пугачеву вернуться, взять в герои именно Пугачева, опять Пугачева, того Пугачева, о котором он все знал?

Именно что не все, ибо единственное знание поэта о предмете поэту дается через поэзию, очистительную работу поэзии.

Пушкин своего Пугачева написал – чтобы узнать. Дознаться. Пушкин своего Пугачева написал – чтобы забыть.

Простых же ответа – два: во-первых, он с ним, каков бы он ни был, за долгие месяцы работы – сжился. Сжился, но не разделался. (Есть об этом его, по написанию, свидетельство.)

Во-вторых, он, поставив последнюю точку, почуял: не то. Не тот Пугачев. То, да не то. А попробуем – то. Это было «по-вашему», давай-ка теперь – по-нашему.

Подсознательное желание Пугачева, историей разоблаченного, поэзией реабилитировать, вернуть его на тот помост, с которого историей, пушкинской же рукою, снят. С нижеморского уровня исторической низости вернуть Пугачева на высокий помост предания.

Пушкин поступил, как народ: он правду – исправил, он правду о злодее – забыл, ту часть правды, несовместимую с любовью: малость.

И, всю правду о нем сохранив, изъяв из всей правды только пугачевскую малость, дал нам другого Пугачева, своего Пугачева, народного Пугачева, которого мы можем любить: не можем не любить.

Какой же Пугачев – настоящий? Тот, что из страха отдал на растерзание любимую женщину и невинного младенца, на потопление – любимого друга, на удушение – вернейшего соратника, и сам, в ответ на кровавый удар по лицу, встал на колени?

Или тот, что дважды, трижды, семижды простил Гринева и, узнав в толпе, в последний раз ему кивнул?

Что мы первое видим, когда говорим «Пугачев»? Глаза и зарево. И – оба без низости. Ибо и глаза и зарево – явление природы, «есть упоение в бою», а может быть, и сама Чума, но – стихия, не знающая страха.

Что мы первое и последнее чувствуем, когда говорим «Пугачев»? Его величие. Свою к нему любовь.

Так, силой поэзии, Пушкин самого малодушного из героев сделал образцом великодушия.

В «Капитанской дочке» Пушкин-историограф побит Пушкиным-поэтом, и последнее слово о Пугачеве в нас всегда за поэтом.

Пушкин нам Пугачева пугачевского бунта – показал, Пугачева «Капитанской дочки» – внушил. И сколько бы мы ни изучали и ни перечитывали «Историю пугачевского бунта», как только в метельной мгле «Капитанской дочки» чернеется незнакомый предмет – мы все забываем, весь наш дурной опыт с Пугачевым и с историей, совершенно как в любви – весь наш дурной опыт с любовью.

Ибо чара – старше опыта. Ибо сказка – старше были. И в жизни земного шара старше, и в жизни человека – старше. Ибо Пугачева мы знали уже и в Мужик-сам-с-перст, и в Верлиоке, и в Любоеде из Мальчика-с-пальчика, рубящем

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
головой собственным дочерям, и в разбойнике, от которого Аленушка прячется за
кадушку с маслом, во всех людоедах и разбойниках всех сказок, в сказке крови,
нашей древней памяти.

Пушкинский Пугачев («Капитанской дочки») есть собирательный разбойник, людоед,
чумак, бес, «добрый молодец», серый волк всех сказок... и снов, но разбойник,
людоед, серый волк – кого-то полюбивший, всех загубивший, одного – полюбивший, и
этот один, в лице Гринева – мы.

И если мы уже зачарованы Пугачевым из-за того, что он – Пугачев, то есть живой
страх, то есть смертный страх, наш детский сонный смертный страх, то как же нам
не зачароваться им вдвойне и вполне, когда этот страшный – еще и добрый, когда
этот изверг – еще и любит.

В Пугачеве Пушкин дал самое страшное очарование: зла, на минуту ставшего добром,
всю свою само-силу (зла) перекинувшего на добро. Пушкин в своем Пугачеве дал нам
неразрешимую загадку злодеяния – и чистого сердца. Пушкин в Пугачеве дал нам
доброе разбойника. И как же нам ему не поддаться, раз мы уже поддались – просто
разбойнику?

Дав нам такого Пугачева, чему же поддался сам Пушкин? Вышнему, что есть: поэту в
себе. Непогрешимому чутью поэта на пусть не бывшее, но могшее бы быть.
Долженствовавшее бы быть. («По сему, что поэт есть творитель...»)

И сильна же вещь – поэзия, раз все знание всего николаевского архива,
саморучное, самоочное знание и изыскание не смогли не только убить, но пригасить
в поэте его яснозрения.

Больше скажу: чем больше Пушкин Пугачева знал, тем тверже знал – другое, чем
яснее видел, тем яснее видел – другое.

Можно сказать, что «Капитанская дочка» в нем писалась одновременно с «Историей
пугачевского бунта», с ним со-писалась, из каждой строки последнего вырастая,
каждую перерастая, писалась над страницей, над ней – надстраивалась, сама,
свободно и законно, как живое опровержение, здесь рукой поэта творящееся:
неправде фактов самописалась.

* * *

«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

Если Пушкин о Наполеоне, своем и всей мировой лирики боге, отвечая досужему
резонеру, разубеждавшему его в том, что Наполеон в Яффе прикасался к чумным[23],
если Пушкин о Наполеоне мог сказать:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман
– то насколько это уместнее звучит о Пугачеве, достоверные низкие истины о
котором он глазами вычитывал и своей рукой выписывал – ряд месяцев.

О Наполеоне Пушкин это сказал.

С Пугачевым он это сделал.

По окончании «Капитанской дочки» у нас о Пугачеве не осталось ни одной низкой
истины, из всей тьмы низких истин – ни одной.

Чисто.

И эта чистота есть – поэт.

* * *

Тьмы низких истин...

Нет низких истин и высоких обманов, есть только низкие обманы и высокие истины.

Еще одно. Истины не ходят тьмами (тьма-тьмушая, Тьму-Таракань и т. д.). Только –
Страница 109

* * *

Возвращаясь к миру фактов. Оговорка – и важная: говорят, что сейчас изданы три тома пугачевского архива, из которых Пугачев встает совсем иным, чем в «Истории пугачевского бунта», а именно – без всякой низости, мужичьим царем и т. д.

Но дело для нас в данном случае не в Пугачеве, а в Пушкине, иных материалов, кроме дворянских (пристрастных), не знавшем и этим дворянским – поверившем. Как Пушкин, по имеющимся данным, Пугачева видел. И сличаю я только пушкинского Пугачева – с пушкинским.

Если же, паче чаяния, Пугачев на самом деле встает мечтанным мужичьим царем, великодушным, справедливым, смелым – что ж, значит, Пушкин еще раз прав и один только и прав. Значит, прав был – унижающим показаниям в глубине своего существа не поверив. Только очами им поверив, не душой.

Как ни обернись – прав:

Был Пугачев низкий и малодушный злодей – Пушкин прав, давая его высоким и бесстрашным, ибо тьмы низких истин нам дороже...

Был Пугачев великодушный и бесстрашный мужичий царь – Пушкин опять прав, его таким, а не архивным – дав. (NB! Пушкин архив опроверг не словом, а делом.)

Но, повторяю, дело для нас не в Пугачеве, каков он был или не был, а в Пушкине – каков он был.

Был Пушкин – поэтом. И нигде он им не был с такой силой, как в «классической» прозе «Капитанской дочки».

В. Я. Мауль
Архетипы русского бунта XVIII столетия

Казнь Пугачева. Гравюра (XVIII век). Фрагмент.

Социокультурное введение в тему, или Русский бунт, «каким он казался»
В общей системе гуманитарного знания история занимает особое положение. Ее высокая роль и предназначение в современном мире бесспорны и не вызывают никаких сомнений. Яркие страницы прошлого, встающие из-под пера хронистов и мастеров исторического жанра, позволяют глубже осознать и понять потребности дня сегодняшнего, его задачи, сущность и перспективы. *Historia est magistra vitae*[24], *historia est lux veritatis*[25] – утверждали древние и были, безусловно, правы. В каком разительном противоречии находятся эти слова с расхожим ныне представлением, будто история учит лишь тому, что она ничему не учит. Нередко можно услышать упреки в том, что история не знает прошлого, дескать, в книгах одни и те же события описываются и оцениваются по-разному, сегодня о них пишут иначе, чем вчера, и т. д. Такая критика, как ни странно это в XXI веке, повторяет средневековую мудрость: *Quae locis et temporibus variantur, vere non esse*[26]. Истории, следовательно, отказывают в научности, способности распространять объективное знание. Развиваются историческая апатия и индифферентизм. Эти опасные симптомы следует решительным образом преодолевать, ибо история наказывает за незнание уроков. Необходима новая, не только профессионально, но и интересно написанная история. Отсюда и возникает потребность при исследовании прошлого синтезировать возможности науки и искусства, как это не раз бывало ранее.

А. С. Пушкин. Акварель П. Ф. Соколова (1830 – 1836).

Хорошо известно, что на протяжении многих веков историк и писатель нередко соединялись в одном лице. К историческим сюжетам, например, обращались Н. М. Карамзин, Л. Н. Толстой, другие великие творцы русской культуры. «При всей

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru неповторимости каждого их объединяет стремление строить художественный рассказ о прошлом на основе глубокого изучения разнообразных источников...» [106; 4]. Не секрет, что интерес к истории всегда проявлял и Александр Сергеевич Пушкин, в чем читатель уже успел убедиться. Более того, Пушкин был историком-профессионалом, убежденным в том, что исторический труд предполагает глубокие знания о прошедшем, а любой источник подобных знаний требует критической проверки. Именно такое отношение к источникам превращало историческое разыскание в акт творчества.

Давно уже не является тайной и то, что в истории Пушкин больше всего любил бунтовщиков, а С. Т. Разина называл единственной поэтической фигурой русской истории. Вполне объяснимо пристальное внимание поэта-мыслителя и к истории пугачевского бунта. «Пушкин Пугачевым зачарован», – резонно утверждала Марина Цветаева. Нет ничего удивительного, что тема «Пушкин и Пугачев» давно привлекает ученых, и не случайно пугачевская пушкиниана насчитывает не одну сотню научных работ.

Новые попытки изучения пугачевского бунта не исключают реанимации пушкинских исследовательских подходов, вполне созвучных запросам современной гуманитаристики. Это, главным образом, стремление «очеловечить» бунт, показать его как арену деятельности конкретных, живых людей с их богатыми эмоциональными переживаниями: страхами, надеждами и разочарованиями, симпатиями и антипатиями и т. д. Особенность почерка Пушкина-ученого – акцент на мельчайших, порой даже бытовых деталях. Историческое пространство бунта показывается им именно через деталь и через человека. Для сочинений Пушкина о пугачевском бунте характерна содержательная многосложность, наложение различных смысловых оппозиций: дворянин – господин; господин – слуга; каратели – бунтовщики; бунтовщик – бунтовщик; мужчина – женщина; добро – зло; жестокость – милосердие; жизнь – смерть и мн. др. Показательно, что Пушкин описывает пугачевщину, выводя на первый план многочисленные символические противоположности – социальные, моральные, культурные, личные и др. Заметим, что, вопреки историографическому клише, у Пушкина бунт далеко не всегда выглядит таким уж бессмысленным. Знакомство с его произведениями убеждает, что Пушкин сумел продемонстрировать в бунте простонародья, как и в действиях Пугачева, глубокий социокультурный смысл. И не столь уж важно, насколько сам Пушкин осознавал данное обстоятельство. Важнее другое: множество деталей, им выделенных, несомненно, подчеркивают культурную составляющую русского бунта.

М. И. Цветаева. Фотография.

Необходимо принять познавательный вызов поэта и писателя и проанализировать русский бунт под соответствующим углом зрения. Отсюда возникает необходимость взглянуть на бунт не «сверху», как стало уже привычным, но с другой стороны. Не просто и не только «снизу», сколько «изнутри», глазами его участников и современников, чтобы понять тот смысл русского бунта, который не замечен изначально и раскрывается постепенно в ходе исследовательских интерпретаций.

Как известно, обычная, изо дня в день, жизнь человека является для него привычной повседневностью, которая на протяжении многих веков воспроизводила устоявшийся в поколениях уклад жизни. Новые формы культурного бытия могли интегрироваться в традиционную «картину мира» только тогда, когда осмысливались в старых категориях и понятиях. В этих условиях человеку могло быть нелегко, но он ощущал себя достаточно комфортно и спокойно, находился в душевном согласии с самим собой и с окружающим его миром. В пределах своей социальной сферы он имел достаточно возможностей для выражения себя в труде и в эмоциональной жизни.

Но иногда, под влиянием каких-то внешних факторов, происходил разрыв или прерывание повседневности. Возникали экстремальные обстоятельства, которые не могли не травмировать сознание человека. Подобную ситуацию, например, спровоцировала начавшаяся еще в XVII веке и растянувшаяся на многие десятилетия модернизация России. Столкновение традиций и инноваций вызывало глубокие колебания психики масс и имело необычайно серьезные последствия в виде кризиса традиционной идентичности [27], разные уровни которой (общественный, групповой и личностный) интенсивно наслаивались один на другой.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru

Кроме того, необходимо отметить двойственную природу русского бунта. С одной стороны, бунт не есть нечто типичное и обыденное в жизни страны. Это событие экстраординарное, чрезвычайное, из ряда вон выходящее. В то же время для российской истории он не был и совершенно исключительным явлением. Его специфические признаки «вызрели» в течение долгого времени. Несомненно одно: бунт всегда тяжело воспринимался и переживался простонародьем, давно понявшим, что «бунт не улучшает, а резко ухудшает существующую социальную ситуацию, не залечивает, а обнажает и заставляет кровоточить все болезненные язвы общества», а потому в народной исторической памяти «доминирует хотя и сочувственное, но все же осторожно-сдержанное отношение людей к мятежу: оплакивание разгрома восстания и казни его предводителя еще не адекватны готовности лично участвовать в подобном движении» [114; 22, 29]. По этой причине героизировать поведение народных масс на фоне русского бунта, представлять их сознательными творцами светлого будущего нет никакой необходимости. Они не нуждаются ни в модернизации, ни в приукрашивании: «...среди них были не только мужественные и бесстрашные, но и робкие и нерешительные, сомневающиеся и придерживающиеся нехитрого житейского правила “как все, так и я”. Ведь немало из них до того, как вспыхнул всенародный мятеж, покорно тянули свою лямку и, если бы не экстремальные обстоятельства, продолжали бы это делать» [113; 142].

Как справедливо подчеркивалось в отечественной литературе, атмосфера «повышенной против обычной социальной возбудимости и возбужденности стимулирует всякое массовое движение», а сами будущие мятежники «не ведают, когда им надоест терпеть “великия обиды и разорения”, в кого поверят, за кем пойдут» [144; 89].

Чувство тревоги и страха дополнялось эмоциональным негодованием и взрывом враждебности из-за ущемления привычного (традиционного) образа жизни. Поэтому, как правило, во время насильственных конфликтов бунтовщики обращались к старине, обычаю, что воспринималось ими как вполне достаточный и весомый аргумент в свою пользу. В протестном поведении реанимировались архаичные культурные архетипы [28]. При этом всплески эмоциональности протестов иногда сменялись приступами вполне прагматичных, в духе традиции, раздумий и действий, основанных на житейской сметке, практическом опыте и просто здравом смысле. Следует учитывать и то, что в этом случае бунт оказывался не столько продуктом экономической конъюнктуры, сколько явлением культуры.

Исследуя различные модели протестного поведения, необходимо помнить, что в любом обществе, помимо государственного, есть еще так называемое «фольклорное право». В его основе лежат неписанные этические нормы. Дело в том, что любая культура располагает средствами насилия по отношению к тем, кто ее должен разделять. В этой системе принуждений бунт – последняя ступень обычных санкций, предусмотренных народной традицией, одно из нормативных средств для защиты традиционного уклада жизни.

В психологическом отношении бунты выполняли и своеобразную психотерапевтическую функцию, служили своего рода катарсисом [29]. Очищение происходило постольку, поскольку в ходе открытых народных выступлений находили выход примитивные инстинкты, насилие, сексуальность, которые в повседневной жизни подавлялись существовавшими этическими и нравственными нормами. Поэтому возникает необходимость реконструкции русского бунта не таким, «каким он, собственно, был», но таким, каким он разворачивался в умах людей, его переживавших. Хорошую возможность для этого предоставляет пугачевщина, которая в максимальной степени воплотила в себе сущностные черты и особенности отечественного бунтарства. Составлявшие или наблюдавшие протестующую толпу люди по-разному реагировали на события. Их реакции создают своеобразную историко-психологическую совокупность, на фоне которой раскрывались наиболее яркие проекции русского бунта как феномена социокультурной истории Руси/России. Бунт порождал ситуацию, которая акцентировала весь «букет» эмоциональных ощущений человека. К тому же в ходе бунта происходило постепенное замещение одних эмоций другими, т. е. одни эмоциональные ощущения вытеснялись другими. Это и обеспечивало развитие бунта от одного этапа к другому.

Речь идет, например, о панике, опасениях и страхах, охвативших простонародье. Привычные ценности на глазах рушились, превращались в свою противоположность, сдавали позиции в противоборстве с культурными инновациями, что не могло не вызывать глубокого беспокойства среди общественных низов. Но в то же время – это и испытываемое ими в условиях бунта удовольствие. Еще К. Н. Леонтьев справедливо заметил, что русский мужик «веселился бунтом». Можно даже предположить, что

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru пережитые ранее страхи компенсировались теперь чувством наслаждения вседозволенностью, безграничностью возможностей, сменой социальных ролей и т. п. Данный эмоциональный контекст создавал смеховой антураж вокруг многих сцен «бунтовщического представления», в частности казней, которые, по признанию самих пугачевцев, нередко совершались «ради потехи». Своеобразной вершиной эмоционального удовольствия можно считать пугачевскую версию «игры в царя», с помощью которой достигалась самоидентификация Е. И. Пугачева и его сподвижников.

Не стоит также забывать о чувстве разочарования, поводом для которого становились поражения и неудачи повстанческого войска. Все чаще возникали сомнения в своем вожде: он – не царь. Формировались психологические реакции в виде досады и гнева, что усугубляло разочарование и представления об измене. Отсюда и активизация инстинкта самосохранения и других поведенческих стереотипов общественных низов, столь ярко проявивших себя в условиях разгрома протестного движения.

Следовательно, необходимо изучать русский бунт, опираясь на характер и ценности эпохи (культуры), его породившей. В результате становится возможным реконструировать не только различные модификации бунтовщического поведения, но и тот объективный смысл русского бунта, который складывался из многочисленных субъективных смыслов его современников и участников.

Русский бунт и Емельян Пугачев в историко-культурном интерьере переходной эпохи. Обращаясь к анализу протестного движения, можно увидеть, как на социокультурном пространстве русской истории с помощью бунта народ пытался построить идеальную модель «православного царства». Катализатором же, способствовавшим бурному росту утопических чаяний и активных попыток их воплощения в XVII – XVIII веках, оказался кризис идентичности, переживавшийся традиционной культурой в условиях ее противостояния процессу модернизации. Из тупика системного кризиса традиционная культура искала спасение в самой себе. Модернизация же подражала образцам извне (т. е. чужим и чуждым), принудительно внедряя их в не подготовленную для этого почву.

Поиск культурой традиционной идентичности приводил к использованию различных защитных механизмов, важнейший из которых – бунт. «Вспомнив» о нормативной функции, традиционная культура защищала свои ценности также с помощью насилия. Российская модернизация уверенно формировала имперскую альтернативу развития страны, которая раскрывала себя на разных этапах истории как рационализм, материализм, плюралистический либерализм. Ее ценностный вектор неизменно был направлен в сторону Запада. Инновации дестабилизировали традиционную гармонию, разрушали привычный, а потому и уютный мир русского простеца. Традиционная культура искала адекватный противовес идеологии модернизма. Дальнейшее развитие могло осуществляться как реализация одной из вероятных альтернатив.

Народная альтернатива реализовывала себя в бунтах, которые, отстаивая ценности традиционализма, корректировали модернизацию. Всеобщее негодование, вызванное политическими, социальными, экономическими и другими симптомами модернизационного сдвига, готовило почву для появления на небосклоне российской истории и лидеров, и возглавляемых ими движений протеста. Через бунт традиционная культура пыталась транслировать свои ценности в будущее, а сам он выступал в роли своеобразного моста между прошлым и будущим, пытался восстановить рвущуюся связь времен. Поэтому бунт оказывался не просто социальным протестом или, например, классовой борьбой, но органичной частью культуры, ее функциональным элементом в ситуации, когда атрибуты наступающей модернизации пробивали себе дорогу к жизни, боролись за право на существование с привычно-традиционной повседневностью простецов, вызывая беспокойство и даже страх в глубинных слоях их подсознания.

В российском обществе XVII – XVIII веков сложилась эмоциональная атмосфера, в которой бунты становились своего рода лекарством от коллективного страха. Психологической же основой страха была утрата чувства безопасности, которая скорее переживалась, чем осознавалась.

Поскольку мышление людей, принадлежавших традиционной культуре, было мифологизировано и проникнуто пристрастием к «идеальному» прошлому, виновниками всех бед считались нарушители со-циальной «гармонии» и обычаев – бояре (дворяне), чиновники и вообще все те, кто стоит по другую сторону баррикад. Они в возбужденном сознании бунтовщиков выступали в качестве изменников,

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru заслуживавших самого сурового наказания. Понятие «измены», чрезвычайно характерное для традиционной психологии, позволяло осмысливать борьбу против нарушителей порядка, установленного, по мнению простонародья, Богом и Царем, не только как законную, но и требующую поощрения со стороны государя. «Изменники» же, преступившие божественные установления, лишались права на земное и небесное покровительство. Не случайно в большинстве случаев подобного рода народные бунты сопровождались слухами о царских постановлениях, разрешавших насилие. Открытый протест, с точки зрения его участников, приобретал легитимный [30] характер и мыслился как борьба за социальную правду.

Следует помнить, что месторазвитием русского бунта было обрядовое, ритуальное пространство традиционной культуры, но подвергнутое мощному натиску инновационных сил. Это обстоятельство не могло не отразиться на «картине мира» бунтовщиков. Привычно ощущаемые и признаваемые ценности неизбежно искажались, хотя сами участники народного протеста могли этого не осознавать. Чем дальше заходил процесс «порабощения» России достижениями европейской цивилизации, тем большим деформациям подвергались традиционные ментальные [31] стереотипы. Объективно тяготея к традициям, коллективное воображение не успевало приспособляться к переменам, безнадежно отставало от меняющейся объективной реальности, а потому старалось цепко держаться за прошлое – «мертвый хватает живого».

Традиция и модернизация столкнулись в смертельном поединке, но отчаянные попытки «спасти» идеально-воображаемый образ прошлого не удавались. Соединительные скрепы (нити) истории постоянно рвались. Ткань времен не удавалось залатать. Страна втянулась в пучину непримиримого социокультурного конфликта, растянувшегося на длительный срок. В России данный процесс преимущественно приходился на XVII – XVIII века, которые намечают основные хронологические контуры русского бунта.

Заметим, что такая хронология обосновывается рядом обстоятельств. Русский бунт тесно связан с переходным состоянием общества, когда новое в культурной жизни с трудом и постепенно приспособлялось к старым привычкам, навыкам, ощущениям. Для нашей страны переходный период впервые обозначен XI – XII веками. Однако с тех пор пространственные параметры отечественной истории и культуры существенно расширились. Поэтому протестные «жесты» «гилей» и «мятежей» Древней Руси ближе к поведению бунтовщиков, например, во Франции или Англии на исходе Старого порядка. Их пространственное измерение было похожем своей ограниченностью. Поведенческие аналогии можно обнаружить и сопоставляя древнерусские «замятни» с действиями русских низов во время, например, Соляного или Медного бунта, которые также не вышли за узкие пространственные рамки.

Иное дело народные выступления, подобные разинскому или пугачевскому, – здесь совсем другие масштабы, незнакомые европейцам и потому приводившие их в изумление. Так, один из просвещенных иностранных современников разинщины И. Ю. Марций писал: «Потомство вряд ли поверит тому, что один человек за столь короткое время занял такую территорию и опустошил такие области, что на пространстве в 260 германских миль все пришло в совершенный беспорядок» [62; 71]. Подобные отклики неоднократно заслуживала и пугачевщина. Следовательно, русские бунты, не имевшие аналогов и вызывавшие удивление и испуг у представителей западной культуры, в своей, так сказать, «классической» форме громыхали на бескрайних пространствах страны именно в XVII – XVIII столетиях.

Как известно, при анализе и сравнении исторических альтернатив оценочные критерии типа «лучше» – «хуже», «более развитый» – «менее развитый» и т. п. с очевидностью неуместны. Однако именно их чаще всего и можно встретить в научных исследованиях. При всей условности сослагательной реконструкции прошлого вероятность народной альтернативы, заявленной с помощью бунта, сегодня начинает осознаваться как вполне реальная. Многие историки все чаще признают возможность (хотя и гипотетическую) победы русских бунтарей. Другое дело, что они считают ее перспективны менее плодотворными и, главное, – регрессивными. Процитируем категоричное суждение В. М. Соловьева. «Уже ставился, – пишет он, – правомерный вопрос: чем “непросвещенный абсолютизм” самозванца Пугачева лучше [здесь и далее выделено мною. – В. М.] просвещенного абсолютизма Екатерины II? Ответ однозначен: ничем. Наоборот, он гораздо страшнее, и атактистическая дикость и свирепость его вызывают оторопь и содрогание... Брутальность и способы расправы пугачевцев с “господами” были намного круче, чем набор мер устрашения и наказания, к которым прибегала репрессивная машина властей» [112; 192].

Хорошо известно, что народная альтернатива в форме бунта в XVII – XVIII веках не сумела реализовать свои исторические потенции, и гадать на тему, что было бы, если... – очевидного резона нет. Казалось, можно успокоиться этим и признать проблему русского бунта принадлежащей только прошлым векам. Но вот некоторые авторы отмечают, что русский бунт не исчез с исторической арены страны с подавлением пугачевщины, и допускают использование соответствующей терминологии для анализа общественного протеста более позднего времени. Например, погромное движение в городах России в 1917 – 1918 годах считают проявлением «бессмысленного» и «беспощадного» русского бунта, а саму Октябрьскую революцию рассматривают как результат системного кризиса империи и десакрализации [32] государственной власти, которые имеют содержательные аналогии в «бунташном» веке. Шире – в традиционных мироощущениях народа и властителя: «...историю последнего российского императора можно использовать в качестве своеобразного пособия для изучения природы власти в России через людские представления о ее пороках и достоинствах... Правитель изначально представлялся абсолютным. Ему позволялось даже в определенных пределах быть неудачником, но он не имел права быть не таким, как хотелось низам».

И далее: в России «император [Николай II. – В. М.], не обладавший ни волей, ни инстинктом власти, стал “лишней” фигурой для державы... финал последнего императора, тяготящегося своими высокими обязанностями и ищущего отдохновения от них в личной жизни, оказался символичен до содрогания» [16; 50 – 51].

Временные и смысловые экстраполяции русского бунта на современную почву вызвали мнение о том, что России следует опасаться Пугачева с университетским образованием, ибо он сможет довести бунт до победы, а перед Европой закамуфлировать суть происходящего привычными для европейского слуха понятиями. Так и случилось. Объявив русский бунт социалистической революцией, В. И. Ленин посеял смущение в головах европейских прогрессистов. По сути дела Октябрьская революция явилась первым в русской истории победившим бунтом, поэтому и «масштабы разрушения были более впечатляющими, чем, скажем, после пугачевской или разинской войны». Россия в 1917 году переживала «пугачевщину», но «пугачевщину» особого рода [46; 163, 72, 107].

На исходе XX столетия некоторыми историками был сформулирован, казалось бы, крамольно звучащий вопрос: возможен ли русский бунт сегодня, в наше время? Ответ на него, разумеется, представляет исключительную научную важность и актуальность. Впрочем, не только научную. «В конце 80-х – начале 90-х годов мы стали свидетелями целого ряда бунтарских всплесков... Так что “бессмысленный” бунт в конце XX века мы видели» [45; 142].

Заметим, что такая постановка проблемы имеет под собой почву. Допуская, что современные мироощущение и мировосприятие людей сохраняют явственные слепки своего родового прошлого, можно предполагать, что покушение на исторически транслируемые ценности способно привести в действие стихийную энергию масс, спровоцировав бунт. Что ж, очень может быть. Переходное состояние общества нередко пробуждает к жизни «демонические» силы традиционализма, использующие бунт в качестве защитного механизма. В любом случае следует признать, что и сегодня гипотетический грозный призрак русского бунта – это атавизм традиционной культуры, с которой он связан нерасторжимым «браком», и, если он возможен, значит, «выдавить по капле» из себя свое традиционное прошлое российскому обществу все еще не удалось.

Попутно обратим внимание на то, что ученые, приводя многочисленные примеры, дружно фиксируют стихийно-погромную и в этом отношении «бессмысленную» природу русского бунта. Взгляд, как мы знаем, очень распространенный. Удивительно, но некоторые современники знаменитых русских бунтов были по отношению к ним в чем-то прозорливее и справедливее сегодняшних авторов. Например, немецкий демократ XVIII века И. Г. Зейме писал: «Бунт означает сопротивление, а восстание – силу и решимость идти прямым путем. Следовательно, и то и другое может быть проявлением прекрасных мужественных добродетелей. Лишь обстоятельства клеймят их позором» [40; 593]. Увы, за истекшие с тех пор два с лишним столетия мало кто смог подняться до подобной «симпатизирующей» оценки.

Полагаем, что критические характеристики русского бунта опираются на прочный фундамент европейских прогрессистских учений. Понять такую позицию несложно. Она a priori признает благодетельность для России общеевропейского пути развития, а

Поскольку бунт препятствовал прогрессу, он воспринимался и воспринимается до сих пор как историческое зло. Поэтому рассматриваются преимущественно его разрушительные стороны. Таким виделся бунт уже российской элите XVIII столетия, зараженной вирусом «западнизма». Вирусом этим охвачено и современное интеллектуальное сообщество, симпатизирующее культурным ценностям Запада.

Не станем оспаривать прогрессивность вестернизации, ибо это уведет нас в область давних споров западников и славянофилов. Попытаемся «всего лишь» понять, какое смысловое содержание вкладывается сегодня в понятие прогресса. Согласно словарному определению, прогресс – это «тип развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному. Понятие прогресса применимо и к исследованию общественной жизни. В основе общественного прогресса лежат многообразные потребности человека, а его движущей силой является творческая деятельность человека. Важнейшим критерием прогресса в обществе выступает свобода человека, качество его жизни, гуманность общественных отношений» [41; 200].

Однако такие определения порождают множество вопросов. Например: что такое «низшее» и «высшее» применительно к истории человечества, каковы их критерии? Что означает «более» или «менее» совершенное? Как надо понимать «свободу», «гуманность» и т. д. и т. п.? Не секрет, что в большинстве случаев ответы предполагаются в границах европоцентристского видения истории, отстаивающего превосходство ценностей западного культурного ареала, что вызывало обоснованные возражения уже у мыслителей прошлого; не согласны с подобными резонами и многие сегодняшние исследователи.

Недостаточность предлагаемых формулировок и проблематичность их перенесения на русскую почву издавна побуждали ученых мир ставить вопрос о степени «европейскости» России. Вполне привычным сегодня выглядит утверждение «Россия – Евразия». Предлагают даже новое слово – «Азиопа», с большим акцентом на азиатской сущности русской культуры. Одним словом, в кругу мыслителей-интеллектуалов нет единства в трактовке вопроса о глубинной сущности русской культуры. Поэтому вызывает недоумение общая односторонность подходов к изучению такого фундаментального феномена отечественного культурно-исторического процесса, как русский бунт.

Подобный взгляд – несомненное отступление от основополагающего требования принципа историзма: исследовать явление в системе категорий изучаемой эпохи. На языке же модернизации (европеизации) бунт не прочитывается. Он всегда будет казаться нелепицей, случайностью. Вспомним, как А. С. Пушкин устами Петруши Гринева сформулировал знаменитое хрестоматийное определение: «Не приведи бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».

Сказал, как припечатал, и на века русский бунт остался в качестве устрашающего жупела. Но не стоит забывать, что пушкинская прозорливость в основе своей имела все же социальную подоплеку. Прав был патриарх советской историографии М. Н. Покровский, оспаривая традиционную характеристику и призывая покончить «с дворянской легендой о бессмысленном бунте». Тем не менее решительные призывы ученого и указания на то, что «Пушкин как историк старше своего поколения», а потому «образцом ученого историка для него оставался Карамзин», «ультрамонархический историограф», не были услышаны [78; 13; 79; 5 – 6].

Отсюда проистекает и общая негативная односторонность при изучении «бунташных» страниц русской истории на протяжении многих десятилетий. А ведь русский бунт, стремящийся охранить ценности традиционной культуры, навеянные и возвращенные опытом прошлых поколений, выстрадавшие миллионами людей, апробированные ходом истории, – русский бунт должен изучаться на родном для себя языке. Именно поэтому ответы на порождаемые научной мыслью исследовательские запросы можно найти и быстрее и верней в собственном культурном наследии.

Например, ключевая для нашей работы констатация полярности традиций и инноваций указывает дорогу в мир народной смеховой культуры, с характерным для нее антиповедением, выворачиванием мира «наизнанку», его «раздвоением». «Вступавшая в новую эпоху культура с хохотом расставалась с прошлым», – не без доли

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru афористичность заметил об аналогичном процессе в европейском средневековье А. Я. Гуревич [24; 284]. Смех в этих условиях являлся своеобразной психотерапией, снимал накопившийся в обществе эмоциональный заряд, восстанавливал психологическое равновесие и ликвидировал душевный дисбаланс. Впрочем, иногда сила энергетического напряжения оказывалась столь великой, что обычной психотерапии было уже недостаточно. Тогда карнавальный смех неизбежно «тянул» за собой смех бунтовской, и признание этого обстоятельства позволяет по-новому взглянуть на русский бунт. Можно даже сказать, что смех и бунт связаны между собой, так как выполняют похожие функции. Как и смех, бунт должен был обнаруживать правду, стремиться к ней, защищать ее, вскрывая под внешним лоском мира господ творимое ими зло.

Напряженно переживаемое простонародьем изменение привычного в условиях бунта зачастую трансформировалось в элементы карнавального характера, когда на поверхность выходили традиции народной смеховой культуры. Еще более существенно, что в ситуации «оспаривания» народный монархизм распространялся и на игровой мир традиционной культуры. Речь идет о так называемой «игре в царя», в ходе которой на сакрализованном пространстве Руси/России массы заражались обаянием самозванческой харизмы [33]. Отметим, кстати, что такие игры достаточно широко известны в культурной истории страны. Участниками «игры в царей» были и знатные бояре (например, князя Шаховские в 1620 году), да и сами цари (Иван Грозный, Петр I). «Формы раздвоения смехового мира очень разнообразны. Одна из них – появление смеховых двойников... Они похожи друг на друга, делают одно и то же, претерпевают сходные бедствия. Они неразлучны. По существу, это один персонаж в двух лицах» [56; 383].

Народная традиция устанавливала «играющим» правило – ключевой смысл «игры»: «игровой царь» должен быть похож на свой реальный прототип. Царь в этой игре, с одной стороны, не более чем своеобразный символ, но в то же время и сакральный образ, заданный фольклорной культурой. Через «игру в царя» русский бунт прочно связывался с народным смехом. «Игра» развивалась по строгим канонам игрового пространства: выборы «царя» и всенародное признание, почет и знаки уважения, присяга на верность; определение «мишени», а затем – царская гроза, угрозы и наказания вероотступников; всенародное развенчание, брань и побои, осмеяние и т. п.

Обратимся к известной «игре в царя» крестьян тверского помещика Н. Б. Пушкина, происходившей в 1666 году. Здесь мы сталкиваемся с одним из проявлений народных масленичных ряжений, и этот смысл «игры» не мог быть непонятен для следствия. Тем не менее вчитаемся и вдумаемся в содержание приговора: самозванные «атаманишко» и «воеводиш-ко» поплатились членовредительством («отсечь у них у правых рук по два перста»), «да их же и которые их водили под руки бить кнутом нещадно и сослать их с женами и с детьми в Сибирь на пашню», носивших фаты и лукошки бить кнутом же, а всех остальных участников процессии «опричь малых ребят, которые в 10 лет и меньше бить батоги нещадно, что в им и иным на них смотря неповадно было впредь так воровать» [83; 62].

Что же могло так напугать власть, чтобы вслед, казалось бы, безобидному дурачеству рядовых крестьян последовали – даже по меркам сурового XVII столетия – столь жестокие наказания? Полагаем, дело в том, что в любом праздничном веселье есть элемент оспаривания или насмешки над официальными институтами, поэтому власть пыталась монополизировать право на праздник, шутовство, отнять его у народа, а следовательно, ввести праздничные забавы в строго регламентированное русло, тем самым сняв момент напряженности и снизив накал оппозиционности. Поэтому невозможно «упрекнуть новую династию в гипертрофированном страхе, когда в каждом пьяном выкрике кабацких завсегдатаев ей мерещилось покушение на монахов венец... Ведь Романовы, в отличие от нас, воспринимали и имели все основания воспринимать самозванство как опасность реальную, осязаемую... “Сойдемся вместе, выберем царя!” – угарно шумели в кабаках, и это было страшно: в самом деле могли сойтись и выбрать!» [3; 47].

Сказанное помогает понять, что для современников непосредственная смысловая связь фольклорной «игры в царя» с русскими бунтами, становившимися «подмостками» для проявления незаурядных «актерских» качеств народных царей-самозванцев, казалась вполне очевидной. В этом их убеждал весь ход русской истории.

Обращаясь к историографическому наследию, нередко встречаем утверждения об отсутствии каких-либо традиций отечественного бунтарства, поскольку бунт всегда

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru стихиен. Изучение коллективного поведения породило целое научное направление – психологию толпы. Стихия прочно отождествилась с понятиями хаоса, насилия и разрушения. Такая точка зрения стала привычной для науки, «а потому – чисто психологически – самоочевидной. Но в этом – ловушка, поскольку исследователь оказывается во власти иллюзии, полагая, что оперирует чем-то уже доказанным, упуская из виду, что вопрос о природе стихийности крестьянских движений, о ее качественной характеристике еще не ставился историографией», – писала почти четверть века тому назад З. К. Янель [144; 88]. С тех пор научное изучение стихийности не слишком продвинулось вперед.

Но в том-то и дело, что русский бунт отнюдь не стихия и его рождение не случайно. Бунт является порождением системного кризиса, продуктом традиционной культуры, находящейся в поиске идентичности. Бунт – это защитный механизм традиционализма, проводник традиционных ценностей. В ходе бунта повстанцы стремились реанимировать хозяйственные, социальные, государственные и иные порядки и отношения, которые, будучи в их представлениях единственно справедливыми, существовали, как казалось, испокон веков. Следовательно, стихийность бунта заключается лишь в том, что он каждый раз кажется неожиданным. Но так только кажется.

Представляя ход и сущность российской модернизации как последовательное чередование циклов реформ/контрреформ, можно обнаружить смысловую подоплеку рассматриваемых тенденций отечественной истории XVII – XVIII веков. Образно говоря, модернизация, обращаясь к реформам и навязывая обществу новые ценности, открывает предохранительный клапан традиционализма, выпуская наружу русский бунт. И так каждый раз. Всякое новое нажатие (реформаторский виток модернизации) приводит к бунту. В таком смысле явление бунта следует признать закономерным для типологически близких ситуаций переходных эпох. Новое обращение к реформам в духе европеизма приводит к русскому бунту. В этом, кстати, коренится одна из возможностей проявления бунтарских настроений и действий в сегодняшней России. Контрреформы же, как часть модернизации, это синтез культурных ценностей, когда инновации незаметно проникают в «тело» традиционной культуры и осмысливаются как наследственные.

В предлагаемой познавательной проекции закономерным выглядит не только происхождение, но и содержание русского бунта. Например, стихийные формы повстанческих объединений, о которых пишут практически все исследователи, должны представляться в категориях не стихийности, а традиционности. Стихийны они исключительно в том смысле, что являются продуктом исторического опыта. Но именно опыт, как известно, считается критерием истины, уроками истории человечество пытается измерять свой путь развития. Следовательно, «стихийность» бунта никак не может быть поставлена ему в вину, и даже наоборот, ибо в ходе своего развития человечество проводит своеобразную селекцию, отбирая лучшие образцы и беря их на вооружение. «Поэтому при активной европеизации именно наследие старой Руси продолжало оставаться подлинным основанием национальной жизни» [48; 44].

Стоит вспомнить также рассуждения об особом «алгоритме крестьянского бунта» в России, т. е. о том, что все они проходили «почти по одному сценарию». На первой стадии бунты «имели подчеркнутый характер легитимности». Когда бунты приближались к своему апогею, «крестьяне переходили к прямому насилию, а затем, если дело заходило еще дальше, следовали жестокости и зверства... По мере разрастания бунта таких случаев становилось все больше и больше». После того как повстанцы удовлетворяли свою жажду крови, наступали «спад, апатия и усталость» [58; 326 – 327]. Факт наличия бунтовского алгоритма («логики протеста») едва ли подлежит сомнению.

Попытаемся дать новое обобщенное определение русского бунта. Русский бунт – экстраординарный, но закономерный феномен отечественной истории, обнаруживавший себя наиболее интенсивно в XVII – XVIII веках. Бунты являлись реакцией традиционной культуры на кризис идентичности, вызванный не столько изъянами существовавшей системы, сколько проникавшими извне инновациями европейского типа, а значит, в большей части случаев они не носили наступательного характера. С внешней стороны бунт выглядел как неудержимая, сметающая все на своем пути стихия, разгул насилия и страстей. Однако внутренние, культурные основания бунта позволяют увидеть его как активизацию архаичных моделей коллективного бессознательного, которые связывали бунт с ритуальным символизмом прошлого, народной обрядовостью, миром смеховой культуры и т. п. Русский бунт становился

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru ответом традиционализма на вызов модернизации, его насилие носило вынужденный характер, являясь способом защиты традиционных ценностей от насильственного разрушения привычного уклада жизни. В таком контексте эффективность бунта следует оценивать по тому, насколько бунтовщикам удавалось донести до правящих кругов сигнал тревоги об общем бедствии и таким образом затормозить губительный для традиционализма процесс модернизации. Следовательно, русский бунт необходимо рассматривать как способ поиска традиционной культурой своей идентичности. Но поиск этот проявлялся не только в общественном, но и в индивидуальном масштабе, ибо кризис культурной идентичности проецировался также на личностный уровень. И если пугачевский бунт стал наиболее ярким усилием традиционной культуры обрести свою идентичность, то в строках биографии Пугачева «прочитываются» искания отдельной незаурядной личности.

В условиях социокультурного противостояния традиционализма и модернизации, когда привычный мир человека рушился буквально на глазах, идеализируемая простонародьем старина становилась символом спокойствия и благополучия. Мир был на пороге катастрофы, это ощущалось повсеместно. Отбиваясь от натиска инноваций, традиционная культура искала мощное «оружие», способное спасти ее ценности. Всеобщее эмоциональное брожение грозило в любую минуту выплеснуться на поверхность общественной жизни мутной пеной грозного русского бунта. Недоставало предводителя, хотя почва для появления «спасителя» уже готовилась. Избрав бунт способом защиты, традиционная культура пыталась также найти индивидуальные формы своего спасения от угрозы тотального распада привычных структур повседневности. Возникла необходимость в человеке, который не просто смог бы встать во главе общественного процесса, но, слившись с массами, выразить их интересы и повести за собой. Это должен был быть великолепный знаток социальной психологии, какие не часто появляются на историческом горизонте. Таким человеком оказался Емельян Иванович Пугачев, и этот выбор истории едва ли можно назвать случайным. Переходная по своей культурной сути эпоха неизбежно должна была породить и соответствующую времени переходную личность, могущую выразить назревшую историческую необходимость, но сделать это по-своему, наложить на нее существенный личностный отпечаток.

Хотя Пугачев не был первым «Петром III», как не был и последним, именно его имя сохранилось в общественной культурно-языковой памяти русского народа. Необходимо понять, как мог простой казак решиться принять имя покойного государя Петра III и почему среди всех многочисленных претендентов именно ему удалось наиболее достоверно «сыграть» роль «царя-батюшки», «докричаться до народа». Для этого имелись весомые предпосылки, заключавшиеся в личности самого Пугачева, наличие у него особых харизматических задатков, отсутствовавших у прочих претендентов на это высокое имя. В нем прочно укоренились базисные черты православного человека («греческого исповедания кафолической веры»), чуткая боль к народным страданиям («жаль-де мне очень беднаго простаго народа») и осознание необходимости изменить страну, вернуть ее в традиционное русло («оставить казаков на таком основании, как деды и отцы войска Донскаго служили») [87; 100; 36; 56, 59]. К этому добавлялась готовность использовать новые средства для достижения цели, завуалировав их под традиционной «оболочкой». Не последнюю роль играла и безусловная психическая неординарность Пугачева, наличие высокой, как правило не соответствовавшей реальному статусу, самооценки.

Е. И. Пугачев. Портрет, приложенный А. С. Пушкиным к изданию «Истории Пугачева» (1834).

На «входе» мы застаем Пугачева простым донским казаком, несомненно, привыкшим к соответствующим психическим установкам, стереотипам и образу жизни, о которых еще в середине XVII века Григорий Котошихин составил характерное описание: «И дана им на Дону жить воля своя, и начальных людей меж себя атаманов и иных избирают, и судятца во всяких делах по своей воле, а не по царскому указу... а ежели в им воли своей не было, и они в на Дону служить и послушны быть не учили...» [51; 118 – 119].

Отражением объективной реальности был и психологический склад донских казаков. В основе их мировоззрения лежал типичный средневековый провиденциализм [34], но уже сочетавшийся с заметно выраженными чертами рационализма Нового времени. Все это позволяло казакам высоко оценивать свое место на фоне социально-властной

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru иерархии, существовавшей в России. Поэтому важной чертой казачьего менталитета[35] было стремление сравняться с дворянами, стать с ними на один уровень. Казаки гордились не только тем, что над ними нет господ, но и тем, что они выше тяглых людей. Казаки на самом деле отождествляли свою жизнь с «волей». К тому же были они людьми, обладавшими воинской выучкой и широким кругозором.

Поскольку детство и юность Пугачева – время, когда формируется личная идентичность, – прошли на Дону, в родной и привычной атмосфере, он усваивал типичные черты характера донских казаков: патриотизм, монархизм, православная религиозность при склонности к дохристианским суевериям, ненависть к врагу, но в то же время – полная терпимость в своей среде к людям нерусской этнической и нехристианской религиозной принадлежности. Как и всем казакам, Пугачеву прививалась глубокая преданность войсковому братству, любовь к свободе и демократичность, беззаветная храбрость и стойкость в бою, умение терпеливо переносить трудности и лишения. Казаков всегда отличали высокая социальная мобильность, легкость на подъем, привычка к активным действиям. Эту выносливость и несгибаемость воли Пугачев пронес через всю свою жизнь.

Донской казак. Гравюра (начало XIX века).

Вероятно, Пугачев, как и его товарищи-казаки, рос в искреннем убеждении, что историческая роль казачества заключается в защите православной христианской веры, Российского государства, его государя и народа от «бусурман» и «изменников». Но выработанные вековым опытом каноны казачьего мышления и поведения не могли соответствовать веяниям переходной эпохи, с неизбежностью подвергавшей их эрозии. Родное и привычное к середине XVIII века, по существу, уже переставало быть тем же самым или похожим на прежнее. Наступление государства на права вольного казачества разрушало старинный «идеал гармонии», что становилось препятствием для возникновения свойственных прежним поколениям казаков четких, фиксированных установок, органично вписанных в пространство традиционной культуры. Поэтому Пугачев полностью не мог ощущать себя частью групповой идентичности. У него с неизбежностью должны были формироваться «диффузные» установки как бессознательная психическая реакция на привычные, но вдруг изменившиеся реалии, которые становилось невозможно идентифицировать. Ему неоднократно доводилось участливо выслушивать жалобы о том, как казаков «хотят обучать ныне по-гусарски и всяким регулярным военным подвигам... У нас-де много уже и переменено, старшин-де у нас уже нет, а названы вместо оных ротмистры» [31; 133]. Он узнавал от собеседников о великих обидах казаков: «Наши командиры нас-де бьют и гоняют, жалованье наше затаивают, – и тому уже шесть лет, государыня-де наше жалованье жалует, а они, незнамо куда, употребляют. И сколько тепереча уже перебито и померло наших козаков! А кто-де только о жалованье станет говорить, то сажает под караул без государева указа и в ссылки разсылают, и государыня-де о том не знает. И своих командиров выбирают: у нас-де прежде сего не было пятидесятников, а теперь-де и оные завелись; так мы-де теперь и опасны, – прежде-де в сотне-та был один сотник, а ныне-де все новое» [89; 129].

Знакомство, и не только по рассказам, с жизненными тяготами родного брата-казака провоцировало колебания психики, эмоциональную неустойчивость, раздражение. Реальное бытие, а не только фольклорные утопии становились его учителями и наставниками.

Все это способствовало тому, что жизнь Пугачева изобиловала многочисленными метаморфозами, несвойственными обычному рядовому простецу, принадлежавшему традиционному обществу. В то время как эпоха настаивала на закреплении за человеком определенного ролевого статуса, Пугачеву неоднократно приходилось его менять. За свою жизнь он успел сыграть несколько «ролей»: начав с рядового казака и побывав казачьим сотником, беглецом, «старообрядцем», «купцом», в конце концов решил примерить на себя «наряд» императора. Такая частая перемена социальной «одежды» являлась несомненным доказательством системного кризиса общества, проявившегося на индивидуальном уровне как поиск личной идентичности.

С. Т. Разин. Гравюра резцом (1827).

Формирование харизмы Пугачева происходило на протяжении всей его жизни. Родился он около 1742 года в казачьей семье в Зимовейской станице на Дону и до семнадцати лет жил «все при отце своем так, как и другия казачьи малолетки в праздности» [31; 132]. Но настолько уж, видимо, прихотливы капризы судьбы, что Пугачев и вождь мощного народного движения XVII века Разин оказались земляками. «И трудно представить, чтобы Е. И. Пугачев сызмальства не слыхал о своем знаменитом предшественнике, чье имя прочно вошло в фольклор, часто сливаясь с именем Ермака» [64; 282]. А услышав, очевидно, не раз завидовал его громкой славе, в мечтах возносился еще выше: уже не Разин, а он сам мысленно бросал своим «работничкам» знаменитый клич: «Сарынь на кичку». И хотя неизвестно, играли на Дону в «Стеньку Разина» или нет, такое предположение не лишено оснований. Как сообщают биографы Пугачева, с детства «он отличался смелым и решительным характером, выступал заводилой среди сверстников, верховодил ими», нередко «проявлял крутой нрав, строптивость, любил командовать» [14; 7]. Точь-в-точь как его выдающийся земляк, «малейшему знаку» которого «повиновались... и были ему верны, как если бы он был самым великим монархом в мире» [119; 366]. Однако в течение довольно продолжительного времени у Пугачева, от рождения имевшего деятельную натуру и взрывной темперамент, не было иных, кроме детских игр, выходов для своей энергии. Тем не менее уже в раннем возрасте он проявлял несомненное честолюбие, стремился обратить на себя внимание, стать лидером в реальной жизни, в отношениях с другими людьми. Вполне вероятно, что именно фольклорный образ Стеньки Разина на долгие годы стал тем идеалом, по которому Пугачев «измерял» каждый свой шаг. Эти обстоятельства можно рассматривать как источник возникновения и развития его высокой самооценки.

После смерти отца непоседливый, шаловливый мальчишка сразу повзрослел, стал мужчиной, превратился в самостоятельного казака со своим участком земли, в хозяина. В семнадцать лет он женился на казачьей дочери Софье Недюжевой и оказался главой семьи. Вскоре после свадьбы его призвали на службу «в прусской поход», а позже в 1769 – 1770 годах Пугачев воевал с турками и за храбрость был даже произведен в хорунжи, командовал казачьей сотней. Начиналась типичная для казака карьера. Дальнейший жизненный путь Пугачева, казалось, был предопределен традицией. Участие в заграничных походах существенно расширило его кругозор; несмотря на молодость, обогатило немалым жизненным опытом. Вернувшись домой со славой, он, несомненно, заслужил бы почет, став уважаемым на Дону казаком, к мнению которого все внимательно прислушиваются. Этим могли быть удовлетворены его лидерские амбиции, а личное счастье было бы обретено в семейном благополучии (он уже имел троих детей). Со временем обзавелся бы имуществом.

Так могло быть прежде, но не произошло сейчас. Смятение эпохи сказалось и на свойствах характера будущего народного героя. «В Пугачеве сильно представлен беспокойный, бродяжий, пылкий дух и, сверх того, артистический дар, склонность к игре, авантюре. Пугачев играл великую отчаянную трагическую игру, где ставка была простая: жизнь», – заметил Н. Я. Эйдельман. Поэтому царская служба ему быстро надоела, «захотелось воли, да тут еще “весьма заболел” – “гнили руки и ноги”, чуть не помер. Шел 1771 год. До начала великой крестьянской войны остается два года с небольшим; но будущие участники и завтрашний вождь, конечно, и во сне не могли ничего подобного вообразить... Если в одолела болезнь Пугачева – как знать, нашелся бы в ту же пору равный ему “зажи-гальщик”? А если в сразу не объявился, хотя бы несколькими годами позже, – неизвестно, что произошло бы за этот срок; возможно, многие пласты истории легли бы не так, в ином виде, и восстание тогда задержалось бы или совсем не началось. Вот сколь важной была для судеб империи хворость малозаметного казака» [139; 99].

Увы, но не дано нам заглянуть за «кулисы» истории, узнать, что было бы, если... Остаются только одни вопросы, требующие скрупулезного поиска ответов и исторических смыслов.

Высокая личностная установка заставляла Пугачева искать признание окружавших. В противном случае демонстрация великого предназначения теряла свой смысл, меняла знаки, превращаясь в фарс и заурядное хвастовство. Для понимания того, как реализовывалась пугачевская самооценка, симптоматичен эпизод, который произошел под Бендерами во время одного из военных походов. У Пугачева была, очевидно, хорошая сабля. Зная, что оружие дается «от государей в награждение за заслуги», Пугачев стал уверять сослуживцев, что «сабля ему пожалована потому, что он крестник государя Петра Перваго», хотя тот умер более чем за полтора десятилетия

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru до его появления на свет. «Слух сей пронесся между казаков и дошел до полковника Ефима Кутейникова, но, однако ж, не поставили ему сие слово в преступление, а только смеялись». Данный пример убеждает, что и на войне Пугачев стремился не быть в числе последних, «произвестъ в себе отличность от других» [95]. Он, как в детстве, пытался продемонстрировать свою «особость», выделиться из общей массы. Но пока был готов, хотя и с обидой, терпеть насмешливый хохот своих боевых товарищей.

Событие, которое, возможно, ускорило кризис личной идентичности, произошло во время Семилетней войны. Пугачева по приказу его командира подвергли телесному наказанию. Позднее он объяснял, что «состоят-де на спине у него знаки... от того, что он, Пугачев, жестоко бит был казацкими плетьюми во время бывшей Прусской войны, под местечком Кривиллы, по приказанию казачьего полковника Ильи Денисова, за потеряние им, Пугачевым, его, Денисова, собственной лошади» [36; 241].

Несомненно, эта жестокость, воспринятая как несправедливость, запала в душу горячего и вольнолюбивого казака. Произошло столкновение двух установок – представлений Пугачева о самом себе, его ожиданий, честолюбивых помыслов с суровой реальностью, мало совпадавшей с высокой самооценкой. Не будь ее, возможно, побои (кстати, не последние в жизни) не произвели бы большого впечатления на Пугачева, как это было, например, с яицким казаком Иваном Пономаревым (Самодуровым), который признавался на допросе, что «однажды на Яике сечен же плетьюми, но за какую вину – не упомяну» [89; 120]. Беспамятство Пономарева вполне вписывается в русскую традицию, в соответствии с которой наказание, как бы жестоко оно ни было, принято называть «царской милостью, и, отбив его, они [наказанные. – В. М.] благодарят за него царя, судью и господина, кланяясь до земли...» [99; 326]. Потому-то простой казак «не помнит», за что его секли, иное дело – будущий «всероссийский император».

Наказание палками. Гравюра из книги Адама Олеария «Описание путешествия в Московию...» (XVII век).

Наказание Пугачева на языке традиционной культуры могло быть «прочитано» как символическое понижение и даже унижение «высокого», тем более что на теле остались следы, заметные еще накануне его объявления на Яике. Тело жертвы само превратилось в знак, стало носителем определенной информации.

Вполне очевидно, что полученная Пугачевым психологическая травма не исчезла бесследно, а жестко определила всю его дальнейшую жизнь, породив в нем страх перед властью, может быть даже панический, но вместе с тем и острую, болезненную жажду власти.

Самовольно оставив службу и не успев окончательно восстановиться после болезни, Пугачев ввязывается в авантюру своего родственника Симона Павлова: перевозит его с казаками на другую сторону Дона, хотя знает, что «по установлению положена казнь таковым, кто дерзнет переправлять кого за Дон». Все же намерения беглецов пока еще вызывают у Пугачева неприкрытый испуг: «Что вы его вздумали, беду и со мною делаете, ни равно будет погоня, так по поимке и меня свяжут, в тех мыслях якобы вас подговорил, а я в том безвинно отвечать принужден буду». «Для того я и убежал, что страшился держать ответ перед властью», – сообщал он позднее на допросе [30; 109]. Верноподданный ее императорского величества в одночасье стал вне закона. Помогая зятю бежать за Дон, он совершал сакральный разрыв с традицией, нарушал ее культурные законы. Началась не менее захватывающая история многочисленных побегов и арестов, арестов и побегов, а в перерывах – интригующих странствий.

В конце 1771 года Пугачев уже на Северном Кавказе, где записался в Терское казачье войско, ибо «тамошня-де жители странноприимчивы». Оказавшись на Тереке, он и там заявляет свое превосходство, пытаясь обозначить лидирующее положение. На сходе казаков-новоселов его избрали ходоком в Петербург, чтобы добиться от Военной коллегии выдачи денежного жалованья и провианта. Однако в феврале 1772 года последовал арест в Моздоке, вскоре после которого он вновь бежал. Весной и летом того же года Пугачев скитался по старообрядческим селениям под Черниговом и Гомелем, затем решил вернуться на Русь. Получение нового паспорта на Добрянском пограничном форпосте фактически открывало ему возможность начать

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru новую жизнь с нуля в Казанской губернии, на реке Иргизе. Но не к спокойствию стремилась его честолюбивая душа. В манере Пугачева явно прослеживался определенный типаж «российского скитальца, которым столь интересовались лучшие писатели, скитальца-интеллигента, бродяги-мужика» [139; 101].

Тюремные мытарства Пугачева, новые побои, побеги и постоянные поиски пристанища не только закаляли тело с духом, но и объективно работали на снижение его собственной самооценки, а главное – лишали возможных почитателей. Самооценка не дополнялась ожидаемой оценкой со стороны. Кризис личной идентичности был несомненен, и поиск ее никак не мог привести к цели. Поведение Пугачева вызывало подозрения властей, не польский ли он «выходец и шпион, не солдат ли беглой или казак, или барской человек?» [97]. Подозрения эти могли быть вполне обоснованными, так как бесконечная смена «ролей» Пугачевым не проходила бесследно. Он еще не привык убедительно и быстро «менять» вместе с биографией и поведение, а потому казался «подозрительным» человеком.

Смена имени, роли, внешнего вида в те времена воспринималась как ритуализированное клятвopеcтyпленне. Это было отречение от пращуров, крещеного имени, святых покровителей, ведь статус человека, согласно представлениям той эпохи, не являлся произвольной конструкцией: он предопределен судьбой, предначертан свыше. Поэтому попытки его изменить должны были рассматриваться как кощунственные. Человек, менявший имя, внешний вид, поведение, тем самым фактически заявлял о разрыве со своим прошлым, разрывал все связи со священным миром усопших родственников, покидал пределы сакрального пространства. В глазах современников он оказывался самозванцем, приобщенным к миру иному. Соответственно решиться на такой шаг мог далеко не каждый. Пугачев был одним из немногих. Нарочитое пренебрежение ментальными «условностями» традиций, словно в зеркале, отражало его новые (не столь жесткие) психические установки. То, что казалось кощунством для старины, становилось возможным сегодня, когда под натиском инноваций мистическое вето традиционной культуры ощущалось уже не так строго.

Вся беспокойная жизнь готовила его к святотатственному апофеозу – вживанию в сакральный образ императора Петра III. Маршруты Пугачева будто писаны заранее каким-то незримым роком. Он всякий раз оказывался в районах сильных оппозиционных брожений, сталкивался с людьми, недовольными существовавшими порядками: на Дону ли, на Тереке, в Таганроге или в раскольничьих скитах – везде бурлило море народного возмущения, социокультурная природа которого, разумеется, могла и не осознаваться простонародьем. Путь его «проходил через места, еще недавно бывшие свидетелями выступлений первых самозванцев» под именем Петра III. «Нельзя забывать, что в этих малороссийских и южнорусских землях появлению первых самозванцев предшествовали упорные толки в народе, будто Петр III жив и разъезжает по округе. Трудно предположить, чтобы все это не отозвалось в душе Пугачева и не отложилось в его памяти... Роль “третьего императора” была подсказана Пугачеву самой жизнью» [64; 320].

Пугачев услышал о самозванцах, и высокая самооценка нашла для себя новый подходящий ориентир: уже не образ «еретика и разбойника» Разина, а имя императора Петра III манило его, разжигало честолюбивые помыслы. Поэтому, узнав, что какой-то беглый солдат увидел в нем «подобие покойного государя Петра Третьяго», Пугачев, «обрадуясь сему случаю, утвердился принять на себя высокое название» [30; 111; 36; 109]. Жажда признания предполагала взаимность со стороны почитателей. Но пока Пугачев – все еще изгой, вынужденный находиться в бегах, скрываться, рассказывать о себе разного рода небылицы.

Попав осенью 1772 года на Яик, где только что отгремели раскаты казачьего восстания и свежа была память о нем, Пугачев сумел понять: судьба дарит ему шанс. Хотя карательному отряду генерала Фреймана удалось жестоко подавить бунт и уничтожить казачьи вольности, Яик находился в стадии грозового ожидания, готовности продолжить борьбу за восстановление своих былых привилегий. К тому же «в то время на Яике слышно было, что в Царицыне явился какой-то царь». Поселившись среди заволжских старообрядцев, побывав на Иргизе и в Яицком городке, Пугачев узнал подробности недавно подавленного мятежа и стал подговаривать яицких казаков к побегу на земли Закубанья: «Не лутче ль вам вытти с Яику в турецкую область, на Лобу реку, а на выход я вам дам денег... А, по приходе за-границу, встретит всех вас с радостию турецкой паша, и, есть ли де придет еще нужда в деньгах войску на проход, то паша даст еще, хотя и до пяти миллионов рублей» [89; 116].

Но за Кубанью лежали земли турецкие, а следовательно, заповедные для православного люда, земли иноверные, неблагочестивые, на которые не распространялась божественная благодать. Поэтому пугачевский призыв к побегу за Кубань – это не просто государственное преступление (измена), но и святотатственное «дьявольское искушение», которое провоцировало запретный выход из сакрального пространства святой Руси. И это было страшно для традиционного сознания. Но там, где обычный простолюдник прошлого должен был остановиться в благоговейном трепете, Пугачев, нарушая культурное табу, шел дальше, «маскируясь» в традиционные «одежки». Он не случайно напомнил собеседникам, что подобным образом в свое время поступили другие бунтовщики – соратники К. А. Булавина казаки-некрасовцы, ставшие объектом народной идеализации («город Игната»). От предложения Пугачева у казаков захватывало дух. Помощь, которую он предлагал, и сам способ спасения не могли исходить от обычного купца, каким он себя представил. Это вызывало не только естественное любопытство заинтригованных казаков: «что ты подлинно за человек», но и боязнь «беда», из-за чего в тот раз «въдаль любопытствовать» они не стали [89; 116].

Жребий был брошен, высокая самооценка потребовала от Пугачева адекватных шагов для ее реализации. Тогда же, в ноябре 1772 года, будущий великий вождь бунтовщиков предпринял и первую попытку «объявить» свое подлинное «высокое происхождение». «Вот, слушай, Денис Степаныч, – говорил он Д. С. Пьянову, – хоть поведешь ты казакам, хоть не поведешь, как хочешь, только знай, что я государь Петр Третий». И оной Пьянов изумился, а потом, помолчав немного, спросил: «Ну, коли ты государь, так расскажи-де мне, где ты странствовал». И он, Емелька, говорил: «Меня пришла гвардия и взяла под караул, а капитан Маслов и отпустил, и я-де ходил в Польше, в Цареграде, во Египте, а оттоль пришел к вам на Яик» [36; 147].

Однако в этот раз наметившееся было «воплощение» в высокой роли развития не получило. По поступившему к властям доносу Пугачева арестовали, 4 января 1773 года доставили в Казань и после допроса заключили в тюрьму. В связи с обвинением в государственной измене вопрос о нем рассматривался в Петербурге. По приговору, утвержденному Екатериной II, Пугачев был осужден на пожизненные каторжные работы в зауральский город Пелым. Приговор прибыл в Казань 1 июня 1773 года, через три дня после бегства арестанта. Даже находясь в тюремном остроге, Пугачев сумел внушить к себе доверие окружающих (колодники и солдаты почитали его «добрым человеком») и организовал удачный побег.

Розыски беглеца успехом не увенчались. Сбежав, он уже намеренно направился поближе к яицким казакам, укрывался в Таловом уме и глухих степных хуторах под Яицким городком. Встретился там с ветеранами восстания 1772 года И. Н. Зарубиным-Чикой, М. Г. Шигаевым, Т. Г. Мясниковым, Д. К. Караваевым, М. А. Кожевниковым и другими, которые вели продолжительные разговоры об яицких бедах. Пугачев принимал в них активное участие не только в роли слушателя, нередко сам задавал заинтересованные вопросы: «Какия вам, казакам, есть обиды и какие налоги?» Горько упрекал собеседников: «Как-де вам, яицким казакам, не стыдно, что вы терпите такое притеснение в ваших привилегиях!» [89; 128, 116]. И наконец, объявил себя «третьим императором». Напряженность собственной веры придала его словам громадную силу внушения. В ответ на появление «истинного» царя в сентябре 1773 года на Яике вспыхивает пугачевский бунт.

Переходная эпоха от традиционализма к индустриальному обществу завершилась. Общественно-политический и, главное, социокультурный кризис продемонстрировали утрату социумом своей идентичности. В такой ситуации очевидный крах традиционного трафарета неизбежно приводил к поиску «истинного царя». Надежды на скорое пришествие «избавителя» охватили самые широкие слои населения. В России XVIII столетия бытование слухов о «возвращающихся избавителях» связывалось с утопиями о «золотом веке» в прошлом и готовило почву для появления «истинных» царей-самозванцев.

Имя Петра III в народной монархической мифологии: от истоков к пугачевскому апогею
Российская история и прежде на недостаток самозванных монархов пожаловаться не могла, но даже на этом пестром фоне вторая половина XVIII века стала временем подлинного самозванческого ажиотажа. Как показывают подсчеты, в России с 1601 по 1800 год известны 147 лжемонархов; из них на протяжении XVII столетия действовало около 30 самозванцев. Следовательно, на XVIII век приходится порядка

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
120 человек, в том числе 60 – заявили о себе в период с 1762 по 1800 год. Наибольшей популярностью пользовалось имя Петра III, которое в сознании социальных низов второй половины XVIII века прочно отождествилось с образом «истинного» царя-батюшки в его народном виде. Сегодня есть сведения о 23 претендентах на это имя, чему отчасти способствовали и некоторые факты биографии Петра III.

Родился будущий российский император 10/21 февраля 1728 года в немецком городе Киле. Его отцом был герцог Карл Фридрих Голштейн-Готторпский – правитель северогерманской земли Голштинии, матью – дочь Петра I Анна Петровна. Еще в детстве принц Карл Петер Ульрих был объявлен наследником шведского престола. Однако в начале 1742 года по требованию российской императрицы Елизаветы Петровны его привезли в Санкт-Петербург и, как единственного прямого потомка Петра Великого, провозгласили наследником русского трона. Юный герцог Голштейн-Готторпский, перейдя в православие, был наречен великим князем Петром Федоровичем.

В народном сознании идеализация Петра III «началась еще до его вступления на престол и, следовательно, до того, как он предпринял шаги, которые считаются причиной его популярности... Он был 19 лет официально назначенным наследником престола – цесаревичем, воцарения которого с нетерпением ожидали, на которого возлагали годами таившиеся надежды, приобретающие реальные формы в зависимости от социально-политической ситуации в стране» [135; 137 – 138].

Император Петр III. Гравюра резцом И. К. Тейхера (XVIII век).

В августе 1745 года императрица женила наследника на немецкой принцессе Софии Фредерике Августе, дочери князя Ангальт-Цербстского, состоявшего на военной службе у прусского короля. Приняв православие, принцесса Ангальт-Цербстская стала называться великой княгиней Екатериной Алексеевной. Вскоре между наследником и его женой установились весьма холодные и даже неприязненные отношения. Очевидно, и в них можно видеть зародыш будущего народного противопоставления царственных супругов, столь актуального для монархической мифологии второй половины XVIII столетия.

Цесаревна Анна Петровна. Меццотинто А. Ф. Зубова (с оригинала И. Г. Таннауера).

Когда 24 сентября 1754 года Екатерина родила сына Павла, при дворе поползли слухи, что настоящим отцом будущего императора является ее любовник граф Салтыков. Этим обстоятельством, в том числе, объясняются достаточно непростые взаимоотношения Петра III и Павла, впрочем, никак не повлиявшие на сложные переплетения сюжетных линий избавитель-ской легенды.

25 декабря 1761 года умерла императрица Елизавета Петровна. В этот же день к всеобщему сведению был издан манифест, в котором сообщалось, что российский престол перешел к Петру III «яко сущему наследнику по правам, преимуществам и узаконениям принадлежащий». Близкородственная связь Петра I, Елизаветы и Петра Федоровича была бесспорна и в дополнительных обоснованиях не нуждалась. И, отдавая дань «щедротам и милосердию» своей покойной предшественнице, Петр III в первом же манифесте обещал «во всем следовать стопам премудрого государя, деда нашего императора Петра Великого». Столь ко многому обязывавшее и сделанное в торжественной форме заявление должно было подчеркнуть не просто преемственность, но и хорошо понятную современникам дальнейшую ориентированность курса нового монарха.

Несколько месяцев пребывания у власти с наибольшей полнотой выявили противоречивость характера Петра III, его не только слабые и вызывавшие сожаление, но и сильные, привлекательные стороны. Очевидно, что предполагавшиеся реформы Петра III во многом опережали свое время. Приведем перечень только самых важных из них: освобождение дворян от несения обязательной государственной службы, передача дел по обвинению в государственных преступлениях из рук Тайной канцелярии в ведение единой правовой системы, закрепление принципа

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru веротерпимости при государственном контроле над церковью, включая экономические интересы высшего духовенства, не говоря о законодательных мерах пробуржуазного характера. Все это вполне вписывалось в политику так называемого «просвещенного абсолютизма», проводившуюся многими европейскими государствами в XVIII столетии. Петр Федорович и его ближайшие помощники не были здесь ни первыми, ни последними. Но для России многое, провозглашенное при нем, стало новацией, причем не всегда и не для всех приемлемой. Не столько даже сами законы, хотя в некоторых случаях и они тоже, сколько действия Петра III, озабоченного их исполнением, завязывали узлы напряженности, жертвой которых он в конце концов и оказался.

Императрица Елизавета Петровна. Гравюра резцом И. А. Соколова (1746).

28 июня 1762 года в результате дворцового переворота Петр III был свергнут с престола, а через несколько дней и убит заговорщиками.

События жизни Петра III, по-своему понятые простонародьем в условиях кризиса традиционной идентичности, сделали погибшего императора не только героем, но и «пленником» народной социальной утопии. Ученых давно уже интересовал важный вопрос, почему именно «третий император» стал объектом идеализации, какие реальные черты его деятельности, характера, намерений могли этому способствовать? Неоднократно предпринимались более или менее успешные попытки найти конструктивный ответ на этот вопрос. Было замечено, что выбор народной мифологии остановился на Петре III не случайно. Привлекательность его имени обуславливалась, в частности, незначительным временем пребывания на престоле (не успел разочаровать широкие слои населения), а также внезапными и таинственными обстоятельствами его отстранения от власти и смерти. Но, кроме того, речь шла об общей направленности политики императора, отдельные акты которой, действительные или вымышленные, истолковывались народом как «милостивые», улучшающие условия его существования.

Не стоит, однако, забывать, что далеко не всегда идеализация того или иного монарха массовой психологией напрямую становилась отражением его реальных качеств или действий. Речь могла идти не о точности зеркального отражения, а о символе монархической утопии. В этой связи подчеркнем, что имя «Петр III» не было для народа простой эмблемой или этикеткой. Такое представление вообще невозможно для мифологического мышления. Имя рассматривалось как существенная часть личности. Имеется в виду не столько рационально закрепленный и логически выверенный, сколько улавливаемый сугубо интуитивно образ. Поскольку каждый человек наделен именем как своеобразной знаковой аурой, имя Петра III провоцировало целый комплекс чувств, эмоций, настроений, надежд и представлений, связанных с народными монархическими ожиданиями, наполнялось особой сакральной силой. Именно поэтому в обстановке ощущавшегося массами скорого наступления «конца времен» Петр III – после долгих десятилетий царствования женщин и младенцев – казался фигурой вполне кредитоспособной. Он, несомненно, оценивался и как законный государь – внук Петра I, а значит, продолжатель, казалось бы, угасшей царской династии. Заметим, что ни Анна Ивановна, ни Елизавета, ни тем более Иван Антонович – предшественники «третьего императора» – похвастаться подобной родословной не могли.

Петр Великий. Меццотинто Б. Фогеля (XVIII век).

Еще более существенно, что имя-образ Петра III постепенно обрастало харизматическими чертами. Как известно, харизма отмечает своих «избранников» качествами, свидетельствующими об особом предназначении. Так было и на этот раз. В контексте монархической мифологии Петр III предстал как мученик за благо России и народа, сочетавший в себе мудрость и благочестие. И не столь уж было важно для утопических чаяний, насколько соответствовали друг другу реальный и идеальный образы. В такой ситуации «взять» имя Петра Федоровича уже означало воплотиться в его сакральном образе, на который наслаивался харизматический ореол правящей династии, подкреплявшийся признанием Божественного характера царской власти. И так считалось на протяжении многих столетий, пока

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
монархическая «картина мира» демонстрировала прочную стабильность.

Российская же модернизация целенаправленно конструировала новый имидж власти, которая рядилась в иные «одежды». Внешне это проявлялось, например, в изменении «титлатуры русского монарха, государственной символики (государственных регалий), церемониалов коронационных, траурных и прочих торжеств, церковного возгласия членов правящей фамилии. Фраза «великий государь, царь всея Великия и Малыя и Белья России самодержец» менялась на «Мы, Петр Первый, император и самодержец Всероссийский», титул «государыня царица и великая княгиня» – на «ее величество императрица» и т. д. В государственной символике, например в гербе, царская корона над двуглавым орлом была заменена короной имперской» [1; 115].

Трансформировались и другие аспекты сакрального лика власти. Так, еще во время коронации царя Федора Алексеевича «было объявлено, что принцип прямого наследования – второстепенное обоснование царской власти. Царь Федор короновался, прежде всего, по церковному закону и лишь затем – “по обычаю древних царей и великих князей российских”.

Новая формула сакрализации царской власти повторялась при коронации Федора трижды, а через несколько лет, при венчании его младших братьев Ивана и Петра – 5 раз!» [11; 52].

Но в этих-то внешних изменениях и коренился главный подвох с точки зрения традиционного сознания. Ведь отождествление вида и сущности, знака и его функции – характерная примета мифологического мышления. Убедительным примером может служить религиозный протест старообрядцев, выступивших именно против внешних перемены в утвердившейся исстари богослужебной практике. И назвать такое мышление иррациональным или нелогичным не представляется возможным, так как «логика в их мышлении вовсе не отсутствовала, она лишь отличалась от логики дискурсивной [36] культуры» [10; 127]. Поэтому инновации властителей символически воспринимались простонародьем как покушение на сакральную сущность верховной власти, т. е. как целенаправленная десакрализация. Разумеется, подобные кощунства, вторгаясь в традиционную ментальность, разрушали ее целостность.

Правящая элита с определенного момента «главное значение начала придавать обряду царского венчания, который для нее и превратился в источник харизмы “великого государя”. Таким образом, проблема законности царя была сведена к чисто формальным (с точки зрения масс) моментам». Это обстоятельство и привело к тому, что на троне оказывались многочисленные женщины и дети, «хотя, по традиционным представлениям (теперь уже – чисто народным), они не имели на него никаких прав. Ничего удивительного, что для народа они остались “незаконными”» [124; 41].

Но главное состояло в том, что в «государственной традиции нового времени божественный статус царской власти из функционального (сакрализация власти) сделался абсолютным (сакрализация властителя)» [22; 27].

В подобных метаморфозах заключался известный риск: «Перенесение атрибутов сакрального на предмет конечный, вещный, единичный и осязаемый имеет всегда и другую сторону. Особенности физиономии, позы и жестов человека, своеобразие речи, его вкус, привычки, пристрастия и слабости приобретают гиперболический вид, наружность наполняется странными ужимками, портретные черты разрастаются до комического уродства, а весь облик превращается в гротеск... Поэтому культ императора неизбежно несет в себе смеховую подкладку» [34; 152]. Новая сакральность, подобно унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекала, нанесла мощный удар по образу императорской власти.

В обстановке острого социально-политического кризиса, охватившего высшие эшелоны власти в эпоху дворцовых переворотов, казалось, что с пресечением династии разорвалась связь времен и из всей системы словно вынули мировоззренческий стержень. Все в одночасье зашаталось, потому что тем, кто примерял царский венец, было отказано в законности, а значит, в богоустановленности. И наоборот. Может быть, поэтому, несмотря на все усилия Екатерины II, ее имидж «премудрой матери Отечества» в значительной мере оставался уделом официальной пропаганды и заказных стихов. В массовом же сознании облик императрицы принял карикатурные черты «перевернутости», ее действия воспринимались как антиповедение, устанавливаемые порядки виделись «королевством кривых зеркал».

Кстати, заметим, что сомнениями в истинности и законности всего происходившего

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru вокруг трона были охвачены не только социальные низы. Оценивая правящую императрицу Екатерину II, дворяне (не берем в расчет заведомых авантюристов, шарлатанов, интриганов и т. п.) также не могли не понимать всей двусмысленности ситуации. И хотя внешне дворянство в массе своей встретило ее вступление на престол и последующее царствование вполне, если не сказать больше, спокойно, в душе, конечно же, осознавалась незаконность ее претензий на российскую корону.

Императрица Екатерина II. Гравюра пунктиром Г. И. Скородумова (XVIII век).

Рассматривая доминирующие эмоционально-оценочные реакции дворян последней трети XVIII века на образ властителя, исследователи на основании анализа их писем приходят к интересному заключению: «...традиционно сложившаяся социально-психологическая связь монарха и дворянства регулировалась не добровольно принятым законом, целесообразность которого глубоко осознана, а чувствами: чувством безоговорочного уважения и преклонения перед авторитетом самодержавия, чувством не подвергаемого сомнению личного доверия царской власти, чувством покорности воле императора и, наконец, чувством страха» [61; 71].

Однако подобный вывод не учитывает влияния важнейшей компоненты истории России XVIII века – «дворских бурь» – на мировосприятие дворянского сословия в целом и оценку им верховной власти в частности. Последствием этих социально-политических и психологических процессов, вероятно, стала постепенная десакрализация властителей в глазах дворян, что отразилось и на усилении оценочного негативизма в отношении Екатерины II. Красноречиво подтверждают сказанное воспоминания Г. Р. Державина. «Но если рассуждать, что она была человек, что первый шаг ее восшествия на престол был не непорочен, – писал он, – то и должно было окружить себя людьми несправедливыми и угодниками ее страстей, против которых явно восставать, может быть, и опасалась, ибо они ее поддерживали» [26; 181].

Еще более решителен предполагаемый автор «пасквиля», написанного в 1771 году, отставной полковник Яновский: «Вы знаете, под каким несносным игом более десяти лет мучитесь, обременены разными поборами, истощены все безвременною войною. Ве-лелепие церковей упало, законы божественные и естественные упали и расторгнуты. Владычествуют вами предатели отечества, преисполненные гордостью и гнусные царя и принца убийцы Орловы» [107; 89].

Подобное осуждение на фоне эпохи не выглядит заведомой редкостью. Вполне ясно, что об одномерно-восторженном отношении дворянства к «государыне-матушке» и ее действиям говорить не приходится. Оно не могло быть однозначным, так же как не было однородным и само российское дворянство. Известно даже, что некоторые дворяне, особенно из числа разорившихся, протестуют против удручающей действительности, добровольно выбирали жизнь разбойников. Поэтому пушкинский Дубровский – это не только художественный вымысел, у него были и реальные прототипы.

Но если столь мощный критический заряд обнаруживало дворянство (казалось бы, прочный оплот трона), то выводы, которые делало для себя традиционное мышление, поддержанное фольклорным опытом, шли еще дальше. Они, возможно, и не означали, что реальный Петр III был «лучше» Екатерины II. Но то, что она была «хуже», простонародье ощущало все более и более. Контраст этот в последующие годы только усиливался. Так баланс народного сознания с самого начала склонялся не в пользу Екатерины II, приведя к идеализации «прежнего правления» и, разумеется, имени-образа Петра Федоровича. Дело в том, что при нарушении традиционного порядка наследования престола монарх, который «реально занимает царский трон, может, в сущности, сам трактоваться как самозванец» [128; 150]. Именно с таким нарушением пришлось столкнуться общественным низам с приходом к власти Екатерины II. Это был серьезный повод для монархических раздумий.

Вероятно, в события этих дней уходит своими истоками осмысление ее как царицы «ложной», фактически самозванной, а значит, сознательно творящей зло. «Что ныне над народом российским сочиняетца иностранным царским правительством, хотят российскую землю разорить и привести в крайнюю нужду», – осуждал господ народный «пасквиль» середины 60-х годов XVIII века. «Правду всю изринули, да и из России вон выгнали, да и слышать про нее не хотят, что российский народ осиротел, что дети малые без матерей осиротели». Автор подложного указа выражал

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
явное негодование возвеличиванием екатерининских фаворитов, а потому требовал «графа Захара Чернышева в застенки и бить кнутом безо всякого милосердия, потом четвертовать и голову отрубить. Второго Алексея Разумовского таким же образом. Третьего Григория Орлова... а государыню выслать в свою землю» [107; 66 – 67]. В такой ситуации в естественные, скажем даже в неизбежные, антиподы «самозванки на троне» массовое сознание должно было выдвинуть «царя-батюшку» Петра III – «подлинного» и «природного» государя. Показательно, что еще в 1740 – 1750-е годы, т. е. до воцарения Петра III, с его именем уже связывались определенные надежды, выражалась тревога за его судьбу. Эти беспокойства приобретали антидворянскую окраску, ибо характерной чертой народного монархизма являлось «отделение царя от сановников, бюрократии, помещиков, заводчиков (”бояр и чиновников”), даже противопоставление их» [77; 20].

Так, в 1747 году крестьянин Данила Юдин распространял «возмутительные письма», сообщавшие о намерении придворных «извести великого князя Петра Федоровича». Целой вереницей аналогичных слухов был отмечен 1758 год. Например, солдат Герасим Щедрин в недоумении вопрошал: «Для чего-де не садится на царство великий князь Петр Федорович, и так все войско разбежалось от графов Шуваловых. Долго ль им войско разорять?». Дворовый человек Григорий Еремеев словно дорисовывал картину несчастья: «Государь-де наш Петр Федорович приказал... каждому солдату прибавить по одному рублю на треть, а Алексей Григорьевич Разумовский давать не велел» [135; 138 – 139].

Не стоит удивляться, что доносившиеся до простонародья обрывки сведений о дворцовом перевороте 28 июня 1762 года и убийстве Петра III, ставших результатом недовольства влиятельных кругов правящей верхушки, трансформировались в многочисленные слухи о чудесном спасении «истинного» государя.

Фольклорная монархическая утопия диктовала свои каноны развития самозванческого сюжета. Полностью соответствуя им, сержант Ингерманландского полка Иван Пятков уверял, будто «государь Петр Федорович жив», а «ростовский архиерей», мол, расстрижен за то, «что он его фальшиво погребал» [108; 96]. Слухи, что Петр III не убит, а остался жив и скрылся, находятся среди яицких казаков, словно снежная лавина, распространились в Центральной и Южной России, на Украине и в Оренбургской губернии, чуть позже докатились до Сибири. С 1764 года они начинают периодически провоцировать появление самозванцев. Словесный протест перешел в материализованную форму.

Среди заявивших свои высокие претензии в 1764 – 1773 годах, т. е. до пугачевского бунта, можно назвать «малороссиянина» Николая Колченко (на Украине под Глуховом), проторговавшегося купца армянина Антона Асланбекова (Черниговщина), беглых солдат Гаврилу Кремнева и Петра Чернышева (оба – в Воронежской губернии), офицера Николая Кретьова (Оренбург), бывшего разбойничьего атамана Рябова (Астраханская губерния) и беглого крестьянина Федота Богомолова – самого «авторитетного» «Петра Федоровича», не считая Пугачева. Кроме того, находились и «ближайшие сподвижники» якобы живого Петра III, которые действовали от его имени или использовали его в своих интересах. Приблизительно в 1763 – 1764 годах слухи о «царственном избавителе» обнаружили себя на Южном Урале. Казак Конон Белянин рассказывал о конспиративных поездках «Петра Федоровича» «во образе скрытном» вместе с генералом Волковым в крепость. Казак Федор Каменщиков-Слудников также «разглашал» о поездках «Петра III» в Троицкую крепость «для разведывания о народных обидах в ночные времена». Имелся у Каменщикова и «печатный указ» с титулом бывшего императора Петра Федоровича, якобы данный на его, Каменщикова, имя. Заметим, что, в отличие от самозванных претендентов на престол, Каменщиков-Слудников предпочел нецарственное самозванство.

Степень нашей осведомленности об этих самозванцах различна. Не вызывает сомнения другое: фольклорной монархической модели, олицетворением которой они выступали, самозванцы были обязаны подчинять свои помыслы и повседневное поведение – в той мере, в какой народное сознание выработало образ «подлинного» государя, строгого, но справедливого. Если, конечно, хотели добиться успеха.

Думается, вполне допустимо предположить некую гипотетическую ментальную зависимость между представленным историей «парадом» самозванцев и развитием народного и любительского театра в России XVIII столетия. Как театрализованное действие, само-званчество актуализировало свои социокультурные связи с миром народной смеховой культуры, в том числе с так называемой «игрой в царя», правила

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru которой были запрограммированы традиционной мен-тальностью. Вспомним, что в завязавшейся «само-званческой игре» первым делом необходимо было доказать правомерность притязаний на сакральный статус или имя. «Законность»/«незаконность» претендента определялась наличием либо отсутствием у него «царских» знаков на теле. Так, самозванец Кремнев был признан «подлинным» царем после того, как поп Лев Евдокимов сказал ему во всеуслышание: «Ты-де государь Петр Федорович, я-де тебя знал и на руках нашивал, я вижу у тебя на ноге крест» [108; 104]. Аналогичным образом и Богомолов, находясь в тюрьме, знал: чтобы убедить донских казаков и стражу, ему необходимы соответствующие аргументы, например «беловатого вида крест» на груди. «Точно такой же имею я, – прибавлял он, – на лбу и на плечах» [135; 144].

Встреча с «истинным» царем порождала в народной душе не только естественный суеверный страх, но и связанную с ним радостную готовность повиноваться. Предъявленные «доказательства» словно поворачивали заветный ключик в монархической модели традиционной культуры, и весь механизм народного монархизма приходил в движение. Однако ему постоянно требовалась «подпитка», не позволявшая заводу закончиться раньше времени, пока в игре еще не сделаны все ходы. Следующим шагом в ней предусматривалось ознакомление потенциальных последователей с перспективной программой самозванца.

Допустить ошибку на этой стадии – значило не получить поддержки. «Признавшись», что он-то и есть император Петр III, обещая «светлое будущее», самозванец должен был произносить заранее ожидаемые речи. Как это делал, например, Кремнев перед жителями с. Новосолдатского: «Детушки, замучены вы; подушные деньги наложены на вас чезелые, но те деньги будут сложены, а собираться будет с души по два гарнца хлеба» [135; 145]. Широта замыслов и смелость обещаний предназначены были внушить благоговейный трепет перед могуществом «государя», способного на столь грандиозную перестройку «неправедного» царства господ.

Но каким же мог быть «король без свиты»? Разве что «голым». Поэтому самозванцы, выступавшие под именем «третьего императора», обычно создавали себе пышное окружение из «сановников», которым присваивались титулы и имена бывших приближенных реального Петра III, в том числе тех, кто в народном сознании связывался с верностью ему. Например, Кремнев именовал двух своих соратников генералом Румянцевым и генералом Алексеем Пушкиным. У Петра III-Чернышева тоже имелось два «генерала», но сведений об их именах не сохранилось. Другие самозванцы комплектовали свиту не только из «генералов», но включали в нее «князей» или чиновников. Так, допустим, Богомолов называл в 1772 году своего спутника «государственным секретарем». Одноворец Клишин, рассказывая о Петре III, который «ныне находится у донских казаков и хочет идти с оружием возвратить себе престол», утверждал, что обо всем этом «и сенатор Мельгунов знает». Кретов говорил, будто «об нем-де знают гр. З. Г. Чернышев и Н. И. Панин, да и государь-де цесаревич Павел Петрович известен» [135; 146].

В сгущавшейся атмосфере святотатственной беспросветности народ отчаянно ждал, когда же сверкнет «луч света» в «темном царстве», наполненном коллективными фобиями, раздражавшей сменой настроений и колебаниями психики масс, легко впадавших в панику, в иные эмоциональные переживания. Подобные ожидания «избавителя» давали самозванцам шанс на отклик страстно желавших возрождения благостной старины крестьян и одноворцев, казаков и некоторых солдат, раскольников и части низшего духовенства и т. д. Готовность к позитивному реагированию на объявление «истинного» царя в обстановке массового психологического ажиотажа приводила к тому, что в некоторых населенных пунктах даже священники встречали самозванцев торжественными молебнами, колокольным звоном, после чего приводили крестьян к присяге новоявленному «императору».

Но, увы, в итоге «гора родила мышь». Отдельным самозванцам удалось приобрести 200 – 300 сторонников, другие не добились даже такого успеха. И результаты эти вполне закономерны. Как показывает анализ российского самозванчества, народный монархизм «был не базой, а препятствием для поддержки заведомых самозванцев; даже ближайшее окружение самозваного претендента на царский трон должно было пребывать в уверенности, что служит “подлинному” государю» [123; 86].

В противном случае происходил сбой: в традиционной «картине мира» самозванцы – это актеры, мимы, скоморохи. Их действия совершаются при попустительстве нечистой силы. Если устами «истинного» царя говорит Бог, то устами самозванцев – Сатана. Они переигрывали, может быть, еще и потому, что плохо знали свою роль,

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru недостаточно, так сказать, выучили фольклорные и исторические уроки. «Не вызывает сомнений, что масса, по причине экономических, военных и т. п. интересов, потребовался, чтобы прийти к цели, Наполеон, а не Фуше, Цезарь, а не Помпей, т. е. обладатель особого дара, властитель психологии масс» [63; 353].

Очевидно, большинство претендентов на имя Петра III похвастаться такими способностями не могли, не дотягивали до идеала и выглядели не слишком убедительно, компрометируя себя. Не все они могли последовательно пройти до конца крестный путь, предписанный фольклорной монархической схемой. Некоторые и сами робели перед грандиозностью затеянного дела. Отсюда и их фиаско. Необходим был приход талантливой вожака и организатора, способного с огромной силой выразить народные чаяния, чтобы во имя попрашки старины под знаменем «императора Петра Федоровича» против «изменников-бояр» и «царицы-самозванки» всколыхнулись и поднялись на бунт тысячи людей.

«Парад» самозванцев – это и есть путь народной утопии к обретению «истинного» Петра III. Поэтому калейдоскопическое «мелькание» лжецарей не могло смутить сознания простецов – мол, что-то их слишком уж много. Дело в том, что традиционные идентификационные механизмы работали по иным, нежели сегодня, правилам. Всю глубину различий можно заметить на примере «проверки» самозваного претендента, предложенной советским историком К. В. Сивковым. В качестве критериев он рекомендует следующие параметры: внешнее сходство, возраст претендента и бывшего императора, биографические данные, общее впечатление, производимое претендентом (голос, манера говорить, держать себя), и собственное представление об императоре как носителе верховной власти в государстве [108; 108]. Рационально мыслящий человек XX или XXI столетия, возможно, поступил бы именно так, после чего, заметив несоответствия, назвал бы самозванца самозванцем.

В масштабе же мифологического мышления совершенно различные (на наш взгляд) предметы могли рассматриваться как разные ипостаси одного. «При таком подходе люди с одинаковыми именами в определенных ситуациях могли восприниматься как одно и то же лицо» [124; 62]. И соответствовать претендент должен был не столько реальному прототипу, сколько его мифологизированному образу. А значит, событийные коллизии различных самозванческих интриг все равно «работали» в одном направлении – последовательно творили утопическую избавительскую легенду о Петре III, наполняя ее конкретным содержанием. Этими умственными брожениями почва для появления «Петра III» была вполне подготовлена. Поэтому провал тех или иных конкретных самозванцев не менял общей картины массовых ожиданий скорого пришествия «избавителя». Некоторые эпизоды (реальные или вымышленные) их биографий могли дополнять общую копилку знаний о социокультурной физиономии «третьего императора». Чтобы иметь успех, каждый последующий претендент должен был включать их в канву своего самозванче-ского сюжета. Самым «успешным» претендентом монархического толка на имя Петра III стал, как известно, Пугачев, а потому и возглавленный им бунт, интерпретированный эмоциональными ощущениями простецов, обрел свойства священной борьбы социальной правды с временно торжествующими на святой Руси силами зла.

Появление Пугачева в «императорской» ипостаси оказалось закономерным следствием его бурной биографии и благоприятного для затеянного самозванче-ского предприятия стечения социокультурных обстоятельств. Надо заметить, что специфическая самозванческая идентичность основывалась в той или иной степени на мифологическом отождествлении. В психологически напряженной обстановке «потенциальный самозванец, обнаружив на своем теле “царский знак” и памятуя о том, что народ ждет “царя-избавителя” под именем, к примеру, Петра III, неминуемо начнет идентифицировать себя не просто как царя, но как “императора Петра III”. Сменив имя, он поменяет и прошлое... Следующим шагом должно стать внутреннее и внешнее перевоплощение самозванца, его вживание в конкретный образ “царя-избавителя”. Между самозванцем и теми, кто его поддерживает, устанавливаются отношения подданства, и только в системе этих отношений претендент на царский трон чувствует себя психологически комфортно, полностью забывая о своем самозванстве» [125; 70]. Очевидно, что подобная самоидентификация произошла и в нашем случае в условиях общественно-культурного кризиса, в атмосфере переживаемых простецами ожиданий скорого пришествия «избавителя» и поиска Пугачевым личной идентичности.

Образ его окончательно обрел черты сакрализованной харизматической личности в «узнавании» яйцями казаками в нем императора Петра III. В традиционном

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru социокультурном пространстве самозванный претендент был противопоставлен императрице Екатерине II – «самозванке на троне». В начавшемся «конкурсе самозванцев» определить, кто из них истинный, дано не людям, но Богу, который отмечает своих помазанников особыми царскими знаками на теле, позволяющими узнать «истинного царя». В судебном-следственных материалах по истории пугачевского бунта данное обстоятельство отразилось неоднократно.

Вот как вспоминал об этом сам Пугачев: «А как сели, то Караваев говорил ему, Емельке: “Ты-де называешь себя государем, а у государей-де бывают на теле царские знаки”, то Емелька, встав з земли и разодрав у рубашки ворот, сказал: “На вот, кали вы не верите, што я – государь, так смотрите – вот вам царской знак”. И показал сперва под грудями, как выше сего он говорил, от бывших после болезней ран знаки, а потом такое ж пятно и на левом виске. Оные казаки, Шигаев, Караваев, Зарубин, Мясников, посмотря на те знаки, сказали: “Ну, мы теперь верим и за государя тебя признаем”» [36; 161 – 162]. Тогда казаков такой «великой страх обуял, так что руки и ноги затряслись», – дополнил картину «встречи» пугачевский атаман-сотник Тимофей Мясников [87; 98].

В обстановке массового почитания и поклонения кризис личной идентичности у Пугачева был преодолен. Задетое самолюбие утешалось готовностью казаков признать в нем «царя-батюшку»: «Тогда мы по многим советованиям и разговорам, – указывал позднее один из них, – заметили в нем проворство и способность, вздумали взять его под свое защищение и ево зделать над собою властелином» [4; 150].

В дальнейшем казаки активно распространяли пугачевскую версию его «царского» происхождения, сдобривая ее картинами мучительных мытарств народного страдальца: «Дворянство же премногощедрого отца отечества великого государя Петра Феодоровича за то, что он соизволил при вступлении своем на престол о крестьянх указать, чтоб у дворян их не было во владении, но то дворянем нежели ныне, но и тогда не ползовало, а кольми паче ныне изгнали всяким неправедным наведением. И так чрез то принужденным на-шолся одиннатцать лет отец наш странствовать, а мы, бедные люди, оставались сиротами» [88; 74]. Народная молва, быстро разносимая по городам и весям, провоцировала уверенность простонародья в том, что на их стороне «подлинный» государь-император Петр III.

Пугачеву верили также потому, что, попадая под обаяние самозванческой харизмы, хотели верить в возможность социальной правды на земле, хотя основания этой веры были различными у разных сословных групп населения.

Казацкое селение на берегу Урала. Акварель (начало XIX века).

Подчеркнем и еще один фактор, обуславливавший поведение участников протестного движения. Много раз звучавшие изустно и в документальном виде восхваления повстанцами своего вожака не обязательно должны оцениваться нами как неприкрытая корыстная лесть. На деле это могло быть и выражением тех надежд, которые возлагались простецами на «императора Петра III» в форме ненавязчивого совета. Подобные «советы» царям в протестной истории России отнюдь не редкость. Уподобление предводителя идеальному типу монарха подспудно внушало необходимость добродетельного, «праведного» поведения. В то же время панегирик мог служить маской, скрывавшей осознание истинных характеристик правителя, и попыткой изменить его поведение, хитроумно воздействуя на его самолюбие. В этом смысле можно было бы сказать, что «короля делает свита». И наконец, такие восхваления могли служить защитой от собственных страхов, приводивших к стремлению убедить всех, и себя в том числе, в величии правителя.

Заметим, что самозванческая интрига в основном развивалась в среде яицких казаков, от которых Пугачев получил своеобразный кредит доверия. Для остального же простонародья достаточно было уверений с их стороны, ибо казаки издавна служили объектом народной идеализации, их образ жизни вызывал подражание. Отсюда и готовность верить в то, во что поверили казаки, – в истинность повстанческого «Петра III». В показаниях на допросе судьи пугачевской Военной коллегии И. А. Творогова этот мотив выступает со всей красноречивостью: «Злодея почитал я прямо за истиннаго государя Петра третьяго, потому, во-первых, что яицкия казаки приняли и почитали его таким; во-вторых, старья салдаты, так, как и разночинцы, попадающия разными случаями в нашу толпу, уверяли о злодее, что он подлинной

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru государь; а в-третьих, вся чернь, как-то: заводския и помещичьи крестьяня, приклонялись к нему с радостию и были усердны и были усердны, снабжая толпу нашу людями и всем тем, что бы от них ни потребовано было, безоговорочно» [89; 162]. Подобного рода свидетельские показания в судебно-следственных материалах встречаются часто.

Кроме того, подоплекой самозванческой харизмы, испытываемых к Пугачеву-Петру III симпатий и доверия можно считать усиление крепостнического произвола – в социальном плане и рост податных повинностей – в экономической сфере, характерных для XVIII столетия. Политическая же подоплека инициировалась откровенной нестабильностью общества в эпоху «дворских бурь». Попеременное царство женщин и младенцев фокусировало внимание на фигуре внука Петра I, а следовательно, продолжателя династии. С правлением Петра III был резон надеяться на стабилизацию верховной власти и прекращение дво-рянско-чиновного произвола, когда страной правил временщик. В условиях признания казаками в Пугачеве Петра III произошло удвоение харизмы. Харизма Пугачева органично соединилась с сакральной ценностью царской власти, что не могло не усиливать ощущение им своей избранности, особой предназначенности. Высокая самооценка стала завышенной.

Об уверенном поведении народного «царя-батюшки» во множестве свидетельствуют сохранившиеся показания очевидцев: «Потом, вошед в церковь, приказал попам служить молебен и на ектениях упоминать себя государем, а всемиловитейшей государыни высочайшее имя исключить» [89; 141 – 142]. Или: «Идя походом из Казани на Пензу, Пугачев взял Алатырь. Прежде всего он велел отрубить голову городничему, а на утро следующего дня согнать народ в собор приносить присягу. Собрался народ, собор переполнен, только посредине дорожка оставлена, царские двери в алтарь отворены. Вошел Пугачев и, не снимая шапки, прошел прямо в алтарь и сел на престол; весь народ как увидел это, так и пал на колени – ясное дело, что истинный царь, тут же все и присягу приняли» [53; 9][37]. «Выбрав» себе «государя», казаки, по свидетельству Пугачева, стали оказывать ему «яко царю, приличное учтивство» [36; 71]. Это почтение проявлялось и в постоянном именовании Пугачева-Петра III «надежей-государем», «батюшкой» и т. п.

Изучение протестного поведения Пугачева и пугачевцев в контексте их эпохи требует обращения к театрализованным формам народной культуры, для того чтобы полнее осветить внутреннюю сущность бунта, который сам по себе зрелищен и всегда нацелен на визуальное восприятие. Следовательно, театральные коды закономерно должны присутствовать в историческом исследовании. Благодаря этому высвечивается социокультурная организация пространства, выстроенного самим Пугачевым. Оно населяется «робятами без слов», мальчишками-пажами, названной императрицей, «фельдмаршалами» и другими персонажами, для которых, как и для самого Пугачева, чрезвычайно важным был момент переодевания. То есть костюм как составляющая спектакля входил в пугачевскую версию «игры в царя».

Поэтому прочному вживанию Пугачева в роль Петра III способствовал и его внешний вид. Он отличался от других «богатым казачьим, донским манером, платьем и убором лошадиным». Позже Пугачев привез из Яицкого городка «красную ленту, такую, какия... на генералах видал, и ту ленту надевал он на себя под кафтан». Чтобы нарядить «царя-батюшку», казаки привезли ему «бешмет канаватной, зипун зеленой суконной, шапку красную, кушак, а сапоги были куплены Мясниковым» [89; 106, 131]. В казацком фольклоре повстанческий вождь и «по обличью» был царем. Носил он «парчовый кафтан, кармазинный зипун, полосатые канаватные шаровары запусены в сапоги, а сапоги козловые с желтой оторочкой... Шапка на нем была кунья с бархатным малиновым верхом и золотой кистью, а кафтан с зипуном обшиты широким, в ладонь, прозументом» [59; 217]. Имитацией государевых были дары Пугачева, например своему тестю П. М. Кузнецову – лисьей шубы, покрытой зеленым сукном и халатом.

Одним словом, нарядная, изукрашенная одежда становилась важным элементом в механизме идентификации Пугачева, в обосновании его претензий на царское имя. В этой связи символичен эпизод «Капитанской дочки», когда Гринев одаривает Пугачева, в то время испытывавшего лишения, знаменитым «заячьим тулупчиком»: «Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: “Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей”».

Этот дар, как можно предположить, имел глубокую культурную подоплеку. В те времена простонародью запрещалось носить одежду из натуральных мехов (зайца). Это была привилегия господ. Поэтому подарок Гринева повышал статус Пугачева,

Обращение к образу зайца знаменательно и само по себе. Как известно, в средневековые зайцы символизировали христиан. В Псалтири, например, есть такие слова – «камень – прибежище зайцем». С канонической точки зрения эти слова надо понимать так: «Камень – церкви, а зайцы – христьяне, иже прибегают во церковь Божию от враг». Подтверждает эти суждения и загадка о зайце и сове, в которой отразились народно-поэтические представления: «Что есть: бел щит, а на беле щите бел заяц; и прилетел орел, и взял зайца, и отнес на небо, и ста на том месте сова?» На этот вопрос дается следующий ответ: «Бел щит – свет, а заяц – правда на земли, и отиде правда на небо, а сова на земли остана – кривда» [42; 51 – 52]. Следовательно, «заячий тулупчик» должен был подчеркнуть высокий статус Пугачева, его адресованность ко вселенской правде, гарантом которой на земле является «истинный» царь.

С другой стороны, известно, что «во всех славянских верованиях отмечается связь зайца с чертом или злым духом. Так, например, широко распространены у славян былички о черте, который появляется в образе зайца; о зайце-оборотне, который якобы водит путника в глухом лесу, а затем с шумом исчезает в вихре» и т. д. [18; 143]. Поэтому пушкинский сюжет подспудно мог обозначать связь Пугачева-Петра III с изнаночным царством, неназойливо, но настойчиво проводить мысль о самозванстве названного императора. Таким образом, заметим, что художественный вымысел произведения не помешал автору уловить и прорисовать неоднозначный, двойственный образ повстанческого вождя, соответствовавший переходному характеру эпохи. Подобную глубину интуитивного проникновения в прошлое не раз демонстрировал Пушкин и на других страницах, посвященных Пугачеву.

Новой концепции «первого монарха» бунт противопоставил традиционную концепцию «народного царя-батюшки», которая прочными узами была связана с царистской мифологией, а применительно к пугачевщине – также и с самозванческой харизмой. Как и любому самозванцу, для закрепления идентичности Пугачеву-Петру III требовалось постоянно «лепить» в сознании «подданных» свой образ как истинного царя. О том, что такие попытки не без успеха предпринимались самозванным «амператором Петром Федоровичем», свидетельствуют его именные манифесты и указы. «Точно верьте: в начале Бог, а потом на земли я сам, властительный ваш государь», – убеждал он башкир Оренбургской губернии в указе от 1 октября 1773 года [33; 26].

Иногда в заявлениях самозванца дело доходило до полного самообожествления. «Глава армии, светлый государь дву светов, я, великий и величайший повелитель всех Российских земель, сторон и жилищ, надо всеми тварьми и самодержец и сильнейшей своей руке, я есмь...» – безапелляционно сообщалось в преамбуле именного указа атаману В. И. Торнову в декабре 1773 года [33; 41]. В увещании пугачевского полковника Ивана Грязнова жителям Челябинска обнаруживаем любопытный параллелизм повстанческого Петра III и Христа, дошедший фактически до их отождествления: «Господь наш Иисус Христос желает и произвести соизволяет своим святым промыслом Россию от ига работы, какой же, говорю я вам, – всему свету известно» [88; 74] [38].

Названный император в глазах своих «подданных» проникался божественной энергией и соединялся с Богом. Соответственно, коль скоро сакральная природа Пугачева-Петра III сомнений у повстанцев долгое время не вызвала, то, следовательно, вождь восставших мог считать себя верховным распорядителем людских жизней и судеб. Поэтому он полагал возможным распоряжаться душами людей: печься об их спасении («И желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни» [33; 48]) либо лишать их такой возможности. В связи с этим обратим внимание на текст казачьей исторической песни «Поп Емеля», главный персонаж которой, обращаясь к казакам, просит их: «Головы рубите, а душ не губите» [66; 154]. Похожие мотивы играли роль и во время опричных казней Ивана Грозного, когда «ни царь, ни родственники казенных не делали вкладов за упокой их души... тем самым их души и на том свете лишались предстательства и заступничества со стороны церкви» [131; 194].

Вероятно, сознанием своего права вершить «высший суд» над людскими судьбами следует объяснять тот факт, что самозванный император публично призывал восставших к насильственным расправам и – более того – сам грозил ими: «А когда повелению господина скорым временем отвратите и придете на мой гнев, то мои подданные от меня, не ожидав хорошее упование, милосердия в уже не просили, чтоб

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru на мой гнев в противность не пришел; для чего точно я присягаю именем Божиим, после чего прощать не буду, ей-ей». «Кто не повинуется и противится: бояр, генерал, майор, капитан и иные – голову рубить, имение взять. Стойте против них, голову рубите, если есть имущество, привезите царю: обоз, лошади и разное оружие доставьте царю, другие пожитки раздайте армейским людям» [33; 26, 37].

Здесь мы сталкиваемся с таким важным аспектом народного насилия, как вербализм [39]. Прежде чем осуществить насилие, его нужно «проговорить», как это делал, ссылаясь на высочайший авторитет, например, крестьянин-пугачевец Л. Травкин, который, «подошед ко олтарю, говорил громко, что в он, священник Степанов, вышел слушать того указа: “А ежели-де не вы-деш и кто-де нашему указу не верит и оного не слушает, тех-де будем сажать на колья или вешать”» [90; 6].

Явная сакрализация образа Пугачева-Петра III в массовом сознании, дополненная его самосакрализацией, завершала ритуальную символику всего поведения Пугачева, который, играя «роль» Петра III, перевоплощался и входил в его образ, на время полностью забыв о своем самозванстве. Известно, что традиция ритуализированной жизни была двойственной, что отразилось и в поведении вождя бунтовщиков. С одной стороны, дистанция от простонародья – он все же царь – вызвала психологическую тягу к своему вождю, стремление быть ближе к фигуре «монарха», занять определенную нишу возле него. С другой стороны, демонстрация доступности царя – он живой человек, хотя и помазанник Божий. В случае с Пугачевым такой демонстрацией можно считать женитьбу на простой казачке Устинье Кузнецовой, которая была воспринята неоднозначно. Тем не менее у названного «императора» появляются многочисленные почитатели и последователи.

Перевоплощение Пугачева в «Петра III» было столь естественно-органичным, что устраняло остатки сомнений у населения охваченных бунтом и прилегающих к ним территорий. Поэтому «уездные обыватели, слепо веря по зловымышленным упомянутого злодея и бунтовщика оболещением... безрассудно присоединились в скверное того злодея скопище» [52; 157]. Ради святой веры в «истинного» царя люди готовы были идти до конца, как это было в случае с крепостным крестьянином Василием Черновым, который на допросе даже «под жестоким мучением во все продолжительное время упорствовал назвать Пугачева злодеем, почитая его именем государя Петра третияго» [89; 363].

Народную веру в Пугачева как «истинного царя» поддерживали также казни, совершаемые им или по его приказанию. Эта идея характерно прозвучала, например, в словах сотника яицких казаков-повстанцев Тимофея Мясникова: «Самозванец повесил двенат-цать человек. Тогда все бывшие в его шайке пришли в великой страх и сочли его за подлиннаго государя, заключая так, что простой человек людей казнить так смело не отважился бы» [87; 99].

Поэтому, кстати говоря, казни в стане повстанцев часто приурочивали к приезду названного Петра III. Из материалов допроса Василия Чернова узнаем, например, показательную подробность: «Управителя Алексея Тетеева с женою, з братом, с племянником, француза, немца да воротынцовского крестьянина Андрея киреева, захватя, сковали и в господском доме содержали с тем намерением: ежели оной злодей Пугачев к ним в село... будет, то представить их к нему, дабы за оказанныя им от них обиды приказал повесить». Пугачевец Иван Ефремов, описывая события в Яицком городке после взятия его бунтовщиками, также отмечал, что расправы начались только после того, как «приехал из Берды злодей Пугачов» [89; 361, 180].

Ни о какой случайности здесь не может быть и речи. Уверенность Пугачева в своем праве вершить высший суд основывалась на царистской мифологии, на идентификации с императором Петром III. С традиционной же точки зрения, неотъемлемым правом государя, даже его обязанностью является «царская гроза», с помощью которой царь «грешных на покаяние» приведет и «правду во царство свое» введет: «А виноватому смерти розписаны, а нашедши виноватого не пощадити лутчаго, а казнят их по делу дел их», – писал известный публицист середины XVI века И. С. Пересветов [118; 606, 608]. О том же говорил и Иван IV: «А жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны были и казнить», «ибо царь не напрасно меч носит – для устрашения злодеев и ободрения добродетельных» [73; 136, 122 – 123]. Подобным содержанием проникнуто и обращение москвичей к Алексею Михайловичу накануне Соляного бунта в 1648 году, в котором они прямо заявляют, что «тебе меч злым на казнь, а добрым на милость был вручен» [23; 48]. Актуальной оставалась эта мысль и в XVIII столетии. Например, видный идеолог царствования Петра Великого Феофан Прокопович

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru уверенно заявлял, что «власть мирская» «от Бога устроена и мечом вооружена есть» [129; 238].

Меч здесь символизирует решительность, твердость, непреклонность, безоглядную жестокость, не останавливающуюся перед любым насилием и кровопролитием. Эти качества должен был проявлять и предводитель народного бунта в образе истинного царя для реанимации попорченной справедливости. Но в то же время меч рассматривается как проявление божественной воли и божественного провидения, он становится мерилом правды.

17 октября 1773 года в указе, адресованном руководству Авзяно-Петровского завода, сакральные притязания «императора» проявились со всей очевидностью: «А ежели моему указу противиться будите, то вскорости восчувствуи на себя праведный мой гнев, и власти всевышняго создателя нашего избегнуть не можете. Никто вас истинным нашия руки защитит не может» [33; 31].

«Праведный гнев» – это ведь и есть «царская гроза», подкрепленная претензией на сакральный статус. Отсюда и патетика его указов: «А ныне ж я для вас всех един ис потеренных объявился и всю землю своими ногами исходил и для дарования вам милосердия от создателя создан. То, естли кто ныне понять и уразуметь сие может о моем воздаваемом вам милосердии, и всякой бы, яко сущей раб мой, меня видеть желает» [33; 36].

Поскольку действия Пугачева-Петра III в полной мере соответствовали традиционной для Руси монархической модели, повстанческие казни служили для него убедительным аргументом в пользу своей «истинности», что в целом обеспечивало в глазах пугачевцев легитимность и всему движению во главе с «законным» государем, и чинимым ими кровавым расправам.

Харизматический дар Пугачева-Петра III также реализовывал себя в признании за ним сверхъестественных способностей. Неуязвимость и успешность вождя укрепляли веру бунтарей в богоизбранность и истинность своего предводителя. Его поистине безграничные возможности доказывались, например, мистическим прошлым, скажем, частыми удачными побегами из царских тюрем во время «злополучных» странствований названного императора.

Необычайные качества приписывались народным вожакам и в более ранней истории русского бунта. Так же, с помощью колдовских чар, уходил из-под стражи вождь взбунтовавшейся «черни» Стенька Разин: «Бывало, его засадят в острог... Полежит так маленько, отдохнет, встанет. “Дай, – скажет, – уголь!” Возьмет этот уголь, напишет тем углем на стене лодку, насажает в ту лодку колодников, плеснет водой: река разольется от острога до самой Волги; Стенька с молодцами грянут песни – да и на Волгу! Ну и поминай как звали!» [143; 318].

В 1773 – 1774 годах убежденность пугачевцев в том, что движение возглавляет подлинный император Петр III, крепла в результате успешной борьбы с правительственными войсками. Повстанцы рассуждали, что «если в это был Пугач, то он не мог бы так долго противиться войскам царским» [85; 328]. «Притом же все были поощряемы ево смелостию и проворством, ибо когда случалось на приступах к городу Оренбургу или на сражениях каких против воинских команд, то всегда был сам наперед, нимало не опасаясь стрельбы ни из пушек, ни из ружей. А как некоторые из ево доброжелателей уговаривали ево иногда, чтоб он поберег свой живот, то он на то говаривал: “Пушка-де царя не убьет! Где-де ето видано, чтоб пушка царя убила?”» [87; 100].

Приписной заводской крестьянин Семен Котельников на допросе в конце октября 1774 года «вразумлял» следователя: «Да и потому каждому разуметь можно, что, естли бы де подлинно не государь был, то бы давно полки были присланы; а хотя-де две роты с майором присланы, и те безызвестно пропали... его высокопревосходительство, господин генерал-аншеф и разных ординов кавалер, Александр Ильич Бибииков съехался з государем и, увидя точную ево персону, устранился, и принял ис пуговицы крепкого зелья, и умер» [89; 347].

Данные примеры показывают, как успехи повстанцев незамедлительно отражались на повышении «рейтинга» их вожака, воспринимались свидетельством его высоких достоинств. И напротив, поражения повстанческой армии вели, образно говоря, к понижению «котировок» пугачевских «акций». Красноречиво свидетельствуют об этом, например, слова заводского крестьянина Харитона Евсевьева: «...а как Волгу

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru переехали, то он стал помышлять, что то есть не государь, да и что везде он войсками разбиваем» [89; 336].

Монархическая мифология, столь активно проявлявшая себя в ходе пугачевского бунта, означала безусловное признание за Пугачевым-Петром III исторически сложившихся монарших прерогатив. Власть на Руси издавна была лишена каких-либо ограничений и основывалась на отождествлении прав суверена с правами полного собственника. Поэтому перед лицом всемогущего монарха одинаково бесправными были все подданные, которые, следовательно, различались не столько своими правами, сколько обязанностями.

Этот традиционный устой начал несколько разрушаться в XVIII столетии, особенно после появления в 1762 году манифеста о вольности дворянства. Данное обстоятельство привело к сумбуру в умах населения, считавшего, что процесс раскрепощения должен затрагивать интересы всех, а не только привилегированных сословий. В результате среди крестьян все активней стали циркулировать слухи о вероятном освобождении от помещичьей зависимости. Бытование подобных настроений в какой-то мере спровоцировало Пугачева в самый напряженный момент бунта издать «жалованную грамоту крестьянству» – манифест от 31 июля 1774 года. В то же время, ощущая себя всеильным душ вершителем, Пугачев-Петр III в равной степени считал ответственными перед его «императорским величеством» не только представителей господствовавших классов, но все не согласное с ним население, без различия их социального статуса.

Продолжая эту мысль, с неизбежностью приходишь к выводу: если, например, какие-то крестьяне, казаки, прочие простолюдины оставались на стороне правительства или лояльными ему, то для Пугачева-Петра III они становились злейшими врагами, заслуживавшими сурового наказания. Поэтому в перечне жертв пугачевских расправ можно неоднократно встретить упоминания о казненных солдатах, мастеровых и работниках, крестьянах, аптекарях и лекарях, дьяконах, дьячках и пономарях, разночинцах, дворовых людях, казаках и т. п.

Казнь Пугачев грозил не только дворянам, но всем непокорным: «И буде кто против меня будет противник и невероятен, таковым не будет от меня милости: голова рублена и пажить ограблена». «А ест-ли кто, сверх сего моего, до всего народа чинимаго милосердия, останется в своем недоразумении, тот уже напоследок восприимет от меня великое истязание и ничем себя не защитит» [33; 28, 35].

И все же этот аспект проблемы мало впечатляет ученых, зачастую предпочитающих настаивать на том, что жертвами пугачевского бунта были в основном дворяне. Безусловно, для такой трактовки были основания. Так казалось уже современникам событий, такая версия утвердилась и в исторической литературе. Например, видный пугачевец Леонтий Травкин утверждал, что Пугачев приказывал ему не щадить дворян, и «ежели кто помещика убьет до смерти и дом его разорит, то дано будет жалования – денег сто, а кто десять дворянских домов разорит, тому тыща рублей и чин генеральский» [90; 7].

Подтверждается расхожее мнение и словами самого Пугачева, который, очевидно побуждаемый следователями, акцентировал внимание на убийствах именно дворян: «Что же касается до истребления дворян, то также происходило от него и от его толпы подлинно по остервенению скверных их душ, случайно и по жалобам крестьян, с таким только намерением, чтоб дворяне не мешали умножать его толпы, а чрез то в и крестьяне, как их великое множество, не имели в том от господ своих страха» [36; 222]. «Дворян и офицеров, коих убивал большую частью по представлению яицких казаков, – утверждал Пугачев на допросе, – а сам я столько жесток отнюдь не был, а не попускал тем, кои отягощали своих крестьян, или командиры – подчиненных, также и тех без справок казнил, естли кто из крестьян на помещиков в налогах доносил» [36; 103 – 104].

Даже казачий фольклор сохранил подобный лейтмотив. Он отразился, например, в диалоге «графа Панина» и «вора Пугачева»:

– Много ли перевешал князей и боярей?

– Перевешал вашей братьи семь сот семи тысяч [66; 266].

И тем не менее очевидно, что дворяне, офицеры и чиновники составляли только часть всех казненных пугачевцами. Поэтому более правильным представляется

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru говорить об отсутствии сословной направленности повстанческих казней. Жертвами бунтовщиков могли стать люди любой социальной и национальной принадлежности без различия пола и возраста. Выбор «мишени» в бескомпромиссном противоборстве неизбежно определялся традиционно понимаемым общественным разделением, культурно-символической оппозицией добра и зла: «свой» всегда стоит за правое дело (дело Бога), «чужой» (неверный) этому делу – безусловный враг (одержим дьяволом). «Такие воззрения позволяли и вынуждали лишить статуса “ближнего” всех, кто объективно служит не небесному, а адскому владыке. Отвергающие “православное” подданство – еретики, иноверцы – вполне последовательно приравнивались к принявшим противоположное подданство, значит, покровительство нечистой силы» [9; 175, 177].

Безусловно, с точки зрения Пугачева-Петра III, все, кто ему не подчинялся, были клятвопреступниками, нарушившими верноподданническую присягу. Следовательно, они являлись изменниками. Но царь – помазанник Божий, поэтому измена ему – это страшный грех, грешникам же уготованы адские муки и на том, и на этом свете. «А в противности поступка всех, от первого до последнего, в состоянии мы рубить и вешать, дабы никто к искушению дьявольскому себя не предавал», – заявлялось, например, в одном из пугачевских указов [33; 32].

Похожим образом историки объясняют и события опричнины Ивана Грозного: «По словам царя, если бояре отказываются приносить присягу, то, следовательно, у них иной государь есть. Тем самым они изменили своей присяге и погубили свои души» [131; 71].

Хотя предводитель повстанцев, призывая под свои знамена, обещал избавление от гнета дворян и передачу их земель крестьянам, а также неоднократно грозился поголовным истреблением дворянства, он не мог не понимать, что последовательная реализация обещаний и угроз была бы нежелательной с точки зрения государственных интересов. Пугачевские документы содержат намного более взвешенный сословный подход: «...от дворян-де деревни лудче отнять, а определить им хотя большее жалованье»; «учредив все порядочно, пойду воевать в иные государства, – я-де, ведаешь, служивой человек», а для этого – «стал таковых [дворян. – В. М.] принуждать в службу и хотел-де отнять у них деревни, чтоб они служили на одном жалованье» [89; 135, 194].

Заметим, что такие заявления вполне согласуются с традиционной дворянской политикой российского правительства, характерно выраженной, например, в указе Петра I о единонаследии. Запрещая дробить имения при их наследовании, первый император подчеркивал, что оставшиеся без наследства сыновья «не будут праздны, ибо принуждены будут хлеба своего искать службою, учением, торгами и прочим. И то все, что оные сделают вновь для своего пропитания, государственная польза есть» [81].

Иначе говоря, не упуская из виду возможную победу и вступление на престол, Пугачев-Петр III пытался определить свое подлинно «государское» отношение к подданным, максимально использовать в будущем их способности на благо отечества. Поэтому можно сказать, что вопрос о судьбе дворянства в действительности не решался Пугачевым однозначно. Призывая к их уничтожению, он в то же время запрещал казнить тех, кто «преклонял ему свою голову». Из показаний И. Я. Почиталина от 8 мая 1774 года известно, что сначала «от Пугачева приказание было, чтоб, никого дворян и офицеров не щадя, вешать, а потом проговаривал о тех, кои сами к нему явятся и принесут повинную, таковых прощать и писать в казаки» [89; 111]. Самозванческая харизма обнаруживала здесь свою претензию на ритуальное право высочайшего помилования, прощения. Поэтому и в памяти народной Пугачев – человек «был добрый! Разобидел ты его, пошел против него баталией... на баталии тебя в полон взяли; поклонился ты ему, Пугачеву, все вины тебе отпущены, и помину нет!» [143; 317].

Принесение присяги превращало людей в «верноподданных рабов его императорского величества» безотносительно к их социальной принадлежности. К участию в этом ритуале привлекались в обязательном порядке все вступающие в повстанческое войско. Каждый должен был произнести: «Я... обещаюсь и кленуся всемогущим Богом пред святым его Евангелием в том, что хочу и должен всепресветлейшему державнейшему великому государю императору Петру Федоровичу служить и во всем повиноватца, не щадя живота своего до последней капли крови, в чем да поможет мне Господь Бог всемогущий» [60; 120]. Присяге придавали большое значение. Кто «моей присяге не верит, тот злодей», – считал Пугачев, и тем надлежит, как и

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru неприятелям, «головы рубить и пажить разделить» [33; 38].

Такое внимание к присяганию на верность, конечно же, не было случайным, а свидетельствовало о внутренней убежденности Пугачева и его соратников в правоте своего дела, к тому же позволяло достаточно четко и резко провести размежевание между «своими» и «чужими».

Поведение Пугачева-Петра III, на протяжении долгого времени близкое к эталонному, позволяло однозначно отождествлять его в качестве названного императора. Слияние в массовом восприятии идеализированного образа «императора Петра III» с харизматической личностью Пугачева обеспечило «легитимность» всех актов русского бунта. Посредством единства имени-образа Петра III, наиболее удачно воплощенного Пугачевым, происходило его закрепление в общественной культурно-языковой памяти русского народа.

Возможны и другие интеллектуальные проекции данной ситуации. Ученые отмечают: «Житейские и сакральные биографии, вступив во взаимодействие, произвели особую сюжетную формацию – неокончательную смерть...» Так, Разин в социальном сознании масс «заключался в гору, уходил, исчезал, об его близящемся возвращении предупреждали сынки», он возвращался под именем Пугачева, возобновляя очищение земли, расправу и суд. Христос уходил, умирал и возвращался под разными именами [74; 196].

Подобная народная реакция характерна и для времени после казни Пугачева. Убедительным свидетельством могут служить, например, материалы следствия о побеге бывших пугачевцев на Алтае в сентябре 1775 года: «Побудительным мотивом к организации побега... явился слух о том, что в Москве казнили кого-то из яицких казаков, а Пугачев-Петр III жив, одна партия его войска стоит под Оренбургом, куда и собирались идти в случае успеха участники побега» [37; 214]. Еще и в 1786 году в народе ходили слухи о том, что император Петр Федорович жив и скрывается в Сибири, в Тобольской губернии, о чем командир Сибирского корпуса генерал-майор Огарев с тревогой отписывал в Санкт-Петербург [75; 183].

Однако с течением времени образ этот принял ярко выраженный фольклорный характер, ушел в область легенд и преданий, становился все более иллюзорным. Не последней причиной тому была мощная, так сказать, PR-компания, предпринятая правящими кругами. Подавив бунт, правительство было заинтересовано в снижении самооценки и унижении Пугачева не только в его собственных глазах, но и во мнении других людей. Для искоренения народной памяти о великом бунте и его выдающемся вожде – народном царе-батюшке «Петре III» – его имя было предано анафеме и забвению. Грозному имени противопоставлялась Безымянность, имевшая культурную обусловленность. На языке традиционной культуры это был сильный ход.

Но простое умолчание посчитали недостаточным. Последовала серия символических переименований. Например, родина Пугачева – Зимовейская станица была переименована в Потемкинскую, река Яик – в Урал, Яицкий городок стал Уральском, а Яицкое казачество соответственно Уральским. Таким образом правительство пыталось перекодировать информацию с одного культурного кода на другой, что является «одной из основных структурных закономерностей символического языка культуры» [8; 36].

К аналогичным средствам культурного перекодирования в ходе бунта прибегали и сами пугачевцы. Следовательно, смысл символических переименований, предпринятых властью, был вполне понятен сознанию тогдашнего простеца.

Идеологическому «изгнанию» была подвергнута также и память о Петре III. Усилиями своего окружения и собственными стараниями Екатерине II удалось деформировать сложившийся в массовом сознании идеальный образ покойного императора, который отныне на многие десятилетия стал изображаться в качестве самодура. Однако проделать то же самое с именем Пугачева не удалось. Память народа, надолго очарованная самозванческой харизмой, не позволила исключить его из своего культурного наследия. Он навсегда вошел в отечественную историю, и вычеркнуть его из нее можно только вместе с самой историей.

Пугачевский бунт в смеховом зазеркалье народной культуры необходимо обозначить возможные связи русского бунта с традиционной культурой, имея в виду прежде всего ее смеховой аспект. Представляя природу смеховой «оболочки» русского бунта, обратим внимание на основные положения теории смеха.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Исходной посылкой наших рассуждений является понимание того, что в традиционном обществе ««смеховые» элементы совершенно не обязательно должны... восприниматься как смешные, поскольку смех на глубинном уровне связан со смертью и миром мертвых, миром хаоса» [140; 257].

В литературе недвусмысленно отмечалось, что «сущность смеха – в усмотрении, обнаружении смеющимся в том, над чем он смеется, некоторой доли негативности, известной “меры зла”. Смех есть отклик на какую-либо “отрицательную ценность”. Сталкиваясь с тем или иным “злом”, будучи внутренне готовым преодолеть его или свой страх перед ним, человек смеется» [47; 342 – 343].

Поэтому смех агрессивен. Ведь это еще и грозное оружие. Высмеять – значит опровергнуть, представить ценности суетного и вещного мира господ антиценностями. При этом высмеиванию «подвергаются самые “лучшие” объекты – мир богатства, сытости, благочестия, знатности» [56; 358]. «Смеясь, человек “выливал” чувство страха по отношению к реальному правителю. Смех давал возможность выплеснуть агрессивные импульсы по отношению к нему. “Направив” таким образом в определенное русло чувства страха и агрессии, испытываемые к власти, человек эмоционально был готов примириться с ней» [67; 142].

Царь Иоанн Грозный. Гравюра резцом Н. И. Уткина (1832).

В последнем рассуждении, как видим, подчеркивается терапевтическая природа смеха. Однако так было не всегда. В некоторых случаях, например в ситуации социокультурного кризиса, привычная психотерапия не срабатывала. Тогда смех из средства снятия напряженности «превращался в психосоциальный катализатор разрыва уз с традиционным авторитетом, обеспечивая ощущение того, что зло в лице последнего преодолимо и не так уж страшно» [67; 144].

Все эти заявленные наукой концептуальные установки выглядят вполне резонными. Однако допустимо ли, опираясь на них, ставить вопрос о связи русского бунта со смеховой культурой, тем более что этот тезис вызывает серьезные возражения в ученом мире («каким уж карнавалом мог быть всероссийский бунт?!» [64; 320]).

Сомнения эти достаточно обоснованы, прежде всего неожиданностью проблематики. И тем не менее думается, что вопрос о «смеховом зеркале» русского бунта вполне правомерен.

С момента своего воцарения Екатерина II воспринималась социальными низами в качестве самозванки на троне. С генеалогической, процедурной и символической точки зрения такая оценка была абсолютно верной. В этом смысле «права» императрицы и способ занятия ею престола выглядели еще менее «законными», чем, скажем, в истории Лжедмитрия I. Иначе говоря, самозванческая интрига заговорщиков, организовавших дворцовый переворот 1762 года, увенчалась победой. Однако этот успех, несмотря на пышные формы коронационных торжеств и активную пропагандистскую кампанию, не мог подтвердить законность прав Екатерины в массовом сознании, подобно тому, как Лжедмитрий, заняв царский престол, не перестал быть самозванцем. Но самозванцам, с точки зрения традиционной ментальности, свойственно стремление перестраивать «божий мир» на сатанинский лад. Поэтому с первых дней царствования императрицы простонародье ожидало от проводимой ею политики «минус-поведения», оно заранее было готово видеть в ее правлении отрицательный смысл. «Верхнему» самозванчеству был резон противопоставить самозванчество «нижнее». Поиск культурной идентичности воплотился в образе традиционного царя – благочестивого, справедливого и законного, каким, например, в идеализированном представлении народа был Иван Грозный. В своем апогее этот поиск увенчался обретением «истинного» государя Пугачева-Петра III.

Таким образом, на социокультурном фоне переходной эпохи сопрягались типы самозванчества, восходящие к элитарному и народному пониманию монархизма. Но эти два среза культуры функционировали «не изолированно друг от друга, а находились в постоянном взаимодействии», и эпоха «накладывала на характер и содержание такого взаимодействия свой отпечаток». «До сих пор выражение “наивный монархизм” почему-то принято сопрягать с народной культурой и более того – только с ней одной. Но разве не столь же наивной была вера подавляющего большинства

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru европейских просветителей XVIII века в "просвещенного монарха", который с вершины властной пирамиды мудрым законодательством установит царство разума и всеобщего благоденствия? И чем такое "царство" отличалось от "свободной вольности", за которую ратовали самозванцы?» [65; 33 – 34].

В научной литературе неоднократно подчеркивалось, что Пугачев, приняв имя Петра III, т. е. заявив себя императором, в повстанческом лагере создавал порядки по образу и подобию государственных. При более внимательном рассмотрении можно заметить, что копирование чаще всего было с противоположным знаком. Иначе говоря, могли копироваться и заимствоваться государственные формы, но они насыщались противоположной ценностной символикой. Обратим внимание, что и все сакральное пространство, с точки зрения традиционного восприятия, было выстроено в бинарной оценочной иерархичности. Например, бесы ведь те же ангелы, но со знаком минус. То есть они – антиангелы. И Христу противостоит не кто иной, как Антихрист, и т. д. Одним словом, все точно такое же, но вывернутое наизнанку. Сталкиваясь в повседневной жизни с «изначным» царством господ, восставшие создавали свой мир как зеркальное отражение существовавших в стране порядков. Но сами-то эти порядки воспринимались общественными низами в традициях смеховой культуры, как антимир. «Неправильному» и «неправедному» миру господ повстанцы пытались противопоставить принципы, основанные на социальной правде, традиции.

С одной стороны, в подобных действиях отражался древний архетип народных собраний и советов вождю, реализовывавшийся не только в доисторический, но и в древнерусский период, с достаточно значительной ролью народных вечевых собраний. «Известий о решающей роли народа в политической жизни Руси конца X – начала XI века немало, особенно если учесть фрагментарность летописных сведений об этом периоде в целом... Можно также предположить, что завсеми упоминавшимися коллективными действиями горожан, когда они "не прияша", "возопиша", "послаша", "рекоша" и т. д., стояло вече. Другого механизма коллективного волеизъявления тогда просто не существовало» [91; 45].

С другой стороны, отметим и влияние на общественные низы манящего повседневного образа казаков, которые «живут по своим законам и находятся под управлением головы или начальника, которого сами выбирают». И хотя уже в XVII веке «войско Донское... вряд ли было демократической республикой», а «руководство "кругами" и решающий голос на них принадлежали все тем же старшинам и "домовитым", тем не менее жизнь казаков идеализировалась и рисовалась фольклорной утопией как "вольная вольница» [127; 27, 24].

Подобные архетипические воспоминания, наряду с соответствующими действиями властей, усиливая традиции мирского самоуправления, не могли не укреплять убежденности простолюдинов в том, что именно такие единственно справедливые порядки должны существовать в истинном православном царстве. В соответствии с их духом выстраивалась и, так сказать, административная политика пугачевцев, противопоставленная екатерининской организации власти.

Чтобы разглядеть борьбу двух противоположностей, обратим, например, внимание на последовательно крепостническое законодательство Екатерины II. Рассмотрим знаменитый указ от 22 августа 1767 года, в котором повелевалось: «А буде... которые люди и крестьяне в должном у помещиков своих послушании не останутся, и... недозволенные на помещиков своих челобитныя, а наипаче е. и. в. в собственные руки подавать отважатся, то как челобитчики, так и сочинители сих челобитен наказаны будут кнутом, и прямо сошлются в вечную работу в Нерчинск». Эту крепостническую меру едва ли можно назвать екатерининской новацией. Известно, что «право крепостных жаловаться властям и доносить на своих хозяев» было ограничено еще Соборным уложением 1649 года. Однако указ 1767 года ужесточил наказание за жалобы, дополнив его ссылкой в Нерчинские рудники, и оставался в силе по крайней мере до 1775 года. Таким образом, в соответствии с законодательством, челобитье квалифицировалось как преступление. Всех челобитчиков отправляли на каторгу, а составителей челобитной следовало «наказать по указам».

С такими репрессивными решениями по народным челобитьям можно неоднократно встретиться в истории царствования Екатерины II. Однако вспомним, что в контексте традиционной «картины мира» царь – это гарант установленных Богом порядков, социальной справедливости. Если при этом народу живется плохо, значит, царь не осведомлен о его бедствиях. Считалось, что бояре (дворяне) скрывают от монарха истинную картину народных страданий. Следовательно, необходимо,

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru составляя челобитные, доносить их непосредственно до самого царя. Только тогда, когда вся правда будет ему известна, царь устранил несправедливости и накажет виновных. Таким образом, с точки зрения народа, подача челобитных есть его неотъемлемое право. При этом в основе такого поведения лежала вера в царскую справедливость, убежденность в том, что государь обязательно примет сторону народа.

Поездка Екатерины II по Поволжью в 1767 году показала это со всей очевидностью. За время путешествия ей с тщетными, как оказалось, надеждами на справедливость было подано около 600 крестьянских челобитных. Екатерининское законодательство, отменявшее традицию, должно было казаться народу неправильным, «перевернутым», символизировало всю несправедливость ее «неправедного» царствования.

Не случайно в повстанческом войске наблюдалась прямо противоположная картина. Известно много примеров так называемого «суда» Пугачева-Петра III над помещиками по жалобам их крестьян: «...и потом пошел он к Пензе. И идучи дорогою, приведено к нему людьми боярскими и крестьянами дворян, как он теперь припомнит, пять человек, коих он по жалобам их, что они крестьян своих обижали, приказал повесить, коих Овчинников и повесил». В другой раз: «...в сие время приведено к нему, злодею, крестьянами и его казаками из разных селеней, сколько он припомнить может, дворян пятнадцать человек (а подлинно не помнит), коих он приказал повесить» [36; 203].

Как видим, в повстанческом лагере отсутствует характерная для екатерининской власти судебно-следственная процедура. Какие доказательства считаются здесь достаточными для определения меры вины? Конечно же, выдержанные в духе традиции. Это народные жалобы. Для совершения расправы необходимо только, чтобы, скажем, крестьяне или казаки обвинили кого-то в «злодействе». Как, например, в этом весьма характерном эпизоде, зафиксированном в показаниях Пугачева: «...пришли ко мне илецкия казаки и жаловались на своего атамана Портнова, что он их обижает... А я приказал сделать рели и велел его повесить» [36; 83].

Обращаясь к источникам по истории пугачевщины, неоднократно встречаемся с аналогичной процессуальной практикой повстанцев, что позволяет предположить устойчивость соответствующих «правовых» форм. В судебном «крюкотворстве» пугачевцы не усматривали особой необходимости, ибо «истинная» вина «подсудимых» не требует дополнительных доказательств: богу да государю она и без того видна.

В таких действиях можно усматривать зеркальное отражение упомянутого указа 1767 года, т. е. Пугачев-Петр III сознательно поступает как анти-Екатерина. В то время как сама императрица, в народном восприятии, это лжецарь, ее поступки кажутся народу маскарадным кощунством. Поведение же Пугачева вполне соответствует традиционному диалогу власти с социальными низами.

Перейдем к иным сопоставительным ракурсам параллельных царствований самозванной императрицы Екатерины и «законного» царя-батюшки Пугачева-Петра III. Согласно распространенному мнению, екатерининское правление – это эпоха «просвещенного абсолютизма». Оно стремилось воплотить в жизнь идею союза монарха и ученого, объединенных благородной целью совершенствования общественных нравов или изучения производительных сил природы ради овладения ими для блага государства. В истории XVIII века известно немало попыток сближения представителей интеллектуальной элиты с августейшими особами». Не требует дополнительной аргументации известная «дружба» Екатерины и факт ее переписки с тогдашними властителями дум просвещенного европейского общества. Все имена здесь как на подбор: Вольтер, Дидро, Д'Аламбер, Гримм, другие знаменитые мыслители. Скорее всего о факте переписки императрицы, как и о самом существовании просветителей, вождь бунтовщиков вряд ли догадывался. Но общий вектор интеллектуальных запросов Екатерины ощущался простолюдинами как вполне очевидный.

«Фасадный» образ «Матери Отечества» мог обмануть не знавших Россию иностранцев или дворян, хотевших верить в ее прогрессивную культуротворческую миссию, но не массовую пронизательность простецов, на своей «шкуре» испытывавших высокую степень ее просвещенности. Поэтому в противовес декларируемой Екатериной симпатии ко многим представителям «философского века» Пугачев-Петр III проводит политику «непросвещенного абсолютизма», доводя ее до крайней формы выражения. Встречавшихся иногда на его пути ученых мужей он казнил мучительной смертью: «Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел его

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru повесить поближе к звездам» [93; 75].

Заметим, что эта казнь имела нарочито подчеркнутый ритуально-символический характер. Почти полную аналогию, например, мы встречаем при описании казни Иваном Грозным стрелецкого командира Никиты Голохвастова. Это был человек, «известный своей отчаянной храбростью», но вынужденный спасать жизнь уходом в монашество. Тогда царь «велел привезти его и сказал, что поможет bravому иноку поскорее взлететь на небо. Голохвастова посадили на бочку с порохом, а порох взорвали» [109; 180 – 181].

Иной раз лишь случай сохранял жизнь видным ученым-интеллектуалам. Известно, например, что от рук бунтовщиков едва сумел спастись будущий великий одописец эпохи Г. Р. Державин; в Оренбурге выдержал длительную осаду пугачевцев академик П. И. Рыч-ков, член «Оренбургской Пограничных и Иноверческих дел Экспедиции» и т. д.

Продолжая сравнение, заметим, что характерной чертой «перевернутых» порядков господ являлось непомерное обложение социальных низов податями. В литературе было подсчитано, что в 1758 году прямые налоги составляли 5,4 млн руб., а в 1796 году – уже 26 млн руб., правда, в основном за счет увеличения численности населения. Зато государственные подати на протяжении XVIII века увеличились в 1,5 раза, а повинности крестьян по отношению к помещикам выросли в 12 раз. Выросла и номинальная сумма, полученная от прямого обложения [43; 245]. Но, вероятно, дело заключалось не только и не столько в размерах податей. Важным было и другое – социально-психологическое – обстоятельство. Для простолюдинов казалось значимым осознание объективной реальности как вполне законной. В условиях же продолжавшегося, как они считали, «царства Антихриста» рост повинностей воспринимался как вполне закономерное, но, в глазах народа, несправедливое следствие победы сатанинских сил. Подобная оценка ситуации, естественно, стимулировала народное недовольство.

Разумеется, «истинный» царь не мог поступать аналогичным образом, увеличивая народные тяготы. Более того, его поведение должно быть прямо противоположным. Так и вел себя Пугачев-Петр III, «ездя по городской крепости и по улицам». Он объявлял людям, что «прощает их платежом, как подушных денег, так и протчих государственных податей, вовсе, також и от помещиков свободными», т. е. опять поступал наоборот, вопреки порядку, установленным императрицей [89; 190]. Поэтому протестующие низы были искренне убеждены, что «истинный» государь «старается за крестьянство и тех крестьян, которые ныне у господ, отбирает и дает им от всех податей на десеть лет свободу» [90; 61]. Иначе говоря, все поведение самозваного императора Петра Федоровича должно было демонстрировать непрекращающуюся борьбу с «изнаночным» миром изменников-дворян.

Характеризуя «смеховое» восприятие пугачевцами сложившихся при Екатерине II порядков, отметим их противоположное отношение и к государственным преступникам. Другими словами, все действия, направленные во вред «неправедному» царству господ, имели для бунтарей положительную окраску, получали смысл богоугодного дела. Те, кто их совершал, в глазах пугачевцев – праведники и мученики, их необходимо спасать и привлекать к совместной борьбе. Например, в пугачевском манифесте от 3 декабря 1773 года «во всенародное известие» прямо приказывалось: «Кто раб боярский и если крестьян в неволе у злодеев, сегодня мною освобожден, кто в тюрьме, выпускается». Об этом же вспоминал на допросе и сам Пугачев: «Тюрьму велел отворить, но, были ль колодники, – не знает». Причем за неисполнение приказов «амператор» Петр Федорович недвусмысленно грозил «таким головами рубить и кровь проливать, всю семью разделить» [33; 38; 36; 203].

Кстати, заметим, что та же логика протеста: враг моего врага – мой друг, прослеживается и в ходе других бунташных выступлений в России. Приведем показательный пример из истории разинского бунта: «В урочище Каравайные горы казаки остановили струг, везший колодников из Казани в Астрахань. Колодников они освободили, а кандалы разбили и побросали в воду. Все ссыльные присоединились к разинцам. Во время недолгого пребывания разинцев в Царицыне, который они хотели «взятьем взять», С. Разин «у тюрьмы замок збил и сидельцев выпустил» [15; 39].

Рассмотрим еще одну область сравнений. Екатерина II, реализуя интересы господствующего сословия, продолжала линию на отмену обязательной дворянской службы. Причем «дворянские вольности» последовательно реализовывались императрицей уже в первое десятилетие ее царствования, т. е. до пугачевщины.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Однако отмена дворянской службы нарушала привычную людям социальную гармонию, когда дворяне служат, а крестьяне обеспечивают материальную возможность этой службы. Односторонность дворянской эмансипации должна была восприниматься крестьянами как очевидная перевернутость, как минус-поведение. Кроме того, «именно в царствование Екатерины II раздача дворцовых и государственных крестьян помещикам приняла невиданные размеры, – в каждый из 34 лет ее царствования в среднем раздавалось и жаловалось помещикам по 15 тысяч душ крестьян мужского пола» [7; 32 – 33]. Знаменательно при этом, что российское дворянство, подобно самодержавию в целом, приобретало новый облик в духе эпохи. Его привилегированное положение узаконивалось признанием его «вольностей», т. е. гражданских прав, и подкреплялось правом господства над крестьянами в силу непросвещенности последних.

Пугачев же в образе Петра III неоднократно заявлял о намерении восстановить обязательную службу дворян, а крестьянскую крепость – ликвидировать, т. е. опять-таки декларировал намерения действовать наперекор екатерининской политике, стремился восстановить гармоничные, «правильные» социальные взаимоотношения. Неоднократно повстанческий вождь сокрушался по поводу несправедливости сложившихся в государстве порядков: «А главная-де причина – вот чем я им был не люб: многия-де из бояр-та, молодые люди и середовичи... годняя бы еще служить, взявши себе чин, пойдет в отставку да и живет себе в деревне с крестьянами, разоряет их... так я-де стал таковых принуждать в службу и хотел... чтоб они служили на одном жалованье» [89; 194]. При этом место дворян во властной иерархии должны были занять казаки – прочный оплот старины, оказавшиеся в XVIII веке под мощным прессом правительственного давления.

Нарушение традиционных канонов казачьей жизни порождало у повстанческого императора надежду в заинтересованности казаков перевернуть государственные порядки: «В сие то время я разсудил намяно-вать себя бывшим государем Петром Третьим в чаянии том, что яицкие казаки по обольщению моему скоряя чем в другом месте меня признают и помогут мне в моем намерении действительно» [96]. Сподвижник повстанческого вождя Иван Почиталин в сво-их показаниях отмечал, что Пугачев все время «проговаривал: когда он всю Россию завоеует, то зделает Яик Петербургом, яицких казаков производить будет в первое достоинство за то, что они – причину возведения его паки на царство» [89; 111 – 112].

В рамках господствовавшего тогда мифологического мышления простая механическая перестановка социального «верха» и «низа» была невозможна. Она неизбежно должна была облечься в форму знаковой перемены, что побудило пугачевцев произвести серию символических переименований: например, яицкий казак И. Зарубин «превратился» в графа Чернышева, А. Овчинников – в графа Панина, М. Шигаев – в графа Воронцова.

В масштабе традиционного социокультурного измерения подобные действия допустимо рассматривать как парадоксальные, но никоим образом не как примитивные.

В мифологическом пространстве объект, «попадая на новое место... может утрачивать связь со своим предшествующим состоянием и становиться другим объектом (в некоторых случаях этому может со-ответствовать и перемена имени)» [57; 435, 439]. По сути дела, мифологическое сознание бунтовщиков слагает здесь свои сакральные имена. Если для нас «имя собственное (к примеру, Иван, Москва, Христос) только обозначает объект, является его “этикеткой” или “визитной карточкой”, то в глазах людей, мыслящих по законам “мифологического сознания”, любой словесный знак, любой эпитет может стать именем собственным...» [126; 70].

Пополнялась и сакральная топонимика [40]. Повстанческая столица Берда была наименована Москвой и в возрождаемой пугачевцами «святой Руси» заняла ее место. Показательно, что речь шла именно о Москве, но не о Петербурге, который в сознании простонародья символизировал государственное начало, в то время как Москва – центр духовный, символ «праведного» царства. Не случайно, что Петербургом – административной столицей – назван яицкий городок, являвшийся центром Яицкого казачьего войска. Названная же Москвой Берда символически стала «Новым Иерусалимом», сердцевиной праведной земли, местом сгущения традиционного социокультурного пространства.

В сакральной топонимике бунтовщиков могли находить выражение страхи и другие эмоциональные переживания общественных низов. Поэтому, назвав Берду Москвой и т. д., Пугачев не сомневался, что новая «этикетка» в массовом сознании повстанцев

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru прочно «прилеплялась» к ее сущностному смыслу. В Поволжье, на Урале, в других районах, охваченных бунтом, пугачевцы создавали свое собственное «святое царство», исправлявшее со знаком наоборот «перевернутый» мир господ.

В глазах пугачевцев этот мир выступал как изнаночный, маскарадный, воспринимался ими по зеркальным канонам смеховой культуры. Поэтому поведение правящих кругов казалось им глумливым выворачиванием наизнанку устоев социальной правды, нарочитой пародией, бесовскими игрищами.

Едва ли кого могло удивить, что именно в эпоху, когда прежняя система ценностей усиленно искоренялась, получило развитие сценическое, зрелищное искусство. Это было привычно-непривычное явление. Зрелища, культивируемые правящими кругами в условиях переходного периода, теперь строились на иных, чем прежде, принципах. Согласно наблюдению ученых, «театральная идентификация была абсолютно условной, никак не связывалась с жизненными коллизиями эпохи, но ее семантическое ядро все-таки вызывало ассоциации с реальностью, в которой человек менял маски, изменял свое поведение, примериваясь к различным амплуа» [105; 10].

Происходило взаимопроникновение реальной жизни и ауры театральных подмостков, одно оказывало влияние на другое. Театр, использовавший маску, напоминал один из самых распространенных праздников XVIII века – маскарад. И в этом обстоятельстве носители традиционной ментальности могли усмотреть смысловой подтекст.

Вспомним, что в средневековье при разоблачении еретиков публично демонстрировалось, что они принадлежат к антимиру, к кромешному (адскому) миру, т. е. являются «ненастоящими». Но в театре, по сути дела, происходило карнавальное саморазоблачение: «переодеваясь» в чужой образ, меняя маски, танцуя и веселясь, участники сценических действий символически словно бы сами заявляли о своей принадлежности к миру иному, о себе – как о ряженных. В этом случае невольно мог осознаваться известный афоризм: жизнь есть театр, в котором люди – актеры, и играющие роли. Но и наоборот. Театр есть жизнь. Бесовскому искусству «Северной Минервы» повстанцы с неизбежностью должны были противопоставить свою собственную игру, сценическому зрелищу господ – зрелище народного бунта, или, образно говоря, им было необходимо «протанцевать» свой протест. Признание данного обстоятельства помогает лучше понять не только резкое усиление игрового элемента в русской культуре переходной эпохи вообще, но и так называемую «игру в царя», благодаря которой «смешным» нередко выглядел и сам пугачевский бунт.

Итак, рассматривая события 1773 – 1775 годов, убеждаемся в том, что кризис традиционной идентичности обнаруживал себя в культурном расколе XVIII века, когда порядки, создаваемые в процессе модернизации, воспринимались социальными низами как утверждение «перевернутого» мира, торжество «кромешных» сил. Соответственно, встав на защиту традиции, пугачевцы пытались всем своим действиям придать противоположную смысловую нагрузку, стремились к возрождению подлинно «святой Руси». В этой сакральной державе истинно верующий получал статус верноподданного во всех смыслах слова. Такой статус души стремился установить и укрепить пугачевский бунт.

«Игра в царя» в этом контексте представляла как игра в сакральное, всемогущее существо. При этом «порядок, устанавливаемый игрой, непреложен. Малейшее отклонение от него мешает игре, вторгается в ее самобытный характер, лишает ее собственной ценности» [134; 29].

Игра имеет место только тогда, когда все участники соблюдают ее правила. Этим, как представляется, можно объяснить тот факт, что большинство самозванцев почти не оставили следа в истории, и только те из них, кто «докричался» до народа и получил поддержку определенных социальных слоев, оставили память о себе и своих поступках. Иначе говоря, «одни самозванцы лучше играли свою роль», в то время как «другие претенденты на престол не соблюдали общепринятых “правил игры” или же чаще их нарушали» [125; 54].

Многие из «классических» игровых сюжетов отмечены и в истории пугачевского бунта. В соответствии с условиями игры в ней обязательно должен быть ведущий – игровой «царь», который избирался участниками и на которого возлагались соответствующие ролевые полномочия, как это произошло, например, во время объявления среди яицких казаков «амператора Петра Федаровича». Вот что об этом рассказал казачий сотник Т. Мясников во время допроса: «И так для сих-то самых причин вздумали мы назвать его, Пугачева, покойным государем Петром Федоровичем,

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru дабы он нам восстановил все обряды, какие до сего времени были, а бояр, какие больше всего в сем деле умничают и нас разоряют, – всех истребить» [68; 24]. Один из крупнейших вождей пугачевского бунта яицкий казак Иван Зарубин дополнил сведения: «А Ко-роваев стал говорить, что ето-де не государь, а донской казак, – и вместо государя за нас заступит, – нам-де все ровно, лишь быть в добре. И он, Зарубин, услыша, положив о том, что так тому и быть, ибо всему войсковому народу то было надобно» [89; 130].

Сложно с уверенностью утверждать о степени информированности казаков относительно реального происхождения Пугачева-Петра III. Источники сохранили противоречивые свидетельства на сей счет, да и чего не скажешь под нажимом следователя. Поэтому вслед за Н. Я. Эйдельманом попытаемся вникнуть в психологию самоубеждения тех, кто, может быть, и сомневался в «истинности» своего предводителя. «Пусть Пугачев не царь, но окружающие должны верить; а поверив, назвав его царем – уже присягнули и одним звуком царского титула передали ему нечто таинственное. А он сам, понимая, что они не очень-то верят, ведет себя так, будто они верят безоговорочно, и сам себя этим еще сильнее заряжает, убеждает – а его убеждение к ним, “генералам”, возвращается! К тому же старшие видят магическое влияние государева слова на десятки тысяч людей, и после этого уж самый упорный привыкнет, самому себе шепнет: “А кто ж его знает? Конечно, не царь, но все же не простой человек; может быть, царский дух в мужика воплотился?”» [139; 108]. Иначе говоря, уже сам факт называния царем в глазах простонародья имел религиозный аспект, означал претензию на сакральный статус.

В такой интерпретации самозванец мог выступать в своеобразной роли ряженого, дополняя ряд других знаковых «переряживаний»: Берды – в Москву, Яицкого городка – в Петербург, Зарубина – в Чернышева и т. д., что в содержательном плане соответствовало кощунственному стремлению через внешнее подобие обрести сакральные свойства.

Важным компонентом «игры» являлось принесение присяги: «придите ко мне с послушанием и, по-ложа оружие свое пред знаменами моими, явите свою верноподданническую мне, великому государю, верность», – призывал повстанческий «Петр III» своих потенциальных сподвижников [33; 24]. Клятва вассальной верности, даваемая каждым пугачевцем, подразумевала разрыв контактов с официальным миром господ. Игра, как известно, предполагает наличие минимум двух сторон, которые должны отличаться друг от друга. Это придавало значимость внешней атрибутике. Поэтому клятва дублировалась своеобразным «постригом» – по-казачьи. Сообщения об этом разбросаны по страницам источников по истории пугачевщины. «Ежели-де бог велит мне царством владеть, – говорил Пугачев, – то я велю всем... волосы стричь по-казачьи» [89; 188]. После взятия пугачевцами крепости Магнитной «у солдат отрезали косы, что символизировало признание ими в качестве государя Петра III» [76; 20]. И это далеко не единичные примеры подобных действий пугачевских бунтарей. Тожество внешнего облика повстанцев должно было символизировать принадлежность к своеобразному «братству» избранных, «играющих» на одной стороне. В контексте игрового сюжета присяга могла рассматриваться как подтверждение своей готовности стать участником игры, т. е. принять и соблюдать ее правила. Если принявшие «постриг» становились «своими» – «праведниками», то не пожелавшие играть – «грешниками», наказание которых – богоугодное дело.

В начавшейся игре ролевой образ выбранного «царя» предполагал соответствующее знаковой смене статуса поведение. «Царь» должен был обрушивать на «подданных» свою «грозу». А те, в свою очередь, молить его: «Государь-царь, пощади». Коль скоро в ходе игры выбранному «царю» полагалось налагать на подданных опалы, не стоит удивляться, что повстанческий смех нередко проявлялся и в многочисленных казнях бунтарями своих противников.

Например, смеховой «начинкой» казни через повешение, распространенной у повстанцев, могло быть ироническое «возвышение». Для дворян большое значение имело понятие социального и служебного статуса. Смысл их жизни заключался в стремлении подняться вверх по социальной и служебной лестнице. Повешение в символическом плане – это и есть буквальное повышение, «повесить повыше». Поэтому, например, пугачевцы «каждого помещика, кого застать могут, всех намерение имели вешать, в чем подлой народ, смотря на сие, веселится и тем больше веруют» [90; 127 – 128].

Поистине «игровыми» нередко выглядели расправы самозваного царя – Пугачева. На

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru допросе в Яиц-кой секретной комиссии он сообщал о захвате Черно-реченской крепости: «Тут был один афицер, не знаю кто, хотел было от меня ускакать в Оренбург. Однако ж велел ево, поймав, повесить, приговаривая, что от великаго государя бегать незачем» [36; 84].

Оттенок ритуально-символического смеха слышится и в словах народной исторической песни, в которой Пугачев с горькой иронией сетует:

Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:

я бы чину-то прибавил, спину-то поправил,

На твою-то бы на шею варовинны возжи,

За твою-то бы услугу повыше подвесил [66; 266].

Или наоборот – сбрасывание с башни вниз – это мгновенная перемена «верха» и «низа». Поэтому сбрасывание с башни означает символическое развенчание, как это было, например, в Путивле периода Смуты, где «вор Петрушка... игумена Деонисия скинул з башни и убил до смерти», или в Астрахани во время разинщины, когда «с высокой башни правитель города был свергнут вниз». К тому же здесь умерщвление происходит через удар об землю, которая народной культурой относится к сакральным стихиям. Смеховое прочтение допустимо и при подвешивании бунтарями своих жертв за ноги. Например, в селе Чернавском пугачевцы «велели священнику идти к злодейскому их полковнику... который, будучи с крестом, в ризах и епатрахиле... помянутым полковником застрелен и за ноги повешен вне церкви». Перевертывание «вверх ногами» здесь подобно тому, как сам бунт переворачивал в целом все существовавшие порядки. Оппозиция «верха» и «низа» в традиционной культуре имела глобально-обобщенный смысл [110; 155; 115; 109; 90; 386].

Известно, что публичная казнь в доиндустри-альные времена всегда привлекала внимание многочисленных зевак. При этом личность жертвы редко вызвала сочувствие. Не были исключением и казни в стане Пугачева, которые также стягивали значительное количество людей, охочих до кровавых зрелищ. Так было и в эпизоде казни дворового человека Якова в Яицком городке в начале 1774 года, во время которой «топором же сечь было некому. Тогда Пугачев и Авчинников, оборотясь назад прямо на него Ефремова (где он тогда зрителем же был), приказывали ему итьтить и рубить, почему он... не смея отговоритца против самозванцева приказа, не говоря ни слова, пошел и рубил того человека на части: сперва отрубил руки и ноги, а потом голову» [89; 181]. Здесь звучит зловещий, буквально «сатанинский» смех пугачевцев, поскольку в традиционном сознании палачи ассоциируются с колдунами – и тем и другим приписывается антиповедение. Поэтому столь святотатственным, с точки зрения Ефремова, казалось его приобщение к палаческой должности, т. е. в конечном счете к «миру иному». Ефремов с ужасом вспоминал о своих опасениях, «что и впредь употребляем будет в сей же должности, чего ему делать не хотелось» [89; 181]. С большим трудом, с помощью подкупа, ему удалось избежать этой опасности.

Обратим внимание, что Ефремов рубит свою жертву топором, который в традиционном обществе имел определенное культурное значение. Угроза топором, как известно, была своеобразным ритуалом исцеления от болезни, очищающим обрядом, т. е. словесной формой излечения. Важно и то, что «здоровье» – это значимая категория, противостоящая «болезни» и «смерти». Исцеление словом означает некое магическое действие, в котором топор, как видим, играет далеко не последнюю роль. Иначе говоря, топор связан с магией слов. Подтверждает сказанное, например, и русская народная сказка. «Приехал [Емеля] в лес: “По щучьему веленью, по моему хотенью – топор, наруби дровишек посуше...” Топор начал рубить, колоть сухие дерева... Потом Емеля велел топору вырубить себе дубинку – такую, чтобы насилиу поднять» [101; 414][41]. К тому же глагол «рубить» также имеет символический смысл – он означает насилие, рассечение первотела жертвы.

Связь рассечения жертвы топором с сакральным процессом Сотворения Мира (моделью которого является строительство дома – говорят так: «рубить дом») превращает казнь Якова в своеобразный архаичный об-ряд жертвоприношения. Воспринимая дом как священное место, полагаем его точкой сгущения культурного пространства, в котором проявляется известная оппозиция «свой» – «чужой». Если «свой» дом – это модель мира, его строительство выступает сакральным процессом, то «чужой» дом – это модель антимира. Пребывание в нем накладывает свою сатанинскую печать.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Поэтому дворовой человек Яков, постоянно там проживавший, избавляясь от скверны, должен был стать искупительной жертвой.

С символическим смехом мы сталкиваемся и во время других протестных выступлений в истории Руси/России. Например, в ходе стрелецкого бунта 1682 года в Москве восставшие чинили многочисленные расправы: «Но едва он [князь Юрий Долгоруков. – В. М.] успел сотворить крестное знамение, как был сброшен на копья. Труп его выволокли за ворота и разрубили на части; одни, распоровши живот, клали в него рыбу, приговаривая: “Ешь теперь, князь, вкусно, так, как поедал ты наше добро...”» [28; 16].

В данном примере смеховой контекст прослеживается в том, что высокий статус князя Долгорукова, принадлежавшего к одному из наиболее знатных российских родов, снижается посредством перевода ситуации к материально-телесному низу. В целом умирающее/рождающееся тело человека привлекло особое внимание народного смеха к его рту, заду и брюху (чреву). Поэтому весь эпизод в смысловом отношении связывается с высмеиванием различных частей тела.

Определенные элементы «смеха» можно предположить и в распространенной у пугачевцев казни через обезглавливание, формально выглядевшей как отделение «верха» от «низа». Конкретные примеры пугачевских расправ и их символику рассмотрим в дальнейшем, а сейчас отметим, что подобные смысловые коллизии были характерны и для других русских бунтов. Например, о пугачевском земляке Разине иностранный современник писал так: «Стеньку нельзя было бы отличить от остальных, ежели бы он не выделялся по чести, которую ему оказывали, когда все во время беседы с ним становились на колени и склонялись головою до земли...» [119; 363].

Склонение (опускание до земли) головы являлось своеобразным утверждением более высокого статуса того лица, перед которым склонялись. Отрубание головы – это и есть ритуально-символическое «склонение до земли», т. е. понижение и унижение незаслуженно высокого. Вполне понятно, как свидетельствуют источники, что «такое несчастье постигало большую часть начальников», далеко возносившихся в своих мечтах и гордо державших голову высоко поднятой. Этот мотив зафиксирован и фольклором, например исторической песней «Казачи убивают Карамышева»:

Подымается с Москвы большой боярин,
Он на тихий Дон на Иванович гуляти.
Не доехавши он тиха Дону становился,
Похвалялся он казаков всех там перевешать.

Во единой круг казаки тотчас собирались,
Посередь круга становился царев боярин,
Он начал читать государевы для них указы.
Дочитался он до царского только титула,
Казаки тотчас все шапки тут снимали,

А большой-ат царев боярин шляпы не снял,

Оттого-то все казаки тотчас взволновались,
Разъярившись, они на боярина вдруг бросались,
Буйну голову от бела тела отрубили,
А бело тело во тихий они Дон бросали,
А убивши, они его телу говорили:
«Почитай ты, большой боярин, государя,
Не гордися ты перед ним, боярин, и не славься» [66; 172].

Покрытая голова воспринимается здесь как оскорбительное для всех возвышение своего статуса перед царем. Поэтому расправа над Карамышевым – «голову от бела тела отрубили» – символически понималась казаками как статусное понижение казнимого до абсолютного низа, ибо перед лицом государя подданные находились на прямо противоположном социальном полюсе.

Заметим, что упоминания о повстанческом смехе нередко прямо присутствуют в расспросных и пыточных речах пугачевцев. Например, неоднократно указывалось, что во время многочисленных казней повстанцы «много тем веселились», совершали их «ради потехи» и т. п. Таким образом, можно утвердительно констатировать наличие повстанческого смеха в жестоких расправах пугачевцев со своими противниками.

В соответствии с правилами у игрового «царя», разумеется, должен был быть свой символически понимаемый дворец. В показаниях Т. Мясникова приведены подробности обустройства этого «дворца»: «Самозванец жил в доме берденского жителя Ситникова, так как этот дом был из лутчих и назывался дворцом государевым, у которого на крыльце всегда неперменной стоял караул, состоящий из выбранных нарочно для сего лутчих яицких казаков, дватцати пяти человек. И буде куда он отлучался, то всегда за ним и ездили, и для сего и назывались они гвардией. Покой у него был обит вместо обоев шумихою, по стенам зеркала и портрет государя цесаревича Павла Петровича... Дежурным всегда при нем был из яиц-ких казаков Еким Давилин. В покое с ним никто не начевывал, кроме двух живших у него русских девок, а чьи такиея, – не знает, и двух мальчиков... которых он называл своими детьми; показанныя ж девки были у него стряпухами» [87; 100].

В этом «дворце», как видим, есть все необходимые «царские атрибуты»: и государевы покои, «пышно» убранные, и почетный караул, который несет «придворная гвардия», здесь же прислуга, а также мальчики, играющие роль своеобразных пажей. Все как должно быть. Не хватает во дворце только «хозяйки» – государыни, а без нее образ игрового «царя» не полон, не завершен. Поэтому «возвратясь» из Яицкого городка в Берду, Пугачев «объявил всему войску, что он, будучи на Яике, женился на тамошней казачей дочери Устинье Петровне. А потому и приказывал всем ее признавать и почитать за царицу...» [87; 101].

При императрице появился свой двор, свои фрейлины – «дочь яицакого казака Чреватина Марья, а другая – Парасковья Чапурина, да и окроме оных при ней находились множество, и все почитали ее царицею. О чем надобно было ей докладывать, то все, при ней бывшия, называли: “Ваше императорское величество! Как изволите приказать?”» [89; 119].

Однако в процессе «игры» избранная царица тоже должна вести себя соответствующим образом, по «правилам». В этом заключалось обязательное игровое требование, но «Устинья никогда из дому своего не выходила... ни в какия главныя дела не входила... и ничего другога не делала, как сидя во дворце, разговаривала со своими подругами» [89; 119].

Таким поведением «царица» словно сигнализировала о своем выходе из игры, о нежелании ее продолжать. Поэтому «сия его женидьба» вызвала у некоторых «сумнение такое, что государи на простых никогда не женятся, а всегда берут за себя из иных государств царскую или королевскую дочь», – выразил массовые настроения Т. Мясников [87; 101].

Игра может продолжаться лишь до тех пор, пока ее участники придерживаются общепринятых правил. Нарушение игрового стереотипа табуируется культурными установками, оно подрывает веру в подлинность нарушителя, что приводит к печальной развязке. Пережив в «царственном» бракосочетании свой апогей, игра заметно истощила потенциал, и играющие стремились быстрее сделать последние предусмотренные ходы, чтобы ее закончить.

Но каковыми должны были быть эти самые ходы? Любопытный финал фольклорная игра предложила, например, в Богемии. Переходя к развенчанию названного короля, крестьяне организовывали над ним суд. «По его окончании судья... объявляет приговор словами “виновен” или “невиновен”. Затем судья трижды громким голосом произносит слово “виновен” и приказывает глашатаю обезглавить Короля». В некоторых районах Богемии королю давали последнюю возможность испытать свою судьбу: «в сопровождении судьи, палача и других ряженных с целой свитой солдат Король выезжает на сельскую площадь...» Затем «кавалькада всадников скачет на заранее намеченное место на прямой и широкой улице. Здесь конные выстраиваются в два ряда и Король пускается в бегство. Ему дают возможность на полной скорости отъехать от группы, которая некоторое время спустя начинает преследование. Если Короля настичь не удастся, он сохраняет за собой этот титул на следующий год... Если же его настигли, то наказывали прутьями из орешника или били деревянными мечами и принуждали спешиться. После этого палач задавал вопрос: “Нужно ли мне обезглавить этого Короля?” На это ему отвечали: “Обезглавь его”. Палач взмахивал своей секирой и со словами: “Раз, два, три – и Король без головы!” – сбивал с его головы корону. Под громкие возгласы присутствующих Король падал на землю...» [133; 335 – 336].

Нечто похожее имело место и во время пугачевщины. Пока Пугачев бежал, но бегство его казалось «нашествием», все было в порядке. Бунтовщики убеждались, что ему

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru удается сохранять свою сакральную силу. Когда же магическое могущество, как казалось, покинуло «царя», его войско стало терпеть одну неудачу за другой. Ситуация принципиально изменилась. На попытки Пугачева по-прежнему играть свою роль: «Што вы ето делаете? Вить ты сам знаешь божие писание: кто на бога и на государя руку подымет, тому не будет прощения ни здесь, ни в будущем веке», казаки отвечают явно выраженным отказом: «Нет, нет! полно! Уже не хотим больше проливать крови!.. Полно уж тебе разорять Россию и проливать безвинную кровь!» Однако правила игры заставляли предоставить «царю» возможность бежать, доказать, что сила все еще на его стороне: «Злодей... огленулся, между тем, и видя, што казаки немного поотстали от нас... чухнув лошадь и съворотя с дороги, поскакал в степь мелким камышом...» Итак, побег «царя» состоялся, его будущее теперь зависело только от него. «Я, вскричав ехавшим позади меня казакам: “Ушол! Ушол! – сообщал на допросе И. А. Творогов, – чухнув и свою лошадь за ним...” Но удача, как видно, оставила “царя”, догнав, связали злодею руки назад». Но и это была еще не вся развязка. Сумев вооружиться, Пугачев «шол прямо на него [Федулева. – В. М.], уставя в грудь пистолет, у котораго и курок спустил, но кремень осекся» [89; 158 – 160]. Могли ли быть более зримые доказательства того, что сакральные силы выбранного царя совсем иссякли?

К этому времени игровой «запал» уже окончательно истощился и игра плавно катилась к своему завершению. Хотя впереди был еще суд над «царем» – предусмотренная игрой возможность оправдаться. Вспомним фольклорное «виновен» или «не виновен». И только после этого последует пресловутое: «Раз, два, три – и король без головы!»

Как отмечают исследователи игрового пространства, столкнувшись с категорическим отказом (например, продолжать игру), водящий в игре впадает в отчаяние, чем-то напоминающее депрессию. Однако это состояние более острое и содержит элементы растерянности. Подобные эмоциональные реакции отчасти проявились и в поведении Пугачева, захваченного в плен правительственными войсками. В письме генерал-прокурора Сената А. А. Вяземского Екатерине II выражалась беспокойность по поводу «весьма робкого характера» Е. И. Пугачева, «робости души его» [29; 146]. Свидетель его казни А. Т. Болотов отметил, что Пугачев «походил не столько на звероподобного какого-нибудь лютого разбойника, как на какого-либо маркитантишка или харчевника плюгавого. Бородка небольшая, волосы всклокоченные, и весь вид ничего не значущий». На эшафоте он стоял «почти в онемении» и только крестился и шептал молитвы [38; 490]. «Поймавшие его чиновники Екатерины II не могли прийти в себя от удивления и обиды в своем дворянском достоинстве, когда увидели, кто их держал целый год в страхе и трепете» [80; 132 – 133].

Безусловно, в источниках имеются и более лояльные свидетельства о поведении Пугачева в плену и во время казни. Один из современников, стоявший возле эшафота, написал: «Страх не был замечен на лице Пугачева. Он с большим присутствием духа сидел на скамейке, держа в руке горящую свечу, и именем Бога просил у всех прощения... Пугачев вошел на эшафот по лестнице... [его] раздевали, и он сам им с живостью помогал» [5; 548].

И. И. Дмитриев в своих мемуарах писал, что не заметил в чертах лица Пугачева «ничего свирепого. На взгляд он был сорока лет; роста среднего, лицом смугл и бледен; глаза его сверкали; нос имел кругловатый; волосы, помнится, черные и небольшую бороду клином» [69; 180].

Однако подчеркнем, что депрессия, отчаяние, заторможенность не обязательно должны быть симптомами именно страха. В трусости Пугачева никто не обвиняет, однако героизировать его поведение на эшафоте тоже, думается, нет оснований. Заметим, что подобное «онемение», «оцепенение», «ошеломление» и другие реактивные признаки были свойственны и многим пугачевским сподвижникам, также оказавшимся в плену. Слишком внезапным и трагичным оказался для них эпилог игры. Отсюда и депрессивный психоз, заторможенность всех психических реакций и т. п. Считать их только обычным поведением человека накануне казни (может ли человек накануне казни вести себя обычно?), как представляется, едва ли достаточно для понимания культурной символики рассматриваемой ситуации.

Будучи одним из «текстов» традиционной культуры, пугачевский бунт в игровом поведении бунтовщиков реализовывал свою родовую связь с архаическим прошлым. Читаемый на «языке» традиционализма, он придавал глубокую социокультурную значимость каждому «жесту» участников, творивших игру.

Поскольку бунт – это сигнал тревоги об общем бедствии, о кризисе общественной идентичности, чтобы быть понятным, он должен был восприниматься на родном для него языке, т. е. на том, на котором и он писал свой «текст». Поэтому важным и несомненным результатом пугачевской «игры в царя» можно считать также то, что бунтовщикам удалось заставить дворянство оживить в своей памяти знакомый им прежде, но уже, казалось, забытый язык традиционной культуры.

Сюжеты, символы и смыслы казней в стане Е. И. Пугачева
Приступая к рассмотрению обозначенной проблемы, будем говорить в основном об открытых случаях массового прямого насилия в виде казни бунтовщиками тех, кого они считали своими врагами. Именно казнь как высшая и самая страшная форма насилия станет объектом анализа.

Особую важность приобретут мельчайшие детали всего процесса казней, от их подготовки до совершения, что позволит рассмотреть культурно-символическое содержание повстанческих расправ. Например, как символическое явление исследователи представляют опричные казни Ивана Грозного. Они «превращались в своеобразное русское чистилище перед Страшным судом. Царь добивался полновластия как исполнитель воли Божией по наказанию человеческого греха и утверждению истинного “благочестия” не только во спасение собственной души, но и тех грешников, которых он обрекал на смерть». Смысловые истоки казней, которые чинились опричниками, видятся прежде всего в библейско-христианской традиции, хотя местами прямо указано на их мировую, в том числе и славянскую, мифо-символическую природу. Так, анализируя жестокие расправы Грозного над новгородцами, историки отмечают: «Мост через Волхов был, видимо, выбран царем специально: горящие люди со связанными руками и ногами попадают в холодную реку. Мост этот, судя по всему, был для царя символом наказания грешников, которым уготована “вечная мука”». Такие действия опричников вполне понятны на ритуально-символическом языке своей эпохи: «Река и мост испытания – древнейшие образы индоевропейской мифологии... Огненные река и озеро – неперенные атрибуты ада и Страшного суда; адский огонь иногда символически изображался в кипящем котле». Специальным интерпретациям ученых подверглись и расчленение человеческого тела, и растерзание животными, и другие казни, применявшиеся опричниками. Они также получили соответствующие смысловые истолкования [142; 54 – 56].

Предлагаемые исследовательские подходы вполне допустимы, поскольку речь идет об «изобретательности» Ивана Грозного, отличавшегося хорошим знанием библейских традиций и евангельских текстов. Но они едва ли достаточны для понимания действий широких народных масс, когда те брались за оружие.

В одной из полемических статей при оценке историографических стереотипов в изучении народных движений, справедливо обращалось внимание на «игнорирование их разбойного характера», на то, что «негативные их стороны остались за пределами внимания авторов» [71; 91]. В лучшем случае ученые лишь констатировали факты убийств и расправ бунтовщиков со своими противниками. Но от констатации повстанческого насилия до понимания его природы – большая дистанция.

Обращение к этой стороне проблемы требует изучения психических установок и поведенческих стереотипов, которые формировали потенциальную готовность простонародья к насильственным действиям. Необходимо также изучить механизмы, приводившие в действие «дремлющую» деструктивную энергию масс, заставлявшие общественные низы прибегать к ничем не сдерживаемым жестокостям против тех, кто находился по другую сторону баррикад. Для этого требуется, так сказать, «влезть в душу» повстанцев, попытаться понять внутреннюю мотивацию их про-тестных «жестов» на социокультурном фоне переходной эпохи.

Как известно, положение социальных низов в рамках традиционной системы определялось так называемой динамической адаптацией. Они вынужденно подчинялись строгому и суровому государству, так как боялись его. Здесь срабатывала властная потребность самосохранения, которая вынуждала человека принимать те условия, в которых ему приходилось жить. В то время как простолюдины приспособлялись к неизбежной ситуации, в них развивалась враждебность, которую они подавляли. Эта подавленная враждебность становилась динамическим фактором их характера, хотя в обыденной жизни она могла никак и не проявляться. Необходимы были дополнительные обстоятельства, чтобы подавленная агрессивность вылилась в протестные действия, как это не раз случалось в истории Руси/России.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Природа народного насилия во многом «замешана» на характерном для традиционной ментальности отношении к смерти, которая еще не осознавалась в качестве личной драмы и вообще не воспринималась как индивидуальный по преимуществу акт. В ритуалах, окружавших и сопровождавших кончину индивида, выражалась солидарность с семьей и обществом. Но и самый этот уход не воспринимался как полный и бесповоротный разрыв, поскольку между миром живых и миром мертвых не ощущалось непроходимой пропасти. Смерть утрачивала оттенок трагичности в глазах средневекового человека и вследствие его сугубо религиозной убежденности в том, что она является лишь своеобразным знаковым переходом из одной ипостаси в другую, в которой каждому уготована новая жизнь. Поэтому люди средневековья относились к смерти как к обыденному явлению, которое не внушало им особых страхов, она воспринималась в качестве естественной неизбежности.

К тому же в традиционном обществе человеческая жизнь ценилась необычайно низко. Многочисленные примеры показывают легкость, с какой тогда совершались убийства, распространенность детоубийств и т. п. Факторами, их обуславливавшими, могли служить многочисленные стихийные бедствия, когда в результате возникавшего голода развивались людоедство и трупоедство, как это было, например, по свидетельствам современников, в 1601 – 1603 годах в России. Массовая и частая гибель людей притупляла чувство утраты, развивались апатия и индифферентизм.

Соответствующие взгляды формировались и благодаря практиковавшимся государственной властью публичным казням. Наказания были своего рода театром, массовым представлением, красочной церемонией, которые были сродни, а иногда даже превосходили в варварстве само преступление. Они прививали населению вкус к кровавым зрелищам, в которых смерть играла главную роль, приучали зрителей к жестокости. Например, Соборное уложение 1649 года предусматривало пять видов смертной казни, но реальная практика не ограничивалась ими, а прибегала и к другим способам исполнения этой меры наказания. Однако «ужасы повешения, колесования, четвертования и другие изуверские способы смертной казни несколько не возмущали общественное мнение... Ужасы смертной казни не производили какого-либо потрясающего впечатления, не вызывали протеста и отвращения» [137; 24, 28 – 29].

Наказание кнутом. Гравюра (XVIII век).

Поскольку важным аспектом традиционной ментальности являлась подражательность, органично присущая народному сознанию, она могла проявляться, например, в копировании внешних церемониальных форм и логики функционирования государственного репрессивного аппарата. Суть этой логики заключалась не только в стремлении наказать подлинных виновников, но и продемонстрировать свое полное господство над жизнью и судьбой человека, ибо они, как считалось, полностью принадлежат Богу и государю, который волен распоряжаться ими по своему усмотрению.

В источниках неоднократно встречаются сообщения об историях, подобных той, что приключилась с неким Моськой Ляпиным во время Соляного бунта 1648 года в Москве. После его ареста по подозрению в бунтарстве были допрошены различные свидетели – жена и соседи, которые в один голос утверждали, что во время бунта Моська Ляпин был пьян и спал, запертым в кладовой. С точки зрения беспристрастного правосудия, его должны были признать невиновным и отпустить. Но не таким было решение карателей. Они постановили оставить Ляпина под арестом впредь до особого государева указа. Такая логика всемогущества была вполне понятна человеку традиционной эпохи, копировалась бунтарями и обосновывала ход протестных действий [23; 145].

В другом случае простецам была свойственна подражательность друг другу. Например, весьма заразительными для социальных низов были проявления казачьей вольницы, скорой на расправу. Для казаков убийство являлось кратчайшим путем к приобретению добычи. Все это, наряду с роскошью, которая окружала казаков, особенно после возвращения из походов за «зипунами», видимая легкость их жизни, вызывали стремление к подражанию. Один из современников разинского бунта Я. Стрейс сообщал о том, как разинским гонцам «удалось представить дела Стеньки такими приукрашенными и добрыми, что весь простой народ склонился к нему и перешел на его сторону. По такому наущению они напали на своих начальников,

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
многим отрубили головы, других предали в руки разбойников вместе со всем флотом» [119; 365 – 366].

Подражательность была также следствием традиционной общинной психологии. Например, крестьянин осознавал себя лишь через связь с той социальной группой, в рамках которой проходила его жизнь. В такой ситуации неизбежно возникал так называемый «инстинкт панургиева стада», требовавший коллективных, совместных действий всех общинников, а значит, диктовавший необходимость подражания друг другу. Общинные ценности признавались собственными.

В русском фольклоре находим многочисленные призывы к единству. «Это прежде всего оценка единения как залога счастливой жизни: “У гурту и кулеш с кашею естся”. Только общие усилия могут дать результат, одиночка обречен на поражение: “Две головни курятся, а одна – николи”. Сила присуща только тем, кто объединяется: “Где стан, там и сыла”. Тот, кто сообща борется за свои права, тот не боится и смерти: “С людьми и смерть красна”» [92; 61]. «В пословицах насилие интерпретируется как средство познания, объяснения, научения – что служит одной из характерных его мотивировок: “Палка нема, а даст ума”; “За дело побить – ума-разуму учить”; “Это не бьют, а ума дают”; “Бьют не ради мученья, а ради ученья (или: спасенья)”; “Тукманку дать – ума придать” и т. д.» [138; 119]. Вероятно, выраженные фольклорной мудростью резоны оказывали влияние на культурную составляющую протестного поведения общественных низов и в ходе русских бунтов.

В рамках традиционной «картины мира» человек не осознавал себя в качестве особого индивида. Окружающая действительность оценивалась им через ценностные категории «мы» и «они», «свои» и «чужие». Причем антиподом, например, крестьянского «мира» был не только помещик, но и те, кто защищал его интересы. «Чужие» – это и крестьяне соседнего, но государственного села, другие группы крестьян. В то же время в понятие «мы» обязательно включались Царь и Бог, воспринимавшиеся как союзники, защитники от всех и всяких «чужих». Средневековый человек не идентифицировал себя с «чужими», воспринимал их как что-то постороннее: «При этом собственная общность оказывалась носителем нравственного идеала, избранным кругом праведных людей, а “они” – людьми безнравственными и проклятыми» [49; 131].

По этим причинам народная масса «сметает со своего пути все, что не похоже на нее, она вытаптывает всякую индивидуальность... Тому, кто не такой, как все, тому, кто думает не так, как все, грозит опасность быть уничтоженным» [70; 47]. В этом случае «посторонний», «чужой» мог получать негативную культурную маркировку. Повстанческая агитация, «наклеивая» на «чужих» различные ярлыки, ориентировалась на соответствующие психические установки и становилась дополнительным фактором, стимулировавшим враждебные чувства к противнику.

Как известно, насилие «невозможно аргументировать этически. В то же время оно невозможно без такой аргументации. Квазивыходом из этой антиномии является моральная демагогия. Она как бы этически обеспечивает насилие. Суть моральной демагогии... как раз и состоит в том, что определенные субъекты узурпируют право выступать от имени добра, а своих оппонентов помогают черной меткой, превращая их тем самым во врагов. Сам факт моральной демагогии создает духовную ситуацию, в которой насилие оказывается больше чем допустимым злом, оно становится прямой обязанностью» [25; 11]. Признание этих обстоятельств помогает лучше понять причины и природу кровавых оргий русского бунта.

Помимо сказанного, в эскалации массового насилия необходимо отметить значительную роль, сыгранную разного рода преступными элементами – каторжниками, мародерами, уголовниками всех мастей, зачастую принимавшими активное участие в бунтах (например, Алешка Каторжный, Афанасий Хлопуша и мн. др.). Среди бунтовщиков было немало просто примитивных садистов, получавших животное наслаждение от жестоких казней. Они привносили в протестное поведение престолюдинов свое понимание способов и перспектив борьбы. При этом народные вожди сознательно привлекали их к совместным действиям. И хотя состав русских бунтарей не был представлен только уголовниками, бродягами и извращенцами, тем не менее в силу своего исключительного положения в системе традиционного общества именно им зачастую удавалось придавать многим протестным «жестам» престолюдинов деструктивный характер. В то же время фантазия пугачевских «злодеев», видимо, питалась некими архетипическими смыслами, которые определяли создаваемые ими сценарии мучений своих врагов.

Анализируя повстанческие действия, необходимо отметить, что важным в них является мотив мести. Обратим внимание на характерные формулировки указов Пугачева, который, обращаясь к черни, говорил о господах: «...тогда было им веселие, а вам отягощение и раззорение... Ныне ж всемогущий господь неизреченными своими праведными судьбами паки возведет нас на всероссийский престол, то уже не один без отмщения противу их оказанного до меня злодей-ствия не останется»; «...в одно время они вас объедали, лишали моих рабов воли и свободы, сейчас вы их рубите» [33; 36 – 37].

Но надо иметь в виду, что в данном случае речь не должна идти исключительно о «классовой мести», как предпочитали считать советские историки. Кроме того, призывы повстанческого императора, несомненно провоцировавшие насилие и жестокость, нельзя считать и только следствием древнего обычая кровной мести: око за око, отразившегося еще в раннем древнерусском законодательстве.

Необходимо искать и иные факторы, обуславливавшие кровавые казни бунтовщиками своих жертв. Социально ориентированное определение мишеней народного протеста едва ли может быть единственным решением проблемы. Дело, возможно, заключалось также в магическом символизме расправ над врагами со стороны простолюдинов, что придавало такого рода казням ритуальный характер. Для владельческих крестьян характерным было сознание своей зависимости от конкретного, «своего» господина. В случае его исчезновения, по мнению крестьян, кончалась и личная зависимость. В подобных действиях сказывалась особая агрессивность отмщения, в которой в какой-то мере заложены элементы магического или ритуального характера, представление о том, что уничтожение того, кто совершил злодеяние, магическим способом вытесняет само преступление в результате расплаты. Таким образом, в сознании повстанцев месть оказывалась как бы магическим исправлением зла.

Не последнюю роль в разжигании страстей играло и такое обстоятельство, как низкий уровень жизни народа (в большинстве своем – крестьян) на протяжении нескольких столетий. Будучи в значительной мере зависящим от природно-климатических условий, крестьянское хозяйство часто становилось жертвой стихийных бедствий, неизменными спутниками которых были неурожаи и голод. Показателем же неустойчивости материального положения сельского населения, его нищеты служили резкие смены настроений и колебания психики. Неустойчивость настроений масс, легко впадавших в панику, приводила к внезапным взрывам возмущения с сопутствовавшей им жестокостью. В моменты подобных взрывов на поверхность общественной жизни выступал примитивный пласт сознания.

Провоцировало готовность простецов к неограниченным кровопролитиям и осознание ими справедливости и законности своих действий, наличие своего рода «санкции на насилие», исходящей якобы от царя или от общины-мира. Уверенность в поддержке со стороны царя хорошо прослеживается, например, в распространенности слухов о существовании государевых указов бить бояр.

Очень показательны в этом отношении локальные кратковременные восстания. Так, во время бунта в Устюге Великом в 1648 году некий церковный дьячок И. Яхлаков «носил бумагу согнута, а говорил во весь мир, что-де пришла государева грамота с Москвы, а велено-де на Устюге по той государевой грамоте 17 дворов грабить». Цепная реакция восстаний в июне – июле 1648 года происходила по мере того, как распространялся слух, что «указал-де государь по городам приказных людей побивать камением», а также под влиянием рассказов о восстании в Москве и других городах, участникам которых «ничего не учинили» [23; 143; 136; 68, 158, 161]. Не сомневаясь в поддержке государя и не дожидаясь положительной царской реакции, простолюдины переходили к протестным действиям, сопровождавшимся насильственными расправами.

Важным элементом бунтарской психологии было представление о собственном достоинстве, особом, но равном достоинству правящей элиты. В ходе народных движений повстанцы требовали того же уважения к себе, каким пользовались вышестоящие в социальной иерархии. Поэтому «возвышение» протестовавших нередко достигалось за счет унижения противника.

Необходимо также указать на постоянную готовность русских людей к бунту – как воображаемому, так и буквальному – против любых правовых норм. Эта готовность оказывалась зеркальным отражением векового противостояния народа государственному деспотизму. «Бунт... взламывает бытие и помогает выйти за его

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru пределы... Источником бунта... является переизбыток энергии и жажда деятельности. Бунтующий человек... стремится поначалу не столько одержать верх, сколько заставить уважать себя». «Логика бунтаря – в служении справедливости, дабы не приумножалась несправедливость удела человеческого, в стремлении к ясности языка, дабы не разбухала вселенская ложь, и в готовности сделать ставку на счастье» [44; 130, 340]. Трактовка русского бунта как защитного механизма традиционной культуры в переходный период позволяет полностью согласиться с таким мнением.

Наличие у социальных низов в России XVII – XVIII веков названных установок, стереотипов и ори-ентаций объясняет их потенциальную готовность при необходимости прибегнуть к ничем не сдерживаемому насилию против тех, кого они считали своими врагами. В ходе движений социального протеста рождался феномен толпы. Без этого деструктивная энергия масс, по-видимому, «дремлет».

Согласно мнению исследователей психологии масс, в толпе индивид перестает быть самим собой. Он становится беспрекословным исполнителем чужой воли, поддается общему потоку. В толпе резко повышается инстинкт деструктивности, она становится безжалостной и беспощадной. Активизацию данного обстоятельства объясняют несколькими причинами. Прежде всего это чувство анонимности, возникающее в толпе, благодаря чему человек ощущает безнаказанность и отсутствие ответственности за свои поступки. Он становится способным на действия, немислимые для него вне толпы.

Другая причина – феномен заражения, когда каждое чувство и действие, возникающие в толпе, словно вирус, заражают окружающих. «Это явление вполне естественное, и его можно наблюдать даже у животных, когда они находятся в стаде. В толпе все эмоции также точно быстро становятся заразительными, чем и объясняется мгновенное распространение паники». При этом зараза «настолько могущественна, что она может внушать индивидам не только известные мнения, но и известные чувства» [54; 241 – 243].

Еще одной причиной насильственных действий бунтовщиков была их повышенная внушаемость, которая объясняет необычайную восприимчивость участников народных движений к повстанческой агитации, особенно со стороны вождя.

Совокупное действие названных и иных факторов, многократно усиливаемое различными конкретно-историческими обстоятельствами жизни страны в переходный период, приводило к тому, что простолюдины не только брались за оружие, но и начинали грабить, насиловать и убивать. В результате насилие и бунт связывались самым непосредственным образом. Однако, для того чтобы понять социокультурную природу казней бунтовщиками своих противников во время протестных движений, одних только психологических трактовок явно недостаточно. Необходимо рассмотреть ритуально-символическую подоплеку кро-вавых расправ, чинимых участниками протеста.

Как известно, мир человека в традиционном обществе был наполнен разного рода символикой. В самом общем виде символ – это особый знак, образ, выражающий идею или комплекс идей, обладающих для людей особым смыслом. Символ всегда имеет глубоко архаическую природу и восходит к дописьменной эпохе, когда определенные знаки представляли собой свернутые мнемонические [42] программы текстов и сюжетов, хранившихся в устной памяти коллектива.

С этой точки зрения эволюцию общественной психологии можно рассматривать как смену различных знаковых систем. Причем каждый знак-символ для человека был полон глубочайшего смысла, за который не жалко отдать и жизнь. Вспомним, например, готовность виднейшего идеолога старообрядчества про-топопа Аввакума и многих его последователей умереть «за единый аз».

Присутствие символической стороны у той или иной сферы человеческой жизнедеятельности является свидетельством ее соприкосновения с пространством культуры. Чем сложнее символизм, тем глубже ощущалось это взаимодействие. Не удивительно, что в ходе пугачевщины символика также играла важную роль. Можно сказать, что практически вся деятельность пугачевцев была проникнута символическим смыслом. Здесь и знамена, и медали с орденами, и чеканка монет, и титулование сподвижников самозванного императора «графами», «высокосиетельными господами», «полковниками», и пышные церковные службы во имя «спасшегося императора», и мн. др.

Печать Пугачева (Большая государственная печать Петра Третьего) (1774).

Несомненной также представляется и глубокая религиозность людей доиндустриальной эпохи. Однако религиозные верования «простецов» едва ли отличались всесторонним знанием догматики: ритуал, обряд, а не догма – вот основа основ их веры. Поэтому религиозность общественных низов в России отличалась от официального богословия. Народная культура в России характеризовалась сложным переплетением православных и языческих традиций, мифологии, бытовых норм, житейского опыта, смекалки и т. д. Все названные обстоятельства, несомненно, сохраняли свою актуальность и во время бунта 1773 – 1775 годов под предводительством Е. И. Пугачева. При этом в поведении пугачевцев они зачастую обнаруживались не явно, а на уровне архетипическом, что свидетельствует об их укорененности и архаичности, истоками уходящими в символический мир прошлого.

Поэтому ритуальный символизм повстанческих казней не имел четко выраженной формы, их мифологические истоки можно только предполагать. Однако такое заявление не исключает возможности рассмотрения вопроса о символическом характере пугачевских расправ в целом. Многие современники и потомки, кстати говоря, только к насилию и сводили все содержание пугачевщины. Вспомним, что даже А. С. Пушкин дал весьма емкую и нелюбимую характеристику бунтарства на Руси.

Обратившись к событиям пугачевского бунта, попытаемся предложить некоторые возможные объяснения насильственных действий российских бунтовщиков. При всем их несовершенстве и гипотетичности они намечают перспективные пути решения поставленной проблемы и позволяют наконец-то сдвинуть дело с мертвой точки. По справедливому суждению В. М. Соловьева, «мрачные стороны пугачевского бунта» требуют исторического осмысления «величайшего трагизма мятежа» [112; 193].

Анализируя источники по истории пугачевщины, видим, что одной из «излюбленных» казней бунтарями своих противников было повешение. Нередко можно встретить упоминания о ней в таких выражениях: «повесить», «повесил», «убивать людей и вешать», «вешивал», «перерубить и перевешать» и т. п. Даже казачий фольклор сообщает: если «кто какую грубость или супротивность окажет – тех вешали на площади тут же. Еще Пугач не выходил из избы суд творить, а уж виселица давно стоит. Кто к нему пристанет, ежели не казак – по-казацки стричь; а коли супротив него – тому петлю на шею! Только глазом мигнет, молодцы у него приученные... глядишь, уж согрубитель ногами дрыгает» [143; 317].

На допросе в Яицкой секретной комиссии 16 сентября 1774 года Е. И. Пугачев показывал: «Однако ж никак неможно было им уже устоять, всех перехватили, в том же числе и полковника Чернышева, который тогда сидел на козлах у коляски. Всех салдат пригнали в Берду. Полковника и афицеров я повесить велел, а салдат, по приводе к присяге, распределил по разным полкам в пехоту». Вместе с полковником П. М. Чернышевым 13 ноября 1773 года казнили «тридцать шесть офицеров, одну прапорщицу и калмыцкого полковника, оставшегося верным своему несчастному начальнику» [36; 89 – 90].

Еще раз обратимся к рассказу казака Ивана Ефремова о массовых казнях в Яицком городке: «Когда ж самозванец с Овчинниковым и Толкачевым к виселице приехали, то и велено было тех верных людей вешать, – вешали тогда казаки Никифор Зоркий и Петр Быченин. По окончании ж над теми людьми казни, тут же с ними приведен был и старшины Мартемьяна Бородина дворовой человек Яков, а прозвания ево не знает (которой был из Оренбурга отправлен, не знает, за каким-та делом от показанного Бородин в Яицкой городок, но на дороге был пойман); а как сего последняго Пугачов, не знает – за какую вину, приказывал пятерить...» [89; 180 – 181]. Итак, казаки «послушной» стороны были «всего лишь» повешены, в то время как дворового человека, с точки зрения социального родства куда менее «виновного» перед бунтовщиками, изуверски разрубили на части. Очевидная несообразность такого выбора вида казни прояснится, если мы обратимся к глубинным истокам традиционной ментальности.

Оказывается, повешение издревле считалось одной из наиболее позорных казней. С точки зрения религиозного сознания, одновременно со смертью человека, с

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru последним его вздохом душа отлетает на небо, начинается самостоятельное существование «личной души после смерти тела». Это «важное учение может быть прослежено, начиная от его грубых и первобытных проявлений у дикарей до его утверждения в недрах новейших религий. В последних вера в будущую жизнь является стимулом к добру, надеждой, поддерживающей человека в страданиях и перед страхом смерти, ответом на вечный вопрос о столь неравномерном распределении счастья и несчастья в настоящем мире, ответом в виде ожидания другого мира, где будут улажены все несправедливости» [120; 255]. Однако если человека казнят через повешение, то его душа не может покинуть тело, она мечется и, наконец, находит выход через анальное отверстие. Но, покидая тело таким образом, душа оскверняется. Отныне она обрекается на вечные страдания между тем и этим светом. Поэтому «в более позднее время, в средние века, повешение обыкновенно не применялось к благородным, так как оно считалось особенно обезличивающим наказанием» [21; 106]. Очевидно, последнее обстоятельство могло склонять бессознательный выбор бунтарей в пользу казни всякого рода «благородных» именно через повешение.

Необходимо также обратить внимание на вероисповедную мотивацию насильственных действий повстанцев. Среди пугачевцев было много старообрядцев, в то время как в рядах их противников преобладали сторонники официальной церкви, которые, с точки зрения старообрядцев, были еретиками, поэтому по отношению к ним использовалось повешение, лишавшее их надежды на Спасение. Не случаен, например, был призыв протопопа Аввакума к Алексею Михайловичу относительно ненавистного всем старообрядцам патриарха Никона: «Как бы, доброй царь, повесил бы его на высокое дерево» [39; 268].

Стремлением лишить противников шансов на Спасение можно объяснить столь высокую распространенность данной расправы у пугачевцев. Казня противника так, а не иначе, они уничтожали его не только физически, но совершали надругательство и над душой казнимого. Нечто подобное можно обнаружить в поведении Ивана Грозного и опричников: «Не только убить, но и истребить потомство до последнего, чтобы некому было помянуть твою душу. Не только замучить здесь, на земле, но и обречь на вечную муку за гробом» [145; 94]. В результате многие опричные казни и убийства «совершались внезапно, в самый неожиданный для жертвы момент – в суде, в приказе, на улице или на рынке. Делалось это, очевидно, для того, чтобы приговоренный к смерти не успел покаяться и получить отпущение грехов... Можно представить себе, какой ужас вызывали эти казни, которые не только лишали людей жизни, но и создавали угрозу спасению их душ» [131; 194].

Обратим внимание на любопытное обстоятельство, отмеченное А. С. Пушкиным. После взятия повстанцами Саратова «Пугачев повесил всех дворян, попавшихся в его руки, и запретил хоронить тела» [93; 74]. Подобное неоднократно фиксировали и источники по истории пугачевского бунта. Например, в показаниях Гурьяна Феклистова сообщается о расправе крестьян над своей помещицей, которая была «до них немилостива и зла». После многочисленных издевательств «тело ее отъездили в лес и оставили... без погребения». Крестьянин Герасим Дементьев рассказал о повешении в селе Болкашина господской семьи, после чего «Максим Тиханов... тот же день снял тела с виселицы, брося на телегу, отвез в лес и в рову готовую, где копали глину, яму кинул, не закрыв нимало сверху землю» [90; 10, 114, 116].

Можно предположить, что подобное поведение бунтовщиков в основе своей также восходило к делению мира на культурно-символические оппозиции. Думается, смысловая символика подобных действий вполне понималась современниками. Поскольку дворяне, по мнению пугачевцев, продали души свои дьяволу, мать-сыра земля не могла принять их останки. Следовательно, казненные дворяне не заслуживали обычного захоронения, воспринимались как «нечистые» покойники. Не случайно их трупы переносили за пределы своего населенного пункта, перемещали за границы священного пространства. И наоборот: коль скоро тела дворян не придали земле, это обстоятельство само по себе являлось достаточным аргументом в пользу их связей с «вывороченным» миром. Точно так же и в годы опричнины царь нередко запрещал казненных хоронить в земле. Например, так поступили с убитыми женщинами – сторонницами Старицкого княжеского дома, которых сначала «травили собаками», затем застрелили и «оставили лежать непогребенными под открытым небом, птицам и зверям на съедение» [84; 47].

С похожей ситуацией встречаемся и в начале XVII столетия, в обстановке боярского заговора против Лжедмитрия I. Стремясь убедить московский люд в самозваном происхождении названного Дмитрия, бояре, после всех издевательств над телом

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru убитого лжецаря, похоронили его. Однако, когда «труп “Дмитрия” везли через крепостные ворота, налетевшая буря сорвала с них верх. Потом грянули холода [дело было во второй половине мая. – В. М.], и вся зелень в городе пожухла. Подле ямы, ставшей последним прибежищем Отрепьева, люди видели голубые огни, поднявшиеся прямо из земли» [111; 553].

Здесь символически акцентируется тот же смысл, что и в поведении пугачевцев. Земля не может взять «сатанинское отродье», колдуна и чернокнижника. Таким образом, глумливое издевательство бунтовщиков над казненными дворянами в годы пугачевщины получает истолкование в свете культурных архетипов коллективного бессознательного.

Кроме того, для пугачевцев был характерен символический подход к казни, связанный с архаическим культом воды. Еще «у древних славян... существовал обряд умилоствления божеств подземного мира, влиявший на плодородие, путем принесения жертв, бросаемых в воду» [102; 154]. Не случайно бунтовщики неоднократно применяли к своим жертвам утопление: «переказнить и живых в воде перетопить», «сажали в воду», «покидали в воду», «бросить в воду» – так об этой расправе сообщают источники. Если в действиях правительства утопление обыкновенно применялось при массовых казнях, то пугачевцы такой «привередливостью» не страдали. Можно привести целый ряд подобных примеров.

Во время допроса Пугачев показал: «В ту же его в Берде бытность пришел к нему, Емельке, живущей поблизости Берды крестьянин, – а как зовут, – не знает, жаловался ему, что команды Лысова казаки приезжали к помещику его, да и к другим помещикам в деревни, и помещиков, на которых от крестьян и жалоб не было, несмотря на крестьянские прозбы, чтоб оных не убивать, вешали, пожитки помещичьи и их грабили, да и самых крестьян сажали в воду» [36; 188]. Стоит обратить внимание, что помещиков опять-таки вешали, а крестьян – топили. Из показаний яицкого казака-пугачевца Ивана Харчева: «В сие время, как сам самозванец, так и поставленной от него войсковой атаман Каргин, тож и помянутыя Толкачев и Овчинников на Яике много людей переказнили и живых в воде перетопили, но кого имянно – пересказать не могу». Наконец, еще один из множества случаев, когда видный яицкий казак Толкачев «при-шед в атаканской фарпост и тут за супротивление атамана Никиту Бородина утопил в воде, а в полковни-ковом фарпосте полковника Григорья Федотова да попа, привязав на шею камень, бросить велел также в воду» [89; 126, 108].

С аналогичными казнями встречаемся и во время других бунтов позднего российского средневековья. Например, весьма распространено утопление было во время разинщины. Один из современников замечал: «Стенька, когда бывает пьян, большой тиран и за короткий срок в таком виде лишил жизни трех или четырех человек: он приказал связать им руки над головой, насыпать в рубашку песку и так бросить в реку» [50; 471].

Хрестоматийную историю о том, как Разин расправился с персидской княжной, сохранил казачий фольклор: «“Ну теперь ты слушай, Волга-матушка! – говорит Разин. – Много я тебя дарил-жаловал: хлебом-солью, златом-серебром, камнями самоцветными; а теперь от души рву да тебе дарю!” Схватил свою султанку поперек, да и бултых ее в Волгу! А на султанке было понавешано и злата, и серебра, и камня разного самоцветного, так она, как ключ, ко дну и пошла!» [143; 326].

Безусловно, приведенные примеры не исчерпывают всех случаев утопления бунтовщиками своих противников. Можно предположить, что такая их «приязнь» к водным видам казни – это не что иное, как «символический церемониал очищения». Культ воды – это «постепенный переход от буквального к символическому очищению, переход от устранения материально понимаемой нечистоты к освобождению себя от невидимого, духовного и, наконец, нравственного зла» [120; 495].

Культ воды существовал и у славянских народов, причем народная память была такова, что архаические элементы в массовых представлениях сохранились до рубежа XIX – XX веков, не говоря о более раннем периоде. За водой в славянской мифологии признавалось очищающее и оживляющее значение. «Столь же значительна и мифическая по своей природе роль воды в эпических сюжетах (купание Добрыни, Василия Буслаева, исцеление Ильи Муромца и проч.), которая не имеет полного соответствия в волшебной сказке и, с точки зрения истории развития мифологии, по-видимому, находится на более поздней стадии эволюции» [132; 458]. Видим, что вода в архаических культурах выполняла ритуальную роль, и это ее значение,

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru возможно, проявлялось в насильственных действиях пугачевцев.

Аналогичный культурный контекст в поведении повстанцев обнаруживается и в связи с культом огня, который, подобно воде, выступал в качестве ритуальной стихии. «Из веры в идеальную чистоту огня человек сделал вполне логичный вывод, что пречистая по своей природе стихия огня может быть отличным средством удаления грязи с оскверненных существ и предметов или что она может быть прекрасно употреблена для очищения». К тому же сама идея «огненного очищения присутствует в самых разных формах буквально во всех религиях. Тут и невинная копеечная свечка или лампада перед иконой, и адский обычай средневековой инквизиции сжигать “еретиков” живыми якобы для “очищения” их от ереси, и самосожжение фанатиков в русском старообрядчестве» [122; 471 – 472, 593].

Сожжение на костре не было исключительным явлением для отечественной истории. Чаще всего оно выступало в качестве жертвенного и очищающего наказания. Сравним данную оценку с описанием событий начала XVI века в Москве: «Тоя же зимы князь велики Иван Васильевич и сын его князь велики Ва-силеи Иванович всеа Руси со отцем со своим с Симоном митрополитом и с епископы и съ всем собором обыскаша еретиков и повелеша лихих смертною казнью казнити. И сожгоша в клетке диака Волка Курицина, да Митю Коноплева, да Ивашка Максимова... а Некрасу Рукавову повелеша языка урезати и в Новгороде в Великом сожгоша его. И тое же зимы архиманьдрита Касиана Юрьевьского сожгоша и его брата, и иных многих еретиков сожгоша» [82; 176].

На костре окончили жизнь в 1682 году и видные расколоучители – пустозерские узники – Аввакум, Лазарь, Федор и Епифаний. Побывавший в России в конце XVII века иностранец Яков Рейтенфельс писал, что «тех, которые возбуждают какие-либо сомнения относительно веры, заключают в небольшие деревянные домики и сжигают живыми и выглядывающими оттуда» [99; 327].

Сохранялась подобная казнь и в XVIII столетии. Связь казни сожжением с религиозно-церковными делами, как представляется, подтверждает ее ритуально-мифологическую родословную. На выбор сожжения в качестве способа казни, возможно, оказал влияние обычай сжигания трупов умерших: огню приписывалась очищающая от грехов сила.

По свидетельству повстанческого вождя, к помощи «святого» огня они также прибегали неоднократно: «Перешед Волгу, выжег одно село за то, что не дали никакой подмоги, а разбежались» [36; 101]. В показаниях заводского крестьянина Харитона Евсеева от 30 июля 1774 года встречаем сообщение еще об одном случае: «...всех на том заводе [казенный Вознесенский завод. – В. М.] бывших в работе, крестьян, человек з двести, в том числе и ево, Евсеева, взяли, а командира их порутчика, как зовут – не знает, изрубили, а потом и завод, разграбя, зажгли» [89; 319, 335 – 336].

Психология пугачевцев наверняка сохраняла архе-типические припоминания о ритуальном символизме огня. В таком смысле, например, практически полное сожжение Казани бунтовщиками может рассматриваться как ритуально-символический акт очищения города от скверны.

Не совсем четкие и достоверные свидетельства, которые в то же время не следует игнорировать, сохранились о том, как повстанцы сдирали со своих врагов кожу живо. Согласно сведениям А. С. Пушкина, этот способ был использован для убийства пугачевцами коменданта крепости Татищевской: «С Елагина, человека тучного, содрали кожу: злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны».

Изуверство повстанцев, однако, обнаруживает любопытную ретроспекцию в так называемых легендах о сбрасываемой коже. Согласно общей схеме, эти легенды выглядят так: однажды Бог спустился на землю и, обратившись ко всем живым существам, спросил: кто из вас не хочет умирать? К несчастью, человек или проспал это обращение, или же от человеческого рода представителем на этом собрании была дряхлая старуха, которая не услышала слов Бога. Один только змей бодрствовал и тотчас же откликнулся: я. Поэтому-то люди и другие животные умирают; лишь змеи одни не умирают своею смертью, а умирают только тогда, когда их убивают. Старея и дряхлая, змеи меняют кожу, омолаживаются и продолжают жить.

Нередко в мифологии разных народов говорится о том, что, помимо змей, эту способность приобрели ящерицы, лягушки и прочие гады. В русских народных сказках

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
эти представления отразились, например, в образе царевны-лягушки. В других легендах говорится, что люди некогда уже обладали бесценным даром бессмертия, достигаемого путем периодического сбрасывания кожи, но по нелепой случайности лишились его.

Поэтому сдирание кожи заживо, с мифо-символической точки зрения, можно рассматривать как ритуальное действие дарования жертве бессмертия. Но, поскольку человек все же смертен, следовательно, «вечная жизнь» ему даруется в загробном мире. Таким образом, принимая смертные муки сдирания кожи, человек как бы обретал вторую – потустороннюю жизнь. В этом смысле данная казнь, при всей ее нечеловеческой жестокости, выступала также своего рода церемониалом очищения, и в ней отражалась бессознательная память повстанцев о своем мистическом прошлом.

Что касается второй части свидетельства А. С. Пушкина о поведении пугачевцев – «мазали салом свои раны», – то здесь прослеживается параллель с обычаем, принятым у некоторых древних народов, например аборигенов Австралии. Они считали, что жир обладает мистической силой. Он является «не только мягким и беловатым веществом, но прежде всего жизненным началом, душой». И хотя в данном случае речь идет о «почечном жире», а не о подкожном сале, об австралийских аборигенах, а не о праславя-нах, общесимволические корни могли сохраниться и в этом ритуальном действии. Возможно, с помощью такого магического ритуала пугачевцы неосознанно стремились «поднять» свой жизненный тонус [55; 523].

Берег Урала недалеко от Нижнеозерной крепости. Рисунок А. С. Пушкина (1833).

Ритуальная символика предполагается и в рассечении человеческого тела на части. В наиболее «примитивной» форме оно выступало как «отсечение головы». Анализируя смысловую «начинку» этой казни, будем полагать «отрубленную голову» одним из великих христианских символов, который своими истоками восходит еще к языческим временам. Встречаются также термины «изрубить», «порезать до смерти» и т. п. Апогея же своего оно достигало, когда пугачевцы пятерили свои жертвы.

Описание более сложной в техническом плане казни, связанной с рассечением человеческого тела, находим у Пушкина: «Между офицерами, умерщвленными от злодея Пугачева, находился Ставропольского гарнизона капитан Калмыков, человек твердого духа, о коем сказывали, что якобы он пред кончиною своею предводителя злодеев публично, пред всем смотревшим на сию казнь народом, ругал, называя его злодеем, вором, тираном, изменником, и увещевал народ, чтоб ему не верили, но, отстав от него, служили в законной своей государыне. Огорчась тем, велел его пятерить; однако ж он, при отсечении рук и ног, то ж все кричал; а как из-за сего самозванец еще больше озлобился, и приказал прежде, нежели голова ему отрублена, вспороть ему грудь, то он и между тем выговаривал, что он умирает как верный ее императорского величества раб» [93; 450].

С точки зрения бунтарей, поведение Калмыкова напоминало «неразумное и непонятное упорство, граничащее с помешательством и подобное твердости статуи; дух сопротивления и закоснелость в нелепых заблуждениях; а вследствие всего этого – необходимость скорейшего пресечения заразы». Поскольку капитан находился по другую сторону баррикад, не признавал «истинного» царя, он не был для пугачевцев «своим» «и в войне с сатаной находится на чужой стороне. Мучительная смерть никоим образом не вводит его в ряды мучеников» [9; 177].

Сведения об аналогичных расправах в источниках встречаются часто. Подобная казнь по определению не позволяла человеку правильно перейти в иной мир, предписывала переход неправильный. Заметим, что расчленение – казнь ужасная для человека, отправляющегося в загробный мир. Ведь он должен был предстать на Страшном суде в своем естестве, но уже перед смертью оно разрушено и разъято. Поэтому считаем, что казак И. Ефремов, назвавший этот способ умерщвления «лютостью», был, безусловно, прав.

В современной этнографической классификации «рассечение жертвы» относится также к очистительным обрядам. Ритуальный характер разрубания человеческого тела на части отразился и в русском фольклоре. «Третья форма разрубания человеческого тела, – пишет В. Я. Пропп о русской сказке, – разрубание заколдованной царевны, на которой женится герой. Такое разрубание не связано стабильно ни с каким

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru определенным сюжетом. «Он взял топор и начал рассекать Марью Прекрасную на части... Потом велел принести огонь и бросил кусочки Марьи Прекрасной в оной. Тут поползли из нее всякие гады: змеи, лягушки, ящерицы, мыши» [86; 189 – 190].

Можно предположить, что, отсекая своих противников на части, пугачевцы фактически совершали обряд жертвоприношения и подсознательно стремились обезопасить себя от вражеских козней. Расчленение можно рассматривать и как избавление от всякого рода нечистой силы, вселившейся в казнимых. Не будь они, по мнению повстанцев, одержимы бесовскими силами, едва ли стали бы бороться против благоверного государя – помазанника Божия на земле.

К этому надо прибавить еще и рассуждения, сохранявшие актуальность в традиционной ментальности, о мистическом значении крови в первобытном обществе, которая осмысливалась как приносящая силу и молодость. «Многие весьма распространенные среди первобытных людей обряды, более или менее различающиеся в деталях, имеют целью использовать мистические свойства крови, добываясь сопричастия им определенных предметов и существ. ...Кровь есть жизнь: помазать новый предмет кровью – значит одарить его жизнью и силой». Кроме того, кровь – это еще «и жизненное начало, невидимая сила», которая «борется с другой силой, такой же невидимой, со зловредным началом», она «имеет силу колдовского средства, лекарства, одерживающего победу над околдованием» [55; 527 – 528].

Солидарно с этим мнением и рассмотренное В. Я. Проппом мистическое значение крови в русских народных сказках. В них «разрубленный и оживленный дает герою пить человеческую кровь. Эта кровь – источник необычайной силы. “Дать ему силы!” – нащыл из своих ребер бутылку крови, подает ему и говорит: “Если чуешь в себе силы много, оставь и мне, не все пей”. Ваня выпил эту бутылку и почувствовал себе силу непомерную (нисколько богатырю не оставил)» [86; 189].

Разумеется, пугачевцы, подобно герою русской сказки, не пили кровь своих заклятых врагов. Однако символически-обрядовый смысл кровопролития, как и представления о мистической силе крови, пусть лишь в форме архетипических припоминаний, могли определять выбор пугачевцами способа казни.

Мифологические истоки, вероятно, имели и многочисленные расправы, в ходе которых бунтари того или иного врага «закололи». Об этом, например, неоднократно сообщал на допросах Пугачев. Приведем несколько примеров: «А не дошел Дубовки, встретилась со мною легкая команда с донскими казаками и калмыками. Оную я разбил. Легкой команды офицеры, о коих Авчинников репортовал, что были догнаны и поколоты»; «...и потом пошел он из Осы прямо на Казань... и харунжей ево, Емельки, Илья Самострелов заколол одного афицера» [36; 101, 199].

В целом заметим, что многочисленные жестокие расправы пугачевцев с врагами почти всегда находят аналогию в древнем ритуале жертвоприношения, что проливает определенный культурный свет на чинимые ими казни.

Отсюда получается, «что “лютовал” Пугачев не только по грубости натуры... В грозном, карающем государе хорошо проглядываются особенности московского православия, в котором, как известно, в большом почете был Ветхий Завет. Яхве в своем гневе предстает как Бог, не знающий никаких границ. Он карает слепо, чудовищно, в размерах, почти всегда не соответствующих размерам преступления. Его месть, по принципу родовой мести, поражает и виновного и безвинного. В Московской Руси, где на смену кровной ответственности приходит “мирская”, такое проявление гнева, особенно если этот гнев признан праведным, не кажется необычным. От него могут страдать, но его не смеют осуждать» [2; 114]. Поэтому в многочисленных казнях, к которым прибегали пугачевцы, не следует усматривать «проявление личной жестокости Пугачева. Она была не патологической, а социальной, не переставая оставаться тем, чем являлась, – жестокостью» [64; 272].

Выделим несколько обобщающих аспектов изучаемой проблемы. Во-первых, очевидно, что насилие в том смысле, в каком о нем шла речь, носило коллективистский, а не личностный характер. Во-вторых, мы увидели, что массовые жестокости бунтовщиков следует считать явлениями социальными, но не асоциальными или антисоциальными. В-третьих, насилие со стороны бунтующих масс культурно конструируется и всегда культурно интерпретируется. В этом смысле наказания смертью бунтовщиками своих врагов могли выступать как символическое (разоблачительное) приобщение к миру иному, или как очистительный обряд. В-четвертых, крайне важным элементом насилия

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru выступает акт речи, или слово. В-пятых, приведенный материал показывает, что массы часто прибегали к насилию и действовали под влиянием момента, легко поддавались панике и остро реагировали на слухи, но они отнюдь не были столь изменчивы, исключительно иррациональны и не жаждали крови, как об этом принято писать в специальной литературе.

Сохранение в психологии пугачевцев многих архаичных и даже мифологических элементов и их воплощение в протестном поведении свидетельствуют о том, что пугачевский бунт – это борьба за восстановление старины, но старины идеализированной, мифологизированной. Это стремление к сохранению традиционных порядков, интенсивно разрушаемых процессами модернизации и вестернизации российского общества. Об этом же говорит и ритуально-символический характер повстанческих казней, несомненно, имевший место в действиях Пугачева и его сподвижников. И хотя нам едва ли удалось полноценно осветить проблему социокультурной природы насилия со стороны пугачевцев, думается, сделан важный шаг к разгадке этого феномена, предпринята попытка рассмотреть его как многомерное культурно-историческое явление.

Торжество дворянской России, или Конец «комедии с маркизом Пугачевым» Уже очевидно, что пугачевский бунт представлял собой один из текстов традиционной культуры, на языке которой он и должен быть прочитан. Однако многие «слова» традиционного лексикона к исходу XVIII столетия уже забылись дворянами, а их символический смысл оказался для них выхолощенным. В своих действиях они, например, нередко игнорировали традиционные способы смеховой речи, утратившие в их глазах смысловую привязку.

В то же время надо заметить, что российские дворяне XVIII века не были чужды смеху, они любили всласть, с удовольствием посмеяться. Екатерининская эпоха в целом знаменательна интенсивным обращением образованного общества к языку смеха, но только переиначенного на новоевропейский манер. В этот период в России получили распространение различные виды развлекательного, сатирического, зрелищного искусства, проецировавшегося на повседневную и праздничную жизнь господствовавших кругов. Например, в 1769 году Екатерина II приступила к изданию журнала «Всякая всячина», отличавшегося от других литературно-художественных и научных проектов того времени тем, что он был первым в России журналом сатирического характера. Он содействовал появлению других изданий подобного жанра, к чему призывала и сама императрица. И хотя эти журналы пошли по пути гиперболического обличения существовавшей действительности, что нередко вызывало недовольство Екатерины II, однако нельзя не отметить ее инициативу в этом деле. «Друг Вольтера, автор “Наказа”, запрещенного во Франции, участница перевода на русский язык Мармонтелева “Велисария”, сожженного в Париже, – писал Н. Л. Бродский, – Екатерина смеялась над тупостью и невежеством русской жизни в своих комедиях» [12; 44].

Несомненно, что «смеялась» Екатерина II достаточно много и часто, но делала это по-новому, в ее смехе отчетливы следы светского рационализма. В то время как пугачевцы смеются в соответствии с традицией, их смех, с позиций «прозападной» культуры господ, мог казаться иррациональным, сюрреалистичным и в этом смысле – сатанинским.

В том же направлении шло развитие в России во второй половине XVIII века различных видов театральных действ. При этом, например, любительский театр «охотно черпал опыт низового уровня культуры. Его интермедии манифестировали связь с лубком, кукольным театром, фацецией. Они веселили зрителя, постепенно из отдельных сцен перерастая в комедии» [116; 329 – 330]. Но веселье театральных подмостков екатерининских времен было слабо связано с ритуально-религиозной символикой прошлого.

Акцент рационализованной культуры Нового времени не только на душе, но и на человеческом теле принимал в интермедиях российского любительского театра аллегорически-смеховую форму. «Интермедийные персонажи постоянно заняты темой телесности, которую резко снижают. Они страдают от побоев: “И так брюхо от кулаков опухло, и в глазах кажется рухло”. Они отчаянно кашляют, страдают “меленконией”, “лихораткой”, от чего их лечит “добры лекарь, Свиной аптекарь”. Посталкогольный синдром их мучит ежечасно: “Ох, ох, ох, ох, ох, много уж я примечал, что всегда мне с похмелья печаль...” Они также часто болеют, и болезнь их представлена в традициях народной смеховой культуры, где противопоставление телесного верха и низа имеет решающее значение» [117; 488, 487].

Следует понимать, что любительский театр в своих интермедиях предлагал традиционные культурносимволические оппозиции, но лишал их прежней смысловой нагрузки. Иначе говоря, в данном случае почтенная публика едва ли не впервые сталкивалась с «чистым смехом», в котором не было ничего устрашающего или разоблачающего. Это было непривычным ощущением, так как еще в допетровской Руси провоцирование смеха или чрезмерный «смех до слез» считались греховными. Теперь же смех способен был только веселить и развлекать. Поэтому вполне закономерно появление во второй половине XVIII столетия такого жанра художественной литературы, как авантюрный роман. Среди красноречивых примеров назовем роман Ф. А. Эмина «Непостоянная фортуна, или Похождения Мирамонда», сочинение М. Д. Чулкова «Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины», а также «Обстоятельную и верную историю российского мошенника славного вора и бывшего московского сыщика Ваньки Каина», написанную Матвеем Комаровым. Все они имели огромный читательский успех.

К развлекательным мероприятиям, несомненно, относилась и так называемая придворная карусель 1766 года, ставшая одним из наиболее ярких событий начального периода царствования Екатерины II. Участники карусели разделялись на 4 – 5 кадрили (небольшой отряд), каждый из которых был своеобразно костюмирован в стилизованные одеяния рыцарей или представителей какого-либо народа, а кадрили носили соответствующие названия. Шефами кадрили стали: Славянской – граф Иван Салтыков, Римской – граф Григорий Орлов, Индийской – князь Петр Репнин, Турецкой – граф Алексей Орлов. Во время марша разряженной кавалькады по петербургским улицам к Дворцовой площади множество людей могло наблюдать это редкое зрелище. Улицы наполнялись разноцветными дорожными тканями, плюмажем, украшениями. Повсюду колыхалось море плащей, мантий и мундиров, в котором мелькали кресты, жезлы, копья и шпаги. Турнир состоял в том, чтобы объехать всю арену по периметру и у каждого из четырех ворот выполнить определенные воинские упражнения. Всего их было шесть: сломать ланцу (копье) о кинтану (столб с мишенью в виде щита), метнуть жавелот (дротик) в фигуру зверя, выстрелить из пистолета в другую фигуру, срубить голову чучела, поднять шпагой с пьедестала головной убор, снять другой ланцей кольцо. После окончания «карусели» были определены по три победителя среди дам, конных кавалеров и кавалеров-возниц.

Необычное зрелище господских развлечений внешне было сродни средневековому народному карнавалу, но без заданной ритуальной символики, без соотнесенности с архетипическим миром прошлого. Оно просто развлекало, услаждало взор, было приятно душе, но не более того. С его помощью власть публично заявляла о торжестве нового культурного порядка.

Таким образом, видим, что различные сферы жизнедеятельности светского общества отличались праздничным, увеселительным, смеховым антуражем. Можно полагать, что дворянство в канун пугачевского бунта было вполне подготовлено к восприятию объективной реальности на языке смеха. Но ставший уже привычным для дворян «смех ради смеха» существенно отличался от разоблачительного «хохота» народной культуры. Он не был способен срывать благопристойные маски с кровотокающих язв социальной тела или обнаруживать источники зла и развенчивать их в смехе. Раздвоенность смехового мира – характерная черта традиционной культуры – практически отсутствовала в развлекательных постановках и творениях XVIII века, где смешное и серьезное постоянно соседствовали, и даже в серьезных пьесах на сцену выводились Арлекин и Гаер, которые вмешивались в судьбы высоких персон.

Напомним, что XVIII век прошел под знаком кризиса традиционной идентичности. Начавшись с Петра I, ряд императоров-антихристов, по мысли народной, продолжился и далее. Самозванцем на троне в глазах социальных низов была и Екатерина II. К тому же это был тип явно самозванца – нарушителя канонов. Поэтому, идентифицировав себя с «истинным царем» Петром III и получив в этом безусловную поддержку восставших, Пугачев и его сподвижники действительно должны были воспринимать порядки екатерининской России как «королевство кривых зеркал». Но и облаченные в «немецкий» камзол господа, с трудом вспоминая язык традиционной культуры, нередко осмысливали пугачевский бунт в категориях изнаночного мира.

Господствовавшим сословием Пугачев также воспринимался иронически, «со смехом», в «перевернутом» изображении. Это проявлялось, например, в именовании его «маркизом», «чучелой», «которую воры Яицкие казаки играют» [93; 201], или «сыном тьмы и ада, другом бесов и наперстников сатанинских», «адским извергом» и т. д.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru [103; 150 – 151]. По свидетельству А. А. Вяземского, присутствовавшая на казни Е. И. Пугачева публика иронично приговаривала: «Вот тебе корона, вот и престол!» [98]. Похожим образом и персонаж любительского театра XVIII века Гаер осмеивает «повешенного Зимфона». Он «описывает его смерть через разложение тела: “А где ж твое око: Ау, уж нет и рожи! Или обшит в кожи?”... Так создавался очередной аффект, воздействующий на зрителя, и ядром его было тело, обезображенное, изувеченное, мертвое» [117; 489]. Но сюжеты театральных постановок и жизненной реальности постоянно перекликались между собой, создавая особый «перевернутый» смеховой лад, в котором нетрудно заметить попытки дворян оживить в своей культурной «памяти» смеховую лексику традиционализма.

Народный бунт воспринимался дворянами как самое большое зло, как абсолютное разрушение сложившейся системы ценностей. Они понимали, что «рабы» не слушаются и не служат своим господам, а вместо этого чинят насилия, мучают, убивают, разоряют их. Бунтари забывают свой социальный статус и присваивают себе чужой. Господа при этом становятся на место холопов, и возникает новая система отношений, как перевернутое отражение существовавшей. Гнев дворян вызывала «дерзкая» попытка «бунтовщиков» «нарушить подданническое свое законной государыне повиновение, начальства и с собственным владельцем». Простолюдинам было предопределено с безмолвным повиновением, «всяким подобострастием и послушанием» подчиняться «законной власти», а они посмели разрушать социальные связи, да еще производя «варварство над благородными» [61; 226 – 227].

Для примера процитируем характерное свидетельство о разинском бунте одного из современников, суть которого вполне отражала ощущения дворянства и в 1773 – 1775 годах: «Всюду говорили об убитых дворянах, так что господа, одев дешевое платье, покидали жилища и бежали в Астрахань. Многие крестьяне и крепостные, чтобы доказать, кто они такие, приходили с головами своих владельцев в мешках, клали их к ногам этого главного палача, который плевал на них и с презрением отшвыривал и оказывал тем хитрым героям почет вместе с похвалой и славой за их храбрость» [119; 366 – 367].

Напряженность психологических переживаний в годы пугачевщины хорошо передают слова ее участника Марушки, сосланного затем в Нерчинск. «Не пытали мы, – говорил он, – кто был Пугачев, и знать того не хотели. Бунтовали же потому, что хотели победить, а тогда заняли бы место тех, которые нас утесняли. Мы были бы господами, а вера свободной. Проиграли мы, что ж делать? Их счастье, наше несчастье. Выиграй мы – имели бы своего царя, произошли бы всякие ранги, заняли бы всякие должности. Господа теперь были бы в таком угнетении, в каком и нас держали» [108; 134].

Осознание господами «перевернутости» поведения бунтующего простонародья можно встретить и в более ранней истории массового протеста. Например, похожим образом в начале XVII века квалифицировал намерения восставших во главе с И. И. Болотниковым патриарх Гермоген. «А стоят те воры под Москвою, в Коломенском, и пишут к Москве проклятые свои листы, – сообщал он в своей грамоте, – и велят боярским холопом побивати своих бояр и жены их и вотчины и поместья им сулят, и шпыням и безъ-имянным вором велят гостей и всех торговых людей побивати и животы их грабити, и призывают их воров к себе и хотят им давати боярство, и воеводство, и окольность, и дьячество» [20; 197].

Не стоит удивляться, что на время пугачевского бунта дворянами «были полностью блокированы все традиционные реакции, связанные с патриархальными отношениями и мифом о “добром барине”. Однако и каких-либо серьезных размышлений, разрушающих существующие стереотипы, не возникало. Дворянство так и не увидело в низшем сословии противостоящую ему силу» [61; 228 – 229].

Поэтому в их сознании бунт персонифицировался в личности «злодея» Пугачева, на которого обрушивался основной запал господского негодования. Заметим, что издевательские ругательства, уничижительные эпитеты в адрес участников народного протеста несли в себе и глубоко символическую подкладку. Речь шла о соотносении повстанческого вождя и его дела с черными, колдовскими силами, отождествление его со вселенским злом. Из уст дворян явственно слышался отзвук традиционного языка. В таком контексте для господствовавших кругов становилось понятным, например, кощунственное разрушение бунтовщиками церковных святынь, о чем сообщали многие источники. Например, в Курмышском уезде в селах Никольском и Шуматове «в олtare и в настоящей церкви полы выломаны; две оловянные дариносицы, два ящика, в которых было поставлено святое миро, выкрадено; крест серебряной,

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru которым убит священник, разломав, злодеи по себе разделили; толковое евангелие разодрано, и петрахель и требник украдены» [90; 387].

На допросе под давлением следователей сам Пугачев «во всех чинимых им злодействах винился и показывал... как он, так и злодейской его шайки товарищи, чинили... раззорение святым церквам и всем освященным в них сосудам и даже разрушением правил, святых жертвенников и самых святых икон, с ругательством колонием оных, также и в убивствах в святых церквах священников и других людей, кои думали получить от тиранства злодейской его толпы спасение, были ж умерщвлены» [36; 221].

Такое отношение дворян к протестным действиям бунтарей обосновывало подозрения в возможной связи Пугачева с «чужими», «иными» землями, о чем очень беспокоилась сама императрица. Сообщая о действиях Пугачева, его сравнивали, например, с самозванцем Степаном Малым, «который в 1767 – 1773 годах владел Черной Горой и которого местное население принимало за русского царя Петра III». В Оренбурге, писал в своем донесении в Коллегию иностранных дел генерал Орлов, появился самозванец, «нечто похожее на Степана Малого в Черногории» [6; 399].

В другом случае, высказывая тревогу о возможных связях Пугачева с иностранными державами, правительство больше всего беспокоилось уже не о «дьявольских кознях» с их или его стороны, а об отстаивании своих внешнеполитических интересов. Иначе говоря, реакция дворянства на пугачевщину, хотя иной раз и адресовалась к традиции, в целом была вполне прагматичной и рациональной. И тем не менее представители господствовавшего и других сословий втягивались в затеянную казаками в условиях пугачевского бунта «игру в царя», будучи не в состоянии противостоять ее чарующей магии, что в культурной истории страны не было редкостью. К тому же любая игра заразительна, тем более «игра в царя», обладавшая особым магнетизмом, мистической привлекательностью. Да и как им не быть? Ведь ставкой в этой игре был не денежный приз, пусть и очень крупный. На кону стояла сама жизнь. Такая игра словно заволаживала всех вокруг, интриговала, заинтересовывала и, как следствие, вела к расширению состава играющих. Дворянство сначала просто наблюдало за игрой. Находясь в числе «зрителей», негодовало на происходящее, требовало и стремилось пресечь заволаживающее зрелище.

Недостойное, на первый взгляд, поведение графа П. И. Панина, публично и демонстративно таскавшего Пугачева за бороду, становится понятным на игровом языке как символическое, карнавальное разоблачение. В контексте смеховой культуры брань и побои развенчивают царя. Многие говорят в пользу того, что поступок Панина – это не просто способ причинить физическую боль, но акт именно символический. Дело в том, что в традиционном обществе борода также была знаком достоинства, символом свободы и почестей. Отрезать или выдрать бороду всегда считалось тяжким оскорблением.

Вспомним, например, что в начале XVII века расправа Б. Ф. Годунова над боярином Б. Я. Бельским заключалась, помимо прочего, в том, что у него вырвали «клок за клоком всю его длинную, окладистую бороду, тем самым полностью обесчестив его». Но вот что любопытно: поводом к такой расправе послужили подозрения в связях опального вельможи с нечистой силой. По словам современников, «Богдан Бельский знает всякие зелья, добрые и лихие... да и то знает, что кому добро сделать, а чем ково испортить» [111; 173, 167].

Не забудем, что в древнерусской иконописной традиции безбородыми принято было изображать бесов. Таким образом, наказание, которому подвергся Пугачев от рук карателя, вновь адресует нас к противопоставлению Божьего мира и колдовского, сатанинского антимира. О символической мотивации своих действий сам же Панин сообщал брату в письме от 1 октября 1774 года: «Отведал он [Пугачев. – В. М.] от распаленной на его злодеянии моей крови несколько пощочин, а борода, которою он Российское государство жаловал, – довольного дранья» [30; 108].

Оказавшись на краю пропасти, дворяне все чаще пытаются говорить на понятном народу языке смеха. Разоблачая самозваного императора, они интуитивно апеллируют к «карнавальному» образу Пугачева-Петра III. Его интерпретируют как «царя»-само-званца, т. е. представителя колдовского, вывороченного мира. В системе образов смехового, карнавального мира короля всенародно избирают, а затем его же всенародно осмеивают, ругают и бьют, когда время его царствования истекает.

Подобным унижениям и уничтожениям подвергался и повстанческий предводитель. Один из участников подавления пугачевщины Г. Р. Державин сообщал, как по приказу Панина пленный Пугачев стоял на коленях, пока с ним высокомерно говорил хозяин дома. «Сие было сделано для того, сколько по обстоятельствам догадаться можно было, что граф весьма превозносился тем, что самозванец у него в руках» [26; 60]. Подобное поведение «душителя» народного бунта можно рассматривать как ритуальное, а значит – публичное, разоблачение символически-высокого статуса пленника, которое, несомненно, приносило ожидаемый эффект. Оно было вполне понятно простонародью и способствовало развенчанию самозванца в его глазах.

Из «милосердия», как утверждалось, Пугачева даже казнили «наоборот». Ему не стали последовательно и поочередно отрубать все четыре конечности, а затем голову, что, собственно, и предполагала казнь четвертованием. Московскому обер-полицмейстеру Н. П. Архарову было секретно подсказано, «чтоб он прежде приказал отсечь голову, а потом уже остальное, сказав после, ежели бы кто его о сем стал спрашивать, что как в сентенции о том ничево не сказано, примеров же такому наказанию еще не было, следовательно, ежели и есть ошибка, она извинительна быть может» [29; 146].

В результате во время казни произошло «нечто странное и неожиданное: вместо того, чтоб в силу сентенции, наперед его четвертовать и отрубить ему руки и ноги, палач вдруг отрубил ему голову». Однако смеховая символика казни «наоборот» не была понята свидетелями и современниками из среды знати. А. Т. Болотов отметил в мемуарах: «...и богу уже известно, каким образом это сделалось: не то палач был к тому от злодеев подкуплен, чтоб он не дал ему долго мучиться, не то произошло от действительной ошибки и смятения палача, никогда еще в жизнь своей смертной казни не производившего» [38; 489 – 490].

Видим, что просвещенные дворяне искали объяснения произошедшему с позиций формальной логики, в то время как возможна и символически-смеховая трактовка этой расправы «наоборот».

О том, что своеобразная знаковая «начинка» присутствовала в действиях господ, боровшихся с пугачевщиной, свидетельствуют и так называемые символические казни в отсутствие живого преступника. Можно выделить несколько видов такой экзекуции: казни трупов, казни документов и предметов, казни изображений преступников и т. п.

Все это имело место и в нашем случае. Речь, например, идет о том, как каратели уничтожали манифесты и указы Пугачева и его Военной коллегии, сожгли дом Пугачева, выкорчевали деревья на его усадьбе, хотели перевести на другой берег Дона станицу Зимовейскую – родину вождя мятежного люда. В Казани была устроена казнь портрета Пугачева. Перед толпой зачитали указ Сенатской комиссии, который определял такое наказание: «...сию мерзкую харю во изобличение зла, под виселицей, сжечь на площади и объявить, что сам злодей примет казнь мучительную в царственном граде Москве, где уже он содержится» [35; 314 – 315].

Тем самым дворянство учитывало мифологический характер традиционного мышления, интуитивно подстраивало свое поведение под привычные и понятные простецам нормативно-смысловые каноны, словно бы настаивая на тождестве символического знака и заложенного в нем культурного смысла.

Немалую роль в снижении «высокого» статуса Пугачева-Петра III играла официальная контрпропаганда, цель которой «в каждом селении высочайшими ея и. в. печатными манифестами о том воре и злодее Пугачеве з доволным истолкованием простому народу сверх прежняго еще публиковать» о том, что Пугачев – самозванец, что его внешний вид и манеры не соответствуют народной модели «истинного царя», поэтому, дескать, ему нельзя верить и т. д. и т. п. [89; 99].

Многочисленные мероприятия такого рода в целом имели несомненный успех, отваживая многих простолюдинов от поддержки сего «сатанинского изверга». Из показаний, например, яицкого казака Козьмы Кочурова известно: «Во все время его бытия в злодейской толпе, самозванца щитал он, по словам других, за истиннаго царя, но то только некоторое сумнение ему наводило, что он ходил в бороде и в казачьем платье, ибо он слышал, что государи бороду бреют и носят платье немецкое... Теперь же, видя, что войско против его вооружается и не признает за царя, щитает его так, как в указах об нем публиковано, – за вора и обманщика,

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru донского казака Пугачева» [89; 124]. Развенчание через контрпропаганду с использованием некоторых атрибутов символического языка традиционной культуры оказалось достаточно серьезным и действенным оружием в руках дворянской России.

Стремление к «смеховому» развенчанию мнимого монарха побуждало следователей в ходе допросов заставлять повстанцев признавать, что теперь они считают своего вождя самозванцем Пугачевым. Весьма характерно и недвусмысленно звучат, например, слова пугачевца Филиппа Лыкина: «Злодея Пугачова прежде, и будучи во оной толпе, почитал за государя, а ныне почитает за злодея и разбойника». Такие «признания» встречаются едва ли не в каждом протоколе допросов пленных бунтовщиков. В этих словесных самобичеваниях видна не только вполне простительная сдача позиций и жажда спасения (инстинкт самосохранения), но и пережитый простонародьем в условиях бунта культурный шок. Не случайно, что подобная «измена» своему «государю» – «третьему императору» – была характерна не для всех пленных пугачевцев: «Как же на конце допроса вопрошен оной Мясников был, каким он теперь Пугачева почитает: государем или самозванцем, на то он отвечал: “Бог ста ево знает, я и сам не знаю, за какого его почесть. Вить вот вы-де называете ево Пугачевым, а он так называет себя государем, и мы за такого ево и почитали”» [89; 140; 87; 100].

В самозванстве публично и неоднократно заставляют сознаваться самого повстанческого вождя. Под нажимом следователей Пугачев уже в Яицком городке «кричал во все горло, что он – Зимовейской станицы донской казак, не умеющий грамоте, и их обманывал» [69; 39].

П. С. Потемкин, облеченный Екатериной II высокими полномочиями, рекомендовал императрице «сего злодея показать народу в Казане, где столь много людей его знают, и обличить его пред народом злодейство, ибо весь оный край... сомневается о его поимке». Венцом же покаянно-символического разоблачения стала казнь повстанческого предводителя. В самом начале кровавого действия его громко, при стечении огромного количества присутствовавших спрашивали: «Ты ли донской казак Емелька Пугачев?» На что он столь же громко ответил: «Так, государь, я – донской казак Зимовейской станицы Емелька Пугачев!» [30; 108; 69; 181].

Сказанное дает основание полагать, что, анализируя пугачевский бунт в контексте мироощущения дворян, мы вновь оказываемся в мире перевернутых, смеховых отношений. Очередная констатация данного обстоятельства окончательно убеждает в существовании несомненной связи народного смеха и русского бунта.

Заметим, что нарочитая карнавальность, шутовской балаган мира господ XVIII столетия, наряду с последовательным разрушением традиционной гармонии, должны были восприниматься социальными низами как победа изнаночного мира. Этот мир агрессивно и кощунственно проявлял себя в антиповедении. Поэтому противостояние высокой культуры российской элиты низовой культуре русских простецов с особой остротой выразилось в форме культурно-символических оппозиций. Народное осуждение порядков и организации верховной власти – характерная черта XVIII века.

Смех в этих условиях выполнял психотерапевтическую роль – снимал накопившийся в обществе эмоциональный заряд, восстанавливал психологическое равновесие, ликвидировал душевный дисбаланс. Однако иногда сила энергетического напряжения оказывалась столь великой, что обычной психотерапии было уже недостаточно. Тогда карнавальный смех неизбежно «тянул» за собой смех бунтовской. Бунт же – это яркая иллюстрация антиповедения, он оказывался во всех своих ипостасях поведением наоборот, абсолютной перевернутостью. В то же время необходимо отметить двойственный характер повстанческого смеха. С одной стороны, перевернутый мир узнавался восставшими в порядках екатерининской России. С другой стороны, элементы смеховой культуры прослеживаются в поведении самих пугачевцев. Это сложное переплетение дает возможность по-новому взглянуть на пугачевский бунт, увидеть в нем многомерное явление расколотого общества, переходной культуры, пораженной кризисом традиционной идентичности, когда атрибуты новой индустриальной эпохи еще только пробивали себе дорогу к жизни, боролись за право на существование с привычно-традиционной повседневностью простецов, вызывая беспокойство и даже страх в глубинных слоях их подсознания. В этих условиях на социокультурном пространстве русского бунта плохо примиримое противостояние традиций и инноваций провоцировало широкомасштабное насилие, также принимавшее культурно-символическую окраску.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
Пытаясь под давлением бунтовщиков «читать» пугачевщину на языке традиционной культуры, что получалось с трудом, господствовавшее сословие болезненно реагировало на «сатанинский хохот» русского бунта и резко негативно встречало любые известия об успехах повстанцев. Первой задачей, вставшей перед ними в этой связи, было стремление истолковать происходившее в привычных категориях, соотнести его с уже известными, а потому понятными явлениями отечественного прошлого. Необходимы были подходящие смысловые привязки, чтобы сориентироваться в знакомом до боли, но вдруг изменившемся мире, принявшем странные и страшные очертания. Не удивительно, что в эти годы взоры все чаще обращались, например, к разинскому бунту, в то время как у многих восстание Пугачева ассоциировалось со «смутой», с Лжедмитрием.

Однако историческими размышлениями дело, конечно же, не могло ограничиться. Аналогии давали возможность сходство увидеть, но не понять. Поэтому подобные сопоставления предстояло осмыслить в рамках возможностей своей эпохи. Характерно, что, оценивая события пугачевщины, дворяне постоянно сбивались на более привычную для них «лексику» новой культуры, в свете которой бунт оказывался препятствием на пути прогресса. Поэтому для его «очернения» они не жалели красок. Великое зло, злодейство, бедственное приключение, зловерный и на огромном пространстве горящий пожар, язва, которая свирепствует в нашем Отечестве, предательство, измена, государственный вред – так именовался пугачевский бунт в письмах дворян-современников. Да и сама «северная Семирамида» реагировала на народное возмущение лицемерным выводом: «Через все екатерининские указы, связанные с крестьянскими волнениями, красной нитью проходит и другое положение: поскольку нет никаких причин, кроме “грубиянства, невежества” и лени крестьян для их неповиновения властям и помещикам, то все дело в появлении во многих местах “предерзливых людей”, “сущих злодеев” и “злонамеренных возмутителей”» [7; 37].

Иначе говоря, в событиях народных бунтов императрица усматривала только то, что хотела в них разглядеть, – происки отдельных лиц, но не изъяны всей системы. Говоря о пугачевцах, она искренне считала, что «с варварами дело имеем», в письме к Вольтеру от 9 января 1774 года изображала Пугачева как разбойника, грабившего Оренбургскую губернию. Очаг возникновения восстания императрица представляла как район, заселенный «грабителями» и «бездельниками». Она самоуверенно заявляла, что казанского ополчения численностью в четыре тысячи человек «слишком довольно для восстановления порядка в губернии», и утверждала, что «мало беспокоится предприятиями Пугачева» [72; 162 – 163].

Воспринимая борьбу с пугачевщиной как государственную службу, дворяне и к расправам над бунтовщиками должны были относиться как к совершению официального правосудия. В реальности же этого не произошло. Судебно-правовой процесс, напоминавший фарс с заранее известным итогом, составлял редкое исключение в карательной практике властей. Возникает вопрос: почему во время репрессий над пугачевцами они практически не соблюдали каноны судебно-следственных процедур, а фактически творили внесудебные расправы? Полагаем, что расправы над пугачевцами несли в себе символический заряд, истоки и природу которого необходимо выяснить.

Кровавое насилие, составлявшее одну из наиболее ужасающих страниц русского бунта, имело двустороннюю окраску. Ни о каком «непротивлении злу насилием» речи идти не могло. К крайним мерам физического воздействия в отношении своих врагов прибегали не одни только бунтовщики, но и правящие круги. Удивительно при этом, что разгул жестокостей со стороны бунтовщиков нас привычно ужасает, его считают доказательством варварства социальной черни, в то время как государственному насилию обычно находят цивилизованные обоснования. Исследователи, например, полагают, что, «наряду с обозначенным пониманием насилия как зла, присутствует также тезис, допускающий случаи его нравственно оправданного применения. Считается, что иногда насилие может быть использовано во благо. Тем самым оно получает этическую санкцию» [25; 10].

Вполне возможно, что российское дворянство екатерининской эпохи оправдывало свои жестокости по отношению к пугачевцам именно такими психологическими мотивировками. По крайней мере, заявляя себя противницей смертной казни, Екатерина II в статьях своего «Наказа» допускала возможность ее применения в двух случаях: 1) если преступник, не будучи казнен, сможет и из места своего заключения «возмутить народное спокойствие»; 2) если «самые беспорядки заступают место законов», что бывает только во время «безначалия». Таким образом, фактически открывался простор для неограниченного применения смертной казни,

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
«ибо при желании самые скромные требования народа, предъявляемые к царским властям, могли быть признаны выражением безначалия и беспорядка» [137; 38].

«Наказ» Екатерины II.

Подобные противоречивые установки в отношении крайней меры физического наказания дают понять, почему неоднократные попытки Елизаветы Петровны и Екатерины II отменить смертную казнь успехом не увенчались. Итогом стало только ее формальное исключение, так как смертная казнь оставалась в замаскированном виде – в форме засечения кнутом, плетью, батогами, розгами. Показательным примером можно считать изуверскую расправу карателей с пугачевским атаманом Ф. Д. Минеевым, который не был казнен: его приговорили «всего лишь» к 12 тысячам ударам шпицрутенами, и он умер вскоре после экзекуции. Очевидно, что тогдашняя эпоха была неотделима от насилия, соответствующими были и нравы. Человек рассматривался только как материал, «который может быть годен государству для достижения его целей и который поэтому заслуживает государственной защиты, но который одновременно, а именно при впадении человека в преступление, теряет для государства всякую цену и с которым оно вольно поступать как ему заблагорассудится» [17; 171]. Но такое обесценивающее значимость личности рассуждение одинаково справедливо как для государства, так и для бунтарей.

Получив в октябре 1773 года первые сообщения о начавшемся на Яике пугачевском бунте, правительство отреагировало на него соответствующими шагами: «Публично иронизируя по поводу “глупой казацкой истории” и “маркиза Пугачева”, императрица принимает тем не менее спешные и серьезные меры... Со всех сторон стягивают воинские части и направляют их к Оренбургу... Секретным именованным указом от 14 октября Екатерина II назначает главнокомандующим всеми силами, которые посылают против Пугачева, генерал-майора В. А. Кара» [13; 189 – 190].

Однако правящие круги не сразу осознали размер опасности, исходящей от бунтовщиков, а потому полагали, что «сие возмущение не может иметь следствий, кроме что разстроит рекрутский набор и умножит ослушников и разбойников». Поэтому главнокомандующему безапелляционно приказали «учинить над оным злодеем поиск и стараться как самого его, так и злодейскую его шайку переловить и тем все злоумышление прекратить». Сам Кар также не представлял истинного положения дел. Он был настолько уверен в успехе, что писал в Петербург о своем беспокойстве ввиду того, что «сии разбойники, сведав о приближении команд, не обратились бы в бег, не допустя до себя оных» [121; 155].

Самоуверенность карателей и недооценка вспыхнувшего бунта сыграли с ними злую шутку, «первая попытка правительства быстро и решительно малыми силами уладить свои “домашние дела” окончилась провалом... все это вызвало панику среди российских дворян и сильное беспокойство правящих деятелей» [13; 191 – 192].

Масштабы протестных действий пугачевцев росли словно на дрожжах. Кара отправили в отставку, переложив на него ответственность за поражение, а новым командующим правительственными силами назначили генерал-аншефа А. И. Бибикова, имевшего опыт борьбы с подобного рода выступлениями. Известно, что еще в 1763 году он руководил подавлением волнений приписных крестьян на заводах Казанской губернии и в Сибири, а в 1771 году расправлялся с движением польских конфедератов. Не удивительно, что с середины января 1774 года военная обстановка стала складываться не в пользу пугачевцев. Царские рати повели наступление от берегов Волги на восток и, подавляя очаги повстанческого сопротивления, неумолимо приближались к Оренбургу. Наступавший в авангарде карательной армии корпус генерала П. М. Голицына в шестичасовой битве у Татищевой крепости 22 марта 1774 года нанес поражение повстанцам, а десять дней спустя одержал победу в сражении под Сакмарским городком.

Пугачев с тремя сотнями человек бежал за реку Белую, к уральским заводам, где приступил к формированию нового войска, пополняемого заводскими крестьянами, исетскими казаками, башкирами. В начале мая он перешел к активным действиям и вскоре овладел Магнитной крепостью, а вслед за ней Карагайской, Петропавловской, Степной и Троицкой крепостями. Дальнейшему продвижению к Сибири воспрепятствовал генерал И. А. Деколонг, разбивший бунтовщиков в сражении у Троицкой крепости 21 мая. Пугачев с оставшимся у него отрядом направился к Челябинску, но путь туда

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru ему преградил корпус подполковника И. И. Михельсона, впервые встретившийся с ним в бою 22 мая у Кундравинской слободы. В ходе дальнейшего преследования Михельсон дважды в начале июня наносил удары Пугачеву в Уральских горах. Но тот, умело используя тактику партизанских действий, всякий раз от неприятеля уходил, сберегая главные свои силы от окончательного разгрома, и снова собирал многотысячные отряды.

Вид Оренбурга. Гравюра (1776).

Выйдя в середине июня к берегам Камы, Пугачев решил повести свои силы к Казани и взять ее. 12 июля они штурмовали Казань, ворвались в город, но не смогли овладеть кремлем, за стенами которого укрылся местный гарнизон. Вечером того же дня подошедший к Казани корпус Михельсона атаковал повстанческое войско, расположившееся на Арском поле, одолел его в ожесточенной битве и вынудил к отступлению от города. Новое сражение за Казань произошло 15 июля и закончилось разгромом бунтовщиков. Пугачев с небольшими остатками сил бежал на север, к Кокшайску, где переправился через Волгу. Правительство отправило в охваченный бунтом район новые полки. После заключения Кючук-Кайнарджийского мира с Турцией части действующей армии сразу же начали перебрасывать против Пугачева, а также для охраны тех городов, куда могли прийти повстанцы. 21 июля на специальном заседании Государственного совета рассматривались меры борьбы с Пугачевым. Новым главнокомандующим, вместо умершего Бибикова, был назначен генерал-аншеф П. И. Панин, в распоряжение которого выделили большие силы. В письме к нему Екатерина II иронично замечала, что в совокупности против Пугачева было «столько наряжено войска, что едва не страшна ли таковая армия и соседям была» [104; 86].

Казань. Кремль. Рисунок Э. Турнерелли (начало XIX века).

С выходом Пугачева на правобережье Волги начался подъем массового крестьянского движения. Бунт в поволжских губерниях стал разрастаться благодаря обнаружению пугачевских манифестов, провозглашавших освобождение крестьян от крепостной неволи, безвозмездную передачу земли народу и призывавших к истреблению дворянства. «Жалуем... всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков... и награждаем... вольностию и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными озерами без покупки и без оброку; и освобождаем всех от прежде чинимых от злодеев дворян и градских мздоимцов-судей крестьяном и всему народу налагаемых податей и отягощений», – говорилось в манифесте Пугачева-Петра III во всенародное известие от 31 июля 1774 года. Цель, преследуемая вождем русского бунта, была вполне понятной: расширить масштабы движения и тем самым повысить свои шансы на успех: «А потому и обольщал крестьян, так как и казаков, описанными в скверных его разсеянных возмутительных бумагах выгодами, думая, что такие для их лестные выгоды больше прилепят их к его скверной и богомерзкой роже» [33; 48; 36; 222].

В результате восставшие крестьяне и посадские люди поволжских городов стали основным резервом пополнения повстанческого войска на этом этапе. Позднее, сообщая Екатерине II о результатах следствия, П. С. Потемкин писал: «Не упустил я того, всемилостивейшая государыня, чтоб не изведать: была ль какая система в помыслах самозванца, заключающая быть оной по изъяснениям злодейских обещаний к народу и по намерению истребить всех дворян. Но усмотрел, что в том вовсе никакой связи не было. Все производимо было случайно и по злости. А дерзновению его овладеть всем происходило от смелого духа и по успехам» [30; 118].

Отказавшись от похода на Москву, Пугачев направился на юг, к родному Дону, надеясь найти там поддержку у донского казачества. Оторвавшись на несколько суточных переходов от преследовавших его карателей, в авангарде которых был корпус Михельсона, он продвигался к югу и в июле – августе 1774 года овладел Курмышем, Саранском, Пензой, Петровском, Саратовом и Камышином. Отпор ожидал его при штурме Царицына. Здесь в приволжской степи Михельсон настиг Пугачева и в битве 25 августа 1774 года у Солениковой ватаги под Черным яром нанес пугачевцам сокрушительный удар.

По ходу военных действий повстанческие войска несли поистине катастрофические потери. Например, в сражении под Татищевой крепостью они потеряли около 1200 человек убитыми, более 4000 ранеными или попавшими в плен. У Сакмарского городка соответственно – 400 убитых и более 2800 пленных. Среди попавших здесь в руки властей оказались видные сподвижники повстанческого предводителя: А. И. Витошнов, А. Т. Соколов-Хлопуша, М. Г. Шигаев, Т. И. Подуров, И. Я. Почиталин, И. Ф. Арапов, Н. Л. Чулошников, М. Д. Горшков, М. П. Толкачев и другие. В боях под Казанью потери были еще более значительными – немногим менее 3000 убитыми и почти 11 000 пленными. Наконец, в сражении у Солениковой ватаги 2000 пугачевцев было убито, 6000 оказалось в плену. К сожалению, нет суммарных сведений о потерях пугачевцев во время различных военных стычек, столкновений или сражений, но общий их масштаб представляется устрашающе великим.

Одерживая военные победы над пугачевцами, правительство стремилось закреплять свой успех серией карательных мероприятий различного характера. Важнейшее место среди них отводилось официальному следствию над вождями и участниками пугачевского бунта. Еще 29 ноября 1773 года, когда пугачевщина только набирала обороты, Екатерина II «особым рескриптом предписала Бибикову учредить в Казани под его «дирекцией» Секретную комиссию для расследования первопринцип восстания, выявления возможных его инициаторов, установления причин столь быстрых успехов мятежников на территории Заволжья и Южного Урала» [69; 8].

Секретной комиссии с самого начала было уготовано особое место и роль в системе государственных учреждений. Через Бибикова, получившего от верховной власти чрезвычайные полномочия, она подчинялась непосредственно самой государыне. Комиссия должна была стать своего рода «парадным лицом» императрицы в глазах просвещенной Европы. С ее помощью она стремилась показать всему миру, что в борьбе со «зверским намерением» бунтовщиков ставит Закон выше личных амбиций, естественного чувства озлобления и жажды мести. Не случайно комиссия уже изначально оказалась «завалена» огромным количеством дел. Оперативно и эффективно их разбирать удавалось не всегда. За год и три месяца Секретная комиссия «рассмотрела дела 9164 пугачевцев, из которых: 38 человек казнены; 132 человека наказаны плетью (из них 100 – сосланы на каторгу, 32 – освобождены); 11 человек наказаны шпицрутенами и определены в солдаты; 132 человека наказаны плетью (из них 14 – сосланы на каторгу, 25 – определены в солдаты, 7 – освобождены после «урезания ушей», 86 – освобождены); 489 человек наказаны батогами и освобождены; 8 человек лишены чинов и освобождены; 8345 человек освобождены без наказания после тюремной отсидки в комиссии» [69; 27 – 28].

Кроме того, приходилось постоянно расширять охват следствием все новых территорий, отвоеванных у пугачевцев. Так, большое число пленных, в конце декабря 1773 года скопившихся в Самаре после поражения отрядов пугачевского атамана И. Ф. Арапова, вынудило Секретную комиссию откомандировать туда Г. Р. Державина. О характере действий этого следственного эмиссара хорошо написал А. С. Пушкин. Он сообщил о том, как Державин, проводя расследование, «повесил сих двух мужичков более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости» [94; 492].

Симбирск. Гравюра (конец XVIII века).

В конце января 1774 года другой сотрудник комиссии, подпоручик В. И. Собакин был послан в Симбирск для следствия над повстанцами, захваченными войсками генерала П. Д. Мансурова в Заволжье, с тем чтобы наиболее важных пленников передать в Казань. Количество рассматриваемых дел, как и число пленных бунтовщиков, росло в геометрической прогрессии по мере успехов правительственных войск. Поэтому в апреле 1774 года Екатерина II учредила еще одну Секретную комиссию, на этот раз в Оренбурге, которая уже с 8 мая приступила к дознаниям. При этом прерогативы и система подчиненности комиссий несколько модифицировались. Утверждение приговора по законченным производством следственным делам Казанской комиссии возлагалось на казанского губернатора Я. Л. Бранта, а по делам Оренбургской комиссии – на оренбургского губернатора И. А. Рейнсдорпа. Экстракты [43] по следственным делам обе комиссии должны были отправлять в Тайную экспедицию Сената. За пять месяцев Оренбургская комиссия рассмотрела дела 2442 пугачевцев, «из которых 4 человека казнены, 36 человек наказаны кнутом (из них 21 – сослан на каторгу, 15 –

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru определены в солдаты); 402 человека наказаны плетью (из них 8 – сосланы на каторгу, 2 – определены в солдаты, 392 – освобождены); 31 человек наказан плетью и освобожден; 1917 человек освобождены без наказания после тюремного заключения; два священника расстрижены (по согласованию с духовным правлением) и освобождены» [69; 28].

Стремясь ликвидировать разобщенность в действиях комиссий, Екатерина II решила вывести их из ведения местных губернаторов, подчинив особо доверенному от нее лицу для осуществления единого руководства и единого направления в следственной и судебной практике. Выбор пал на генерал-майора П. С. Потемкина, который был назначен шефом (начальником) обеих комиссий.

Казанская и Оренбургская секретные комиссии совмещали в себе функции следственных и судебных органов, что отражалось и на результатах их деятельности, которая контролировалась Тайной экспедицией Сената. Летом 1774 года из нее были присланы особые «Примечания», в которых обер-секретарь Тайной экспедиции С. И. Шешковский отмечал, что по экстрактам, присылаемым в Петербург, видно: «два или несколько человек оказались в равных винах, но наказания, однако ж, разные определяемы, яко то, с ними поступлено по самой точности законов, а другие, в таковых же точных винах оказавшиеся, разными обстоятельствами извиняемы и наказания уменьшаемы были». Рекомендации, соотносимые с идеями екатерининского «Наказа», сводились к тому, что комиссиям нужно следить за четким соответствием преступления и наказания каждого из подсудимых. С этой целью автор «Примечаний» выделил семь разрядов преступников. К первому, самому серьезному разряду отнесены те, кто «пристал в толпу злодея из доброй воли, и делал во обще с тою толпою злодеяния, и убивствы верноподанных и других к тому соглашал, и был между злодеев командиром». По второму разряду числятся преступники, совершавшие преступления по принуждению главарей мятежников, «не имел ни малейшего способа, по превосходству силы злодеев, тому противиться». К третьему разряду отнесены приставшие к бунтовщикам добровольно, но «злодейств и убивств» не совершавшие и других к ним не склонявшие. В четвертый разряд включали тех, кто от повстанцев отстал добровольно, но сами с повинной не явились. Все эти четыре вида преступлений, как отмечалось в рекомендации, «суть разных родов [и] преступники должны быть наказываемы, размеряя каждого по их деяниям». По пятому разряду проходили участники бунта, которые в злодеяниях не участвовали, а только «делали вредные разглашения». К шестому разряду отнесены все, кто совершал преступления (кроме убийств), но, вняв призыву царского манифеста, добровольно сдался властям и чистосердечно раскаялся в содеянном. Наконец, седьмой, особый разряд составили примкнувшие к бунтовщикам офицеры и унтер-офицеры, от которых «отнодь извинении никакие принимаемы, кажется, быть не должны». Солдат, попавших к пугачевцам, предполагалось «по законам наказать примерно» по жребию – каждого двадцатого. Все эти критерии применялись в судебной практике Комиссий.

В начале августа 1774 года в Яицкий городок из Оренбурга был направлен член Секретной комиссии гвардии капитан-поручик С. И. Маврин. Он возглавил образованную там Секретную комиссию, действовавшую на правах выездного филиала Оренбургской комиссии. Именно Маврину выпала сомнительная честь первым допросить захваченного в плен повстанческого «императора». С тех пор допросы Пугачева с небольшими перерывами продолжались в Симбирске и Москве. После одного из них Потемкин смог уверенно ответить на постоянные требования императрицы «дело сего злодея привести в ясности и досканально узнать все кроющиеся плутни: от кого родились и кем производимы и вымышлены были, дабы тем наипаче узнать нужное к утверждению впредь народной тишины и безопасности», «доведаваться всегда о начале и источнике злодейского предприятия Е. Пугачева и его сообщников, не найдутся ли какие сторонние сему злодею способствования и через кого?» [29; 93; 6; 399].

Потемкин сообщил Екатерине II успокаивающие сведения о том, что «причины и основание дерзости злодея в принятии высокого названия, суть – зверства и ненависть, – ко благу раскола. А надежда и подкрепление злодейского предприятия – смутные обстоятельства яицких казаков. Сии два источника, проистекая купно, поглощали встречающееся им благо и, проливаясь в прикосновенных местах, стремились произвести общим готовимое зло. Показание самозванца очищает сумнение, чтоб другие державы были ему вспомогательны, рассматривая невежество его, верить сему показанию можно» [30; 118].

В конце 1775 года Тайная экспедиция Сената составила сводные ведомости о

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru наказания пугачевцев, из которых следует, что ею самой в 1774 – 1775 годах были рассмотрены дела 832 пугачевцев, из которых: 6 человек казнены; 28 человек наказаны кнутом (из них 15 – сосланы на каторгу, 10 – отправлены на поселение, 3 – освобождены); 18 человек наказаны шпицрутенами и определены в солдаты; 13 человек наказаны плетьюми (из них 1 – сослан на каторгу, 1 – определен в солдаты, 11 – освобождены); 9 человек наказаны батогами (из них 4 – сосланы на каторгу, 5 – освобождены); один человек наказан палкой и освобожден; 3 человека «ошельмованы» и отправлены на каторгу; 23 человека лишены чинов (из них 18 – отправлены на поселение, 5 – освобождены). Кроме того, были отправлены без телесного наказания на каторгу 41 человек, на поселение – 54, в солдаты – 31. В монастырь на покаяние – 3; освобождены после тюремного заключения 605 человек [69; 28].

Подобный расклад различных видов экзекуций удивил американского историка Д. Филда. Но более всего воображение исследователя поразило количество отпущенных бунтовщиков. «Почему этих государственных преступников не наказали? – рассуждал он. – Конечно же, невозможно было отправить все население Поволжья, Урала, части Зауралья на каторгу». Но как сама власть объясняла эту «милость»? Она воспользовалась «мифом о мужике», суть которого – «глупость и крайняя неразумность простого народа» [130; 111 – 112].

Не будем, однако, спешить с восторгами относительно гуманности и снисходительности екатерининского правительства, к которым публично призывала сама императрица, настаивая «всем внушить умеренность как в числе, так и в казни преступников. Противное человеколюбию моему прискорбно будет», – писала она главнокомандующему в Москве генерал-аншефу князю М. Н. Волконскому [29; 145]. В действительности количество репрессированных пугачевцев было много больше, так как в ведомости не включали сотни человек, которые умерли в тюремных камерах этих учреждений от голода, болезней, истязаний и т. д. Кроме того, на страницах официальных отчетов о деятельности карательных команд тут и там встречаются сообщения о том, как «начинщики и приговорщи-ки» бунта «в должное повиновение приведены», «под висалицами наказаны плетьюми», «некоторые кресть-яня кнутом, а протчие плетьюми наказаны», «присланными командами усмирены», «по представлению помещика наказаны кнутом» и т. д. [90; 390 – 393]. Однако какие-либо суммарные итоги подвести сложно из-за отсутствия сводных данных такого рода в имеющихся документах.

Значение и правомочия Секретных комиссий существенно уменьшились в связи с назначением 29 июля 1774 года на пост главнокомандующего карательными войсками П. И. Панина, который был известен как сторонник массовых репрессий не только против захваченных в плен повстанцев, но и против трудового населения губерний, охваченных пугачевщиной. И если в деятельности Секретных комиссий при желании еще можно было усмотреть «неслыханную в тех условиях (после грабежей, убийств и поджогов в казни) гуманность» [5; 514], то во всех местах, где действовали каратели Панина, с участниками пугачевского бунта расправлялись жесточайшим образом, без ложного лицемерия и стеснения: «Везде стояли виселицы, валялись трупы повстанцев. Дворяне жестоко мстили подневольным, которые посмели подняться с оружием в руках против их власти и гнета» [13; 217].

Назовем меры наказания участников пугачевщины, предусмотренные циркуляром Панина от 25 августа 1774 года.

1. «Во всех тех городах и селениях, в которых обыватели поднимали свои руки или способствовали только поимке и предательству в руки изменников на убийство своих воевод, всяких постановленных от Е.И.В. начальников, собственных помещиков, священников и всякого звания верноподданных, и тех, как самых убийц, так и предателей, заводчиков, изготовя наперед по христианскому закону, казнить смертью отрублением сперва руки и ноги, а потом головы и тела, класть на колесы у проезжих дорог».

2. «Всех без изъятия последователей за таковыми бунтовщиками сечь жестоко при виселице плетьюми».

3. «Ради такой кары, при всех тех селениях, которые бунтовали, или хотя послушными противу законного начальства оказывались, поставить и впредь до указа не велеть снимать по одной виселице, по одному колесу и по одному глаголю, для вешания за ребро».

4. «Если заводчиков убийств учрежденных начальников, собственных помещиков, священников, настоящими обличениями изыскивать будет уже нельзя, то в таковых селениях, где начальники, священники и всякого звания верноподданные умерщвлены или преданы их же поселянами, принуждать к выдаче заговорщиков метанием между ними жребия, для повешения третьего, а ежели и сим средством они их не выдадут, то и действительно сотого между таковыми по жребию повесить, а остальных всех возрастных пересечь жестоко плетью».

5. «Всех поселян, возвращенных сими средствами в прежнюю подданническую верность и в должное повиновение своих начальников, помещиков, утвердить в том целованием евангелия и креста, объявив, что кто и за сим дерзнет впредь каким-либо образом приобщаться к бунтовщикам или утверждать самозванца Петром Третьим... или кто сделает малейшее послушание воеводам, канцеляриям, всяким над собою начальникам и собственным помещикам, а другие таковых заводчиков или подсылных от государственных бунтовщиков не свяжут и в ближайшую канцелярию или в воинскую команду не представят, за то в самой скорости присланными из войск команды генерала графа Панина, все в таковых селениях, без изъятия возрастные мужики, будут казнены мучительнейшими смертями, жены и дети их отданы в рабство...»

6. «В тех селениях, в которых собственными обывателями, что казенного или помещичьего разграблено, оное принуждать обратно возвращать, с тем угроже-нием, если у кого что из такого награбленного и собственно собою невозвращенного впредь отыщется, то таковой непременно будет повешен» [27; 146 – 148].

Текст циркуляра с очевидностью показывает, что в подвластных ему губерниях (Казанской, Оренбургской, Нижегородской) Панин установил режим кровавой диктатуры. Он по своему усмотрению производил следствие, суд и расправу над пленными, отказываясь передавать в Секретные комиссии самых видных пугачевцев.

Эти масштабные, а главное, внесудебные расправы не могли не смущать официальных лиц, заинтересованных в сохранении «лакированного» имиджа империи и императрицы. «Производя дела по секретной комиссии, вверенной мне высочайшим вашего императорского величества, – доносил Потемкин, – с ужасом нахожу я, что во всех местах, где бы не попался важной или сумнительный колодник, не только сами собою приступают к расспросам, что до судебных мест принадлежит, но и допрашивают под пристрастием так, что самые важные сведения иногда вместе с преступниками погибают, а невинные принужденно на себя возводят такие дела, которых они никогда не дельвали и которые и со здравым разумом и со обстоятельстами различаются». Например, по словам Потемкина, в результате таких методов дознания погиб от истязаний секретарь пугачевской Военной коллегии А. И. Дубровский, который был «всех умнее» и с гибелью его «тайны нужные с ним вместе погребены» [69; 25].

Но упреки Потемкина не возымели серьезных последствий. Панин по-прежнему не только грозился повесить на глаголях «за ребро» всех, «кто будет оного злодея самозванца Емельку Пугачева признавать и произносить настоящим, как он назывался» [59; 9], но и часто приводил угрозы в действие. Например, из взятых в плен при разгроме войска Пугачева в битве у Солениковой ватаги шести тысяч повстанцев было освобождено без наказания всего лишь 300 человек и 98 отосланы «к рассмотрению дел к губернаторам и в протчие места», все же остальные претерпели телесные наказания, а несколько десятков из них были казнены «по жребию». Если принять во внимание, что Панин был полномочным властителем в поволжских губерниях еще в течение семи месяцев, до начала августа 1775 года, то число репрессированных по его приговорам могло достичь двух десятков тысяч человек.

В городах, селениях и на дорогах Поволжья и Оренбургской губернии были установлены по приказу Панина виселицы с трупами повешенных повстанцев, которых запрещалось снимать и хоронить неделями и месяцами. Например, в приговоре о попе Зубареве, который был активным пугачевцем, сказано: «...и за все оные его вины, по силе государственных законов... лиша священства, казнить смертью: повесить с публичными обрядами и, не сымая с виселицы тела его, чрез две недели оставить на народное зрелище» [90; 181].

Мрачную картину жестоких репрессий карателей в этих краях дополняет рапорт саратовского воеводы М. Беляева астраханскому губернатору П. Н. Кречетникову от 31 января 1775 года с просьбой о захоронении казненных пугачевцев. «В городе Саратове, – писал он, – во многих местах известного государственного злодея и

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
бунтовщика Пугачева его сообщники, злодеи ж, повешаны на виселицах, а прочие положены на колесы, руки и ноги их воткнуты на колья, кои и стоят почти чрез всю зиму, и, по состоянию морозов, ко опасности народной от их тел ничего донине не состояло, а как теперь воздух стал переменен и наклоняется к теплоте чрез солнечный луч, к тому ж открываются дожди, от чего те тела могут все откроветь, и из-за того, в случае на город ветров, будет вредный дух, чем время далее, то оное умножатца будет более, почему обитатели города должны от того будут чувствовать тягость» [69; 29].

В подобных карательных жестах прослеживается традиционное стремление властей устроить толпу видом повешенных, трупы которых долгое время оставались на виселицах. Так обычно действовали при подавлении бунтов, восстаний и крестьянских волнений. Хотя вся процедура публичной казни вообще пронизана символикой, но в данном случае речь должна идти об особом символическом ряде.

Полагаем, что режим кровавого террора, установленный Паниным, своей символикой мог напомнить современникам опричнину Ивана Грозного. Для сравнения обратимся, например, к событиям 25 июля 1570 года, когда «Москва увидела, как разыгрывается чудовищный сценарий наказания грешников». Опричники «получили приказ вбить в землю приблизительно 20 очень больших кольев; к этим кольям они привязывали поперек бревна, края которых соприкасались с обеих сторон с соседним колом... Сзади кольев палачи разводят огонь и над ними помещают висячий котел или рукомойник, наполненный водой, и она кипит там несколько часов. Напротив рукомойника они ставят также кувшин с холодной водой... Строительство помоста для котла с водой никак не оправдано логикой упомянутых казней. Котел с кипящей водой – устрашающий символ, вот в чем было его значение» [141; 363].

Панинские «виселицы, глаголы и колеса» – явления того же символического ряда. Цель их не просто наказывать «изменников» и устрашать колеблющихся. Это одновременно и намек на вершение Высшего суда, ибо прегрешения Пугачева и его «проклятых и богоненавистных сообщников страшному божиему и вышемонаршему подверже суду и гневу» [100; 393]. Орудием этого суда, своего рода Мессией (Спасителем), очевидно, и считал себя Панин.

Наполненной зловещей символикой выглядела и расправа властей над самим Пугачевым и его ближайшими помощниками. Соответствующий ритуальный вид предполагалось придать уже «торжественному» въезду повстанческого «императора Петра III» в Москву. Князь М. Н. Волконский предлагал: «Когда злодей Пугачев суды привезен будет, то, по мнению моему, кажется надо ево чрез Москву вести публично и явно, так чтоб весь народ ево видеть мог, по примеру, как Петр Первой, взяв Азов и в нем изобличив изменника Якушку, велел ввозить в Москву следующим образом: зделана была особливая повозка, на которой поставлена виселица и к оной тот злодей стоя прикован был, а вверху над оным большими литерами надпись была ево злодействам» [29; 94].

Но советы московского главнокомандующего о судьбе ее названного «супруга» не вызвали энтузиазма у Екатерины II, которая возражала против «всякой дальней аффектации» и не хотела выказывать «даль-ное уважение к сему злодею и изменнику» [29; 95]. Тем не менее доставка плененного Пугачева в Москву вызвала подлинный ажиотаж у публики. «Только как везли злодея по городу, то зрителей было великое множество, – доносили императрице. – Да как привезли его сюда и посажен был, и во все то время, как я сам был, народу в каретах и дам столь было у Воскресенских ворот много, што проехать с нуждою было можно, только што глядят на полаты. Я думаю, што они ожидали: не подойдет ли злодей к окошку. Однако ж, зрители в сем обманулись, что его видеть никак невозможно» [29; 97].

Процесс по делу «изверга и злодея рода человеческого» также преследовал своеобразную религиозно-нравственную цель – должен был символизировать торжество Высших божественных сил, к сторонникам которых причисляли себя екатерининские судьи, над «суеверием, дышущим злом», во главе с «лютым зверем и всеядовитым врагом и нарушителем всеобщего спокойствия и тишины». Перед судом Сената предстали, «включая Пугачева и его близких, 56 человек. В таком именно составе они фигурировали в определении судебного заседания 31 декабря 1774 года и в сентенции (судебном приговоре) 9 января 1775 года» [69; 144].

Манифест Екатерины II о завершении следствия по «премерзостному делу» Е. И. Пугачева и его соратников обвинял их в «лютейших варварствах». Перечислялись их прегрешения «противу законной власти»: «истребляя огнем церкви божи, грады и

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru селении, грабя святых мест и всякого рода имущества, поражая мечем и разными ими вымышленными мучениями и убивством священнослужителей и состояния вышнего и нижнего обоюга пола людей, даже и до невинных младенцев». Поэтому накануне казни подсудимых старались привести «в истинное признание и раскаяние... в своих согрешениях пред богом» и тем самым сподобить их «святых христовых тайн» и разрешить «от церковной анафемы» [29; 138, 147].

Во время суда обвиняемые были разбиты по тяжести их вины на «классы». Эта классификация была достаточно четкой в определении вины каждой группы преступников. По первому классу шел один Пугачев, по второму – «самые ближайшие [его] сообщники» – 5 человек, по третьему классу – «первые разглашатели», т. е. люди, стоявшие у истоков движения самозванца и поддержавшие его с самого начала. Их было трое. Но при этом ранжирование преступлений не вело к унификации наказаний в одном классе [5; 514].

С 4 ноября 1774 года по 9 января 1775 года длилась демонстрация судебно-процессуального правосудия. В одном из писем Екатерина II «совершенно недвусмысленно высказалась о предстоящем процессе как о некоей незначущей формальности, как об инсценировке суда, которому придана видимость законности: "Через несколько дней комедия с маркизом Пугачевым кончится"» [69; 139]. Императрица знала, о чем писала своему адресату. В приговоре Сената вождям пугачевского бунта были определены следующие меры наказания: «Емельку Пугачева четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырем частям города и положить на колеса, а после на тех местах сжечь. Что ж следует до его сообщников и прочих под следствием находящихся людей, то главнейших способствующих в его злодеяниях: яицкого казака Афонасья Перфильева четвертовать в Москве; яицкому казаку Ивану Чике, он же и Зарубин, отсечь голову в Уфе и взоткнуть ее на кол, а труп сжечь; яицкого казака Максима Шигаева, оренбургского казачьяго сотника Подурова и оренбургского неслужащего казака Василья Торнова повесить в Москве» [29; 144].

Выбор казни выдающихся бунтовщиков, как представляется, не был случайным. Например, известно, что в репрессивной истории России четвертование применялось за оскорбление государя, за покушение на его жизнь, иногда и за измену, а также за самозванство. В полном соответствии со сказанным подобная казнь и была назначена Пугачеву, а также Перфильеву, который «добровольно предложил свое желание уговорить яицких казаков, способников злодейских, отстать от самозванца и предать его в руки правосудия, но, едучи еще в Оренбург, поколебался в намерении своем, а прибыв в толпу злодейскую, под Бердой находившуюся... открыл намерение свое самому злодею Пугачеву. И с тех пор пребывал верен ему во всех злодеяниях...» [69; 141]. Смертная же казнь через повешение придавала оттенок уничтожения осужденного, считалась весьма унижительной. Таким образом способ наказания «злодеев» бунтовщиков тоже оказался частью ритуально-символического действия очищения общества от скверны бунта. 10 января 1775 года приговор был приведен в исполнение. Дворянская Россия могла торжествовать, так как «все злосчастные безпокойствы, слава богу, кончились». А для пущего «дворянского успокоения и утешения малодушных речи, в сентенцию Сената предполагалось включить слова о том, на каких надлежало в дворянству и крестьянству вновь доказать, что ея императорское величество твердо намерено дворян при их благоприобретенных правах и преимуществах сохранять нерушимо, а крестьян в их повиновении и должности содержать» [29; 147].

С завершением московского процесса по делу Пугачева и его сподвижников и обнародованием 10 января 1775 года судебного приговора по этому процессу карательная деятельность против повстанцев и поддерживавшего их населения мятежных губерний не прекратилась. В Казани до марта 1775 года продолжала розыск Секретная комиссия, расследуя дела повстанцев. До середины 1775 года этими делами занималась и Тайная экспедиция Сената. Продолжались карательные операции войска Панина.

С подавлением пугачевщины бунт сходил с социокультурной сцены отечественной истории, возвращались привычная рутина повседневности и трудовых будней общественных низов. Наступал эпилог русского бунта. Он постепенно становился достоянием фольклора – не только сочувствующего, но и враждебного, преломлялся в преданиях и легендах. В бунтовщических действиях пугачевцев традиционализм надолго исчерпал свои защитные силы и оказался более не в состоянии противостоять проевропейской культурной интервенции со стороны государства, продолжавшего теперь без особого сопротивления «снизу» свою «революцию сверху».

Использованная литература

1. Агеева О. Г. Имперский статус России: К истории политического менталитета русского общества начала XVIII века // Царь и царство в русском общественном сознании. М., 1999.
2. Андреев И. Л. Анатомия самозванства // Наука и жизнь. 1999. № 10.
3. Андреев И. Л. Самозванство и самозванцы на Руси // Знание – сила. 1995. № 8.
4. Андрущенко А. И. О самозванстве Е.И.Пугачева и его отношениях с яицкими казаками // Вопросы социально-экономической истории и источниковедения периода феодализма в России. М., 1961.
5. Анисимов Е. В. Дыба и кнут: Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М., 1999.
6. Бажова А. П. К вопросу о самозванстве кануна Крестьянской войны 1773 – 1775 гг. // Крестьянские войны в России XVII – XVIII веков: проблемы, поиски, решения. М., 1974.
7. Белявский М. Т. Накануне «Наказа» Екатерины II: К вопросу о социальной направленности политики «просвещенного абсолютизма» // Правительственная политика и классовая борьба в России в период абсолютизма. Куйбышев, 1985.
8. Березович Е. Л. «Обычный» топоним как объект этнолингвистического исследования // Имя: внутренняя структура, семантическая аура, контекст: Тезисы международной научной конференции. М., 2001. Ч. 1.
9. Берман Б. И. Читатель жития (Агиографический канон русского средневековья и традиция его восприятия) // Художественный язык средневековья. М., 1982.
10. Бескова И. А. Проблема соотношения ментальности и культуры // Когнитивная эволюция и творчество. М., 1995.
11. Богданов А. П. Конец «Третьего Рима» и утверждение имперского самосознания накануне крушения Московского царства // Человек между Царством и Империей: Материалы международной конференции. М., 2003.
12. Бродский Н. Л. Писатель и книга в эпоху Екатерины Великой // Три века: Россия от Смуты до нашего времени. М., 1994. Т. 5.
13. Буганов В. И. Крестьянские войны в России XVII – XVIII вв. М., 1976.
14. Буганов В. И. Пугачев. М., 1984.
15. Буганов В. И., Чистякова Е. В. О некоторых вопросах истории второй крестьянской войны в России // Вопросы истории. 1968. № 7.
16. Булдаков В. П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. М., 1997.
17. Викторский С. К. История смертной казни в России и ее современное состояние. М., 1912.
18. Виноградова Л. Н. Мифология календарного времени в фольклоре и верованиях славян // Славянский альманах. М., 1997.
19. Восстание Емельяна Пугачева: Сборник документов / под ред. М. Н. Мартынова. Л., 1935.
20. Восстание И. Болотникова: Документы и материалы. М., 1959.
21. Гернет М. Н. Смертная казнь. М., 1913.
22. Гордон А. В. Выступления // Одиссей: Человек в истории. М., 2001.
23. Городские восстания в Московском государстве XVII в.: Сборник документов /

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
сост. К. В. Базилевич. М.; Л., 1936.

24. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
25. Гусейнов А. А. Моральная демагогия как форма апологии насилия // Вопросы философии. 1995. № 5.
26. Державин Г. Р. Избранная проза. М., 1984.
27. Дмитриев-Мамонов А. И. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири. СПб., 1907.
28. Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году и избрание двух царей Петра и Иоанна // Рождение империи. М., 1997.
29. Документы о следствии над Е. И. Пугачевым в Москве // Вопросы истории. 1966. № 7.
30. Документы о следствии над Е. И. Пугачевым в Симбирске // Вопросы истории. 1966. № 5.
31. Документы о следствии над Е. И. Пугачевым в Яиц-ком городке // Вопросы истории. 1966. № 3.
32. Документы о судебном процессе по делу Е. И. Пугачева в Москве // Вопросы истории. 1966. № 9.
33. Документы Ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений. 1773 – 1774 гг. / под ред. Р. В. Овчинникова. М., 1975.
34. Долгих Е. В. Личность монарха в восприятии сановника николаевского времени (М. А. Корф) // Российская ментальность: методы и проблемы изучения. М., 1999.
35. Дубровин Н. Ф. Пугачев и его сообщники: в 3 т. СПб., 1884. Т. 3.
36. Емельян Пугачев на следствии: Сборник документов / под ред. Р. В. Овчинникова. М., 1997.
37. Жеравина А. Н. Отзвуки крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева на Алтае // Феодализм в России: Юбилейные чтения, посвященные 80-летию Л. В. Черепнина. Тезисы докладов и сообщений. М., 1985.
38. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им для своих потомков: в 3 т. М., 1993. Т. 3: 1771 – 1795.
39. Житие Аввакума и другие его сочинения. М., 1991.
40. Зейме И. Г. Апокрифы // Немецкие демократы XVIII века. М., 1956.
41. История России: Учебный словарь-справочник / под ред. В. Ф. Блохина. Брянск, 1996.
42. Калугин В. В. «Псы» и «зайцы» (Иван Грозный и протопоп Аввакум) // Старообрядчество в России (XVII – XVIII вв.). М., 1994. Вып. 2.
43. Каменский А. Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. М., 1999.
44. Камю А. Бунтующий человек // Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990.
45. Канищев В. В. Русский бунт – бессмысленный и беспощадный (Погромное движение в городах России в 1917 – 1918 гг.). Тамбов, 1995.
46. Кантор В. К. «...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации: Историософские очерки. М., 1997.
47. Карасев Л. В. Парадокс о смехе // Квинтэссенция: философский альманах. М., 1990.

48. Кирилл (Гундяев) архиепископ. Русская Церковь – русская культура – политическое мышление // Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. М., 1991.

49. Копелев Л. З. Чужие // Одиссей: Человек в истории. М., 1994.

50. Копия с письма, писанного на корабле его царского величества под названием «Орел», стоявшем на якоре под городом Астраханью. 24 сентября по старому стилю 1669 г. // Московия и Европа. М., 2000.

51. Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича // Московия и Европа. М., 2000.

52. Крестьянская война под водительством Е. И. Пугачева в Марийском крае: Документы и материалы. Йошкар-Ола, 1989.

53. Крылов А. Н. Мои воспоминания. М.; Л., 1942.

54. Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995.

55. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.

56. Лихачев Д. С. Смех в Древней Руси // Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 2.

57. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф – имя – культура // Успенский Б. А. Избранные труды: В 3 т. М., 1996. Т. 1.

58. Лурье С. В. Историческая этнология. М., 1998.

59. Мавродин В. В. Крестьянская война в России в 1773 – 1775 годах: Восстание Пугачева. Л., 1961. Т. 1.

60. Мавродин В. В. Под знаменем крестьянской войны (Война под предводительством Емельяна Пугачева). М., 1974.

61. Марасинова Е. Н. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века (по материалам переписки). М., 1999.

62. Марций И. Ю. Стенко Разин донски козак изменник // Иностранные известия о восстании Степана Разина. Л., 1975.

63. Московичи С. Век толп: Исторический трактат по психологии масс. М., 1996.

64. Мельников А. С. Петр III: Повествование в документах и версиях. М., 2002.

65. Мельников А. С. Самозванчество в контексте просвещенного абсолютизма (о модификации просветительской идеологии в народной культуре) // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. М., 1995.

66. Народные исторические песни. М.; Л., 1962.

67. Николаева И. Ю. Образ власти в современной историографии: новые подходы и методологии (по материалам медиевистики) // Историческая наука и историческое сознание. Томск, 2000.

68. Овчинников Р. В. Манифесты и указы Е. И. Пугачева: Источниковедческое исследование. М., 1980.

69. Овчинников Р. В. Следствие и суд над Е. И. Пугачевым и его сподвижниками: Источниковедческое исследование. М., 1995.

70. Ортега-и-Гасет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гасет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. М., 1991.

71. Павленко Н. И. Историческая наука в прошлом и настоящем (Некоторые размышления вслух) // История СССР. 1991. № 4.

72. Переписка Екатерины Великия с господином Вольтером. М., 1803. ч. 2.
73. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1993.
74. Плюханова М. Б. О некоторых чертах личностного самосознания в России XVII в. // Художественный язык средневековья. М., 1982.
75. Побережников И. В. Зауральский самозванец // Вопросы истории. 1986. № 11.
76. Побережников И. В. Новый источник по истории Пугачевщины на Урале и в Западной Сибири («Допрос» А. Н. Свешникова 1774 г.) // Источники по истории Западной Сибири. Сургут, 2003.
77. Побережников И. В. Слухи в социальной истории: типология и функции (по материалам восточных регионов России XVIII – XIX вв.). Екатеринбург, 1995.
78. Покровский М. Н. Предисловие // Пугачевщина: в 3 т. М.; Л., 1926. Т. 1: из архива Пугачева (манифесты, указы, переписка).
79. Покровский М. Н. Пушкин-историк // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1931. Т. 5.
80. Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен // Покровский М. Н. Избранные произведения: в 4 кн. М., 1965. Кн. 2.
81. Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. Б. м., 1830. Собрание 1-е. Т. 5: 1713 – 1719. № 2789.
82. Полное собрание русских летописей. Т. XXXIX. Софийская первая летопись по списку И. Н. Царского. М., 1994.
83. Полосин И. И. «Игра в царя» (Отголоски Смуты в московском быту XVII в.) // Известия Тверского педагогического института. Тверь, 1926. Вып. 1.
84. Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе // Русский исторический журнал. Пг., 1922. Кн. 8.
85. Пронштейн А. П., Мининков Н. А. Крестьянские войны в России XVII – XVIII веков и донское казачество. Ростов н/Д, 1983.
86. Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки: Исторические корни волшебной сказки. М., 1998.
87. Протокол показаний сотника яицких казаков-повстанцев Т. Г. Мясникова на допросе в Оренбургской секретной комиссии 9 мая 1774 года // Вопросы истории. 1980. № 4.
88. Пугачевщина: в 3 т. М.; Л., 1926. Т. 1: Из архива Пугачева (манифесты, указы, переписка).
89. Пугачевщина: в 3 т. М.; Л., 1929. Т. 2: Из следственных материалов и официальной переписки.
90. Пугачевщина: в 3 т. М.; Л., 1931. Т. 3: Из архива Пугачева.
91. Пузанов В. В. У истоков восточнославянской государственности // История России: народ и власть. СПб., 1997.
92. Пушкирев Л. Н. Духовный мир русского крестьянина по пословицам XVII – XVIII веков. М., 1994.
93. Пушкин А. С. История Пугачева // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 17 т. М., 1999. Т. 9. Кн. 1.
94. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1931. Т. 5.
95. РГАДА. Ф. 6. Д. 512. ч. 2. л. 58.

96. РГАДА. Ф. 6. Д. 512. Ч. 2. Л. 112.
97. РГАДА. Ф. 6. Д. 663. Л. 12 об.
98. РГИА. Ф. 468. Оп. 32. Д. 2. Л. 744 об.
99. Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии. Падуя, 1680 г. // Утверждение династии. М., 1997.
100. Русская старина. 1876. Т. X.
101. Русские народные сказки. М., 1978.
102. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1987.
103. Самсонов А. М. Антифеодальные народные восстания в России и церковь. М., 1955.
104. Сборник Русского исторического общества. СПб., 1871. Т. 6.
105. Свирида И. И. Театральность как синтезирующая форма культуры XVIII в. // Ассамблея искусств: Взаимодействие искусств в русской культуре XVIII века. М., 2000.
106. Секиринский С. С. Об историках, художниках и нашем журнале // Историк и художник. 2004. № 1.
107. Сивков К. В. Подпольная политическая литература в России в последней трети XVIII в. // Исторические записки. 1946. Т. 19.
108. Сивков К. В. Самозванчество в России в последней трети XVIII в. // Исторические записки. 1950. Т. 31.
109. Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1983.
110. Скрынников Р. Г. Смута в России в начале XVII в.: Иван Болотников. Л., 1988.
111. Скрынников Р. Г. Царь Борис и Дмитрий Самозванец. Смоленск, 1997.
112. Соловьев В. М. Рец. на кн.: Овчинников Р. В. Следствие и суд над Е. И. Пугачевым и его сподвижниками: Источниковедческое исследование // Отечественная история. 1998. № 1.
113. Соловьев В. М. Актуальные вопросы в народном движении (Полемические заметки о крестьянских войнах в России) // История СССР. 1991. № 3.
114. Соловьев В. М. Русская фольклорная традиция о ра-зинском восстании // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 1995. № 5.
115. Сообщение касательно подробностей мятежа, недавно произведенного в Московии Стенькой Разиным // Записки иностранцев о восстании Степана Разина. Л., 1968.
116. Софронова Л. А. Российский театр // Славянский альманах. М., 2003.
117. Софронова Л. А. Человек на русской любительской сцене XVIII века // Человек между Царством и Империей: Материалы международной конференции. М., 2003.
118. Сочинения Ивана Семеновича Пересветова // Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI века. М., 1984.
119. Стрейс Я. Третье путешествие по Лифляндии, Московии, Татарии, Персии и другим странам // Московия и Европа. М., 2000.
120. Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989.
121. Тоекава К. Оренбург и оренбургское казачество во время восстания Пугачева.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
1773 – 1774. М., 1996.

122. Токарев С. А. Ранние формы религии. М., 1990.
123. Усенко О. Г. Об отношении народных масс к царю Алексею Михайловичу // Царь и царство в русском общественном сознании. М., 1999.
124. Усенко О. Г. Психология социального протеста в России XVII – XVIII веков: В 3 ч. Тверь, 1997. Ч. 3.
125. Усенко О. Г. Самозванчество на Руси: норма или патология? // Родина. 1995. № 1.
126. Усенко О. Г. Самозванчество на Руси: норма или патология? // Родина. 1995. № 2.
127. Усенко О. Г. Терпи, казак // Родина. 1993. № 10.
128. Успенский Б. А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Успенский Б. А. Избранные труды: В 3 т. М., 1996. Т. 1.
129. Феофан Прокопович. Слова и речи поучительные, похвальные и поздравительные. СПб., 1760. Ч. 1.
130. Филд Д. Размышления о наивном монархизме в России от эпохи Пугачева до революции 1905 г. // Экономическая история: Обзорение. М., 2002. Вып. 8.
131. Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 1999.
132. Фроянов И. Я., Юдин Ю. И. Былинная история. СПб., 1997.
133. Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М., 1980.
134. Хейзинга Й. Номо Ludens: Статьи по истории культуры. М., 1997.
135. Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII – XIX вв. М., 1967.
136. Чистякова Е. В. Городские восстания в России в первой половине XVII в. (30 – 40-е годы). Воронеж, 1975.
137. Шишов О. Ф. Смертная казнь в истории России // Смертная казнь: за и против. М., 1989.
138. Щепанская Т. Б. Зоны насилия (по материалам русской сельской и современных субкультурных традиций) // Антропология насилия. СПб., 2001.
139. Эйдельман Н. Я. Твой восемнадцатый век: Прекрасен наш союз... М., 1991.
140. Юдин А. В. Русская народная духовная культура. М., 1999.
141. Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998.
142. Юрганов А. Л. Опричнина и Страшный суд // Отечественная история. 1997. № 3.
143. Якушкин П. И. Путевые письма // Якушкин П. И. Сочинения. М., 1986.
144. Янель З. К. Феномен стихийности и повстанческая организация массовых движений феодального крестьянства России // История СССР. 1982. № 5.
145. Янов А. Л. Тень Грозного царя: Загадки русской истории. М., 1997.

Примечания

1
чтобы стать учителем (фр.).

2
плут (нем.).

3
К этому месту относится «Пропущенная глава», отброшенная Пушкиным и сохранившаяся только в черновом автографе. См. с. 122-133.

4
Глава эта не включена в окончательную редакцию «Капитанской дочки» и сохранилась в черновой рукописи, где названа «Пропущенная глава». В тексте этой главы Гринев именуется Буланиным, а Зурин – Гриневым. См. с. 108.

5
Чего изволите? (фр.)

6
Я хочу спать у вас (фр.).

7
Сделайте одолжение, сударь... извольте соответственно распорядиться (фр.).

8
Зачем вы тушите, зачем вы тушите? (фр.)

9
спать (фр.).

10
я хочу с вами говорить (фр.).

11
Что это, сударь, что это? (фр.)

12
Право, господин офицер... (фр.)

13
прощайте (фр.).

14
все расходы (фр.).

15
Далее пропуск в рукописи.

16
Сказки нашей жизни и бытия (нем.).

17
Из другого текста (фр.).

18

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
«Один из предков Пушкина был приговорен к смерти Петром Великим» (фр.).

19
Статистов (от фр. слова «figurant»).

20
Сохраняю пушкинскую орфографию. (Примеч. М. И. Цветаевой.)

21
Есть в «Истории пугачевского бунта» и Гринев, но там он подполковник и с Пугачевым не встречается. (Примеч. М. И. Цветаевой.)

22
Боясь, чтобы он внезапно не умер от страха (фр.).

23
Прикасался. (Примеч. М. И. Цветаевой.)

24
История – наставница жизни (лат.).

25
История – свет истины (лат.).

26
То, что меняется сообразно месту и времени, не является истинным (лат.).

27
Идентичность (кризис идентичности, личная идентичность) – один из механизмов социализации личности, посредством которого усваиваются нормы поведения и ценности тех социальных групп или индивидов, с которыми личность себя отождествляет. Каждый индивид обладает несколькими различными идентичностями, что порождает проблему личностной идентичности. Если ему не удастся решить эту проблему, возникает ситуация, получившая название кризиса идентичности.

28
Архетип – первообраз.

29
Катарсис – духовное очищение, просветление, внутреннее освобождение, которое испытывает человек.

30
Легитимность – правомерность, допустимость, оправдание определенного действия на основе его соответствия общепринятым нормам и ценностям.

31
Ментальность – стиль коллективного мышления эпохи или общества, выраженный в интуитивных, бессознательных образах, архаичных по происхождению. В основе ментальности лежит культурный архетип.

32
Сакрализация – превращение кого-, чего-либо в предмет поклонения, наделение его священными свойствами. Десакрализация – прямо противоположное понятие.

33

Харизма – личная благодать, особый, сверхъестественный дар.

34

Провиденциализм – представление о ходе исторических событий как обусловленном не их внутренними закономерностями, а волей провидения.

35

Менталитет – умонастроения людей, связанные с традициями, нравами, обычаями. Включают в себя представления о человеке, его месте в природе и обществе, его понимание природы. При этом все эти представления не подвергнуты логической систематизации. Они связаны не столько с сознанием, сколько с подсознанием. Поэтому менталитет регулирует не мышление, а поведение человека.

36

Дискурсивный – рассудочный; обоснованный предшествующими суждениями (противоп. интуитивный).

37

Существует и другая версия этих событий, восходящая к показаниям бывшего екатерининского офицера М. А. Швановича: «Во время захвата оренбургского форпоста он [Пугачев. – В. М.] был в церкви Георгия Победоносца. Здесь в порыве самоутверждения он сел на престол и, плача, говорил присутствовавшим: “Вод, детушки! Уже я не сиживал на престоле двенадцать лет...” Многие толпы его поверили, а другие оскорбились и разсуждали так: есть ли бы и подлинно он был царь, то непригоже сидеть ему в церкви на престоле» [90; 214, 330].

38

Интересные соображения по этому поводу высказал историк О. Г. Усенко, отметивший, что «традиционный параллелизм Бога и монарха с XVI века уступал место тождеству... Уже в середине XVI века для простых людей “великий государь” был фактически заменен земным Богом. Соответственно отличительной чертой “подлинного” царя считалась богоизбранность, наличие у него харизмы (личной благодати, сверхъестественного дара)» [124; 41].

39

Вербальный – выраженный в словах, словесный.

40

Топонимика – совокупность топонимов (собственных названий географических объектов – города, реки, горы и т. п.).

41

Наличие традиционной символики топора подтверждает, например, и тот факт, что во времена Петра I, когда стала активно насаждаться новая культура, смертная казнь через отсечение головы начала совершаться уже не топором, а мечом.

42

Мнемонический – условное изображение, выполненное с помощью символов и знаков.

43 Экстракт (устар.) – краткое изложение сути какого-либо текста, документа.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://tsvetaevamarina.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

Русский бунт. Марина Ивановна Цветаева, Александр Сергеевич Пушкин, В. Я. Мауль tsvetaevamarina.ru
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!